

*К 5-ой годовщине со дня смерти
Ю.А. Левады*

УДК 316.2Левада+929Левада
ББК 60.51(2)6-8 Левада Ю. А.
П15

Памяти Юрия Александровича Левады / [сост. Т. В. Левада]. – Москва : Издатель Карпов Е.В., 2011. – 475 с. : ил.
ISBN 978-5-9598-0139-7

Книга подготовлена к пятой годовщине со дня смерти Ю.А. Левады, автора первого, прочитанного в МГУ им. Ломоносова, курса эмпирической социологии, отлученного за это от науки с начала 70-х до конца 80-х годов.

В 90-е годы руководил Всероссийским Центром изучения общественного мнения, потом Левада-Центром. Книга дает представление о содержании и условиях работы социологов-шестидесятников и может быть интересна как специалистам, так и широкому читателю.

УДК 316.2Левада+929Левада
ББК 60.51(2)6-8 Левада Ю. А.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	9
Часть I	
Вспоминая Ю.А. Леваду	11
Б. Докторов	
Жизнь в поисках «настоящей правды»	13
А. Архангельский	
Левада: Центр	30
С. Белановский	
Интервью: Юрий Левада прославил себя в области социологической теории	33
О. Генисаретсий	
О Ю.А. Леваде	40
Е. Головаха	
Научная школа Юрия Левады о социокультурных изменениях в постсоветском обществе	46
В. Головачев	
Незаменимые – есть!	55
Б. Дубин	
О Ю.А. Леваде	58
Н. Зоркая	
О Ю.А. Леваде	71
В. Колбановский	
Глашатай российской социологии	81
А. Колесников	
Личность на общественном поприще	88
Шанин	
О Ю.А. Леваде	90

Л. Гудков	
О Ю.А. Леваде	98
А. Левинсон	
Камертон и генератор	114
Т. Левада	
К вопросу о школе Ю.А. Левады в российской социологии ..	132
В. Долгий-Раппопорт	
О Ю.А. Леваде	136
Т. Любимова	
Воспоминания о дорогом месте	146
Н. Мотрошилова	
Вспоминая Юрия Леваду... ..	151
Б. Юдин	
О Ю.А. Леваде	158
Е. Петренко	
Времена с Левадой. Эпизоды	166
А. Берелович	
О Ю.А. Леваде	178
Л. Гудков	
В кругу Юрия Левады	185
И. Елисеева, Т. Шайдарова, В. Паниотто	
На смерть Ю.А. Левады	202
В. Тупикин	
Юрий Левада сумел умом понять и научно объяснить Россию	204
Часть II	
Ю.А. Левада. Избранное	209
Точные методы в социальном исследовании	211
Кибернетические методы в социологии	234
Сознание и управление в общественных процессах	256

Альберт Швейцер – мыслитель и человек	279
Социальные процессы как методологическая проблема (тезисы)	293
Историческое сознание и научный метод	298
О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата)	353
Культурный контекст экономического действия	367
Игровые структуры в системах социального действия	381
Динамика социального перелома: возможности анализа	409
Приложение	
Из писем читателей	433
Библиография работ Ю.А. Левады (1965 – 2008 г.г.) социология, философия, научная публицистика	441
Сведения об авторах	474

К читателю *

Ю. А. Левада – один из тех, кто реанимировал эмпирическую социологию в СССР в шестидесятые годы. Он первым прочитал её учебный курс (в Московском Университете), за что и поплатился.

Объективно – судьба его трагична: восемнадцать лет (с 1970 по 1988 г., то есть со своего сорокалетия до пятьдесят девятого года жизни) Левада не мог ни преподавать, ни публиковаться в печати. А с 1972 г. – даже работать в коллективе профессиональных социологов. Но он не признавал в этом трагедии. Принципиально не признавал, полагая, что человек может и должен делать избранное им дело в любых условиях.

Работая в институтах экономического профиля, он вёл в Москве открытый культурологический семинар, имевший широкую популярность. А в 1988 г. смог, наконец, вернуться в коллектив социологов (во ВЦИОМ). И, что называется «взахлёб», отработал свои последние восемнадцать лет.

Эта книга вводит читателя в мир жизни и работы Юрия Александровича.

Первая часть – воспоминания его друзей и сотрудников.

Вторая – избранные теоретические статьи Ю.А. Левады, расположенные в хронологическом порядке. Включены и некоторые письма читателей «Литературной газеты», на страницах которой проводился опрос 1989 года.

Третья часть – библиография его теоретических и публицистических работ по социологии.

Семья Ю.А. Левады благодарит всех авторов, принявших участие в подготовке книги, особенно – раздела библиографии: Е.И. Серебряную, А.В. Борисова, С.В. Макарова.

Т. Левада

* Это вторая книга, посвященная памяти Юрия Александровича Левады (первая опубликована в 2010 г., в связи с его восьмидесятилетием) и предисловие, написанное в прошлом году, соответствует и этой книге.

Часть I
Вспоминая Ю.А. Леваду



Герб «левадовцев»

Б. Докторов

**ЖИЗНЬ В ПОИСКАХ «НАСТОЯЩЕЙ ПРАВДЫ»
Заметки к биографии Ю.А. Левады***

Благодарю многих коллег и друзей Ю.А. Левады, а также людей, не знавших его лично, за помощь в этой работе.

Жизнь состоялась

Как только российская социология начнет понимать себя и осознавать свою силу, она серьезно займется изучением наследия и биографий тех, кто ее создавал и возрождал, с чьей деятельностью связаны важнейшие события в ее современной истории. Справедливо и обратное: без систематического исследования деятельности тех, кто в постхрущевские годы формировал теорию и методологию советской социологии, кто зафиксировал образ жизни, особенности массового сознания и характеристики многочисленных форм поведения населения СССР / России, отечественная социология не сможет по-настоящему понять и реально оценить себя.

Можно утверждать, что любой претендующий на полноту исторического, политического, социально-культурного анализа процессов, происходивших в СССР во второй половине прошлого века и в России в начале наступившего столетия, всегда в значительной степени будет базироваться на результатах исследований общественного мнения, проводившихся Юрием Александровичем Левадой. Вместе с тем очевидно, что стремление историков науки к познанию экологии среды, в которой проходило становление советской социологии, неминуемо подведет их к изучению его жизненного пути.

Важной особенностью творчества Левады, наиболее заметно проявляющейся в его статьях и выступлениях послед-

* Публикуется в сокращении.

них десяти лет жизни, является их латентная и нетривиальная автобиографичность. В них нет мемуарности, но в их предметной наполненности – анализе наблюдений за динамикой сознания россиян – присутствует и его гражданская позиция, и его «я», то есть размышления о прожитых им годах. Суммируя все происходившее с «человеком советским» или в «человеке советском», Левада одновременно пытался осмыслить свой жизненный путь. Потому аналитики, для которых главную ценность представляют социологические выводы Левады, неминуемо увидят в них Леваду – гражданина и личность, а историки социологии смогут подойти к пониманию жизни и творчества Левады лишь в том случае, если осият его научное наследие. Пока можно сказать лишь одно: его жизнь состоялась.

Когда Левада стал заниматься социологией, он считал, что следует поставить перед обществом зеркало, чтобы общество в это зеркало смотрелось. Всю жизнь он старался это делать, и очень многое ему удалось.

Из сказанного следует два вывода. Первый – творчество Левады и его биография непременно будут предметом специальных историко-наукведческих исследований. Второй – сейчас почти невозможно обстоятельно писать о сделанном ученым. Необходима дистанция для обзора жизненного пути и творчества Левады, и нужно время для освобождения от ощущения его харизмы, некоторые грани которой обозначены сорок лет знавшим его Алексеем Левинсоном. Он говорит о «феномене L».

Однако это не означает, что изучение наследия Левады должно быть отнесено в будущее; это было бы крайне нежелательно и для создания его творческой биографии, и для написания истории современной российской социологии. Время не имеет обратного хода, и потому то, что относительно легко сделать сейчас, через несколько лет может оказаться неосуществимым.

В конце прошлого года журнал «Социальная реальность»

объявил о начале проекта «история с близкого расстояния». Его цель заключается в анализе личных судеб и творчества тех, кто во второй половине XX века и в первые годы наступившего столетия внес заметный вклад в изучение общественного мнения. Это будут «оперативные материалы»: очерки, воспоминания, фотографии, документы другого рода о людях, чей жизненный путь уже завершился, но чье наследие живо и останется значимым для будущих аналитиков общественного мнения. Уверен, что в этом «Зале славы» должно быть место и для портрета Юрия Александровича Левады.

Дважды шестидесятник

Для нескольких поколений российских социологов, аналитиков общественного мнения, исследователей культуры Юрий Александрович Левада был и остается эталоном с точки зрения поведения обществоведа в сложных политико-нравственных коллизиях. На его смерть отозвались виднейшие политики страны, ведущие исследователи российского общества, демократически ориентированные средства массовой информации России, ряд западных информационных каналов. Соболезнования прислали президент Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Медведев, а также первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

Если кратко сформулировать причину подобного внимания к явно не публичной, не пафосной личности, к ученому, полтора десятилетия вынужденно молчавшему, то она проста: огромный дефицит людей, верящих в существование, говоря словами Левады, «настоящей правды», постоянно ищущих эту правду и стремящихся ее говорить. Многим такая вера и такое поведение кажутся наивными, немодными, опасными и бесполезными. Однако в моменты просветления общественного и личного сознания оказывается, что именно этого «устаревшего» товара всегда и всем недостает.

Леваду можно назвать «дважды шестидесятником». В

1960-е, подобно многим интеллектуалам, он воспринял идеалы хрущевской «оттепели» и сделал их базой, гражданским императивом своих научных изысканий. В середине 1980-х он, поколебавшись – ведь мысль всегда пессимистична, – принял дух перестройки. В интервью, данном Левадой за два месяца до его смерти, он вспоминал: «Я помню, как обсуждали пришествие Горбачева. Я ему сначала не верил совершенно. Считаю, что это очередной Черненко. Но потом исправился».

Обладая мужеством все додумывать до конца, он, скорее всего, никогда не считал, что «иного не дано», но одновременно в течение последних двух десятилетий не допускал мысли о реставрации милой сегодня многим в России имперскости. Даже внутри социологического сообщества, в котором представители старших поколений обоснованно относят себя к шестидесятникам, не все сохранили политические ценности и интеллектуальные устремления того времени. Левада – сохранил. В печально-траурные дни профессор А.Г. Здравомыслов, знавший его четыре десятилетия, писал: «Я бы хотел подчеркнуть, что Юрий Александрович в годы перемен, произошедших в стране, не менял своих убеждений. Он оставался верным тем идеям, к которым пришел в молодости...».

Молодой блестящий ученый

Юрий Левада был человеком закрытым: о себе говорить не любил, воспоминаний не публиковал, но все же из разрозненных публикаций и скупых в биографическом отношении воспоминаний его друзей и коллег вырисовывается общая траектория жизни ученого.

Родился он в Виннице; его мать была журналисткой, отец, Александр Степанович Косяк-Левада – известным украинским литератором; он участвовал в Великой Отечественной войне, а после войны работал в Министерстве кинематогра-

фии и в Министерстве культуры Украинской ССР. Им написаны сценарии к ряду игровых и документальных фильмов.

Бабушка Левады была полькой, принадлежащей к польско-литовскому графскому роду Сангелло. В доме говорили по-польски, была литература на польском языке. Позже Левада читал по-польски газеты, политическую и социологическую литературу, слушал на польском радио «Свобода», которое не глушили.

Польская социология, по мнению Левады, имела огромное значение для развития социологии в СССР. Западной литературы в стране не было, а польскую, начиная с 1960-х, можно было купить. «Историю социологии, – говорил Левада осенью 2006 года, – кроме польских источников, брать было больше неоткуда, историю западной социологии мы узнавали по-польски. Потом уже можно было добраться как-то до источника. И для всего моего поколения социологов Польша была мостиком к западной социологии, воротами такими. Можно было через поляков узнать, что там делали, читая их литературу».

Украинский язык он всегда знал, интересовался Украиной и часто там бывал. По воспоминаниям украинского социолога Владимира Паниотто, в 2004 году Левада участвовал в проведении экзит-поллов, а на пресс-конференции по их результатам неожиданно для всех присутствовавших заговорил на украинском. Возможно, еще в юности он начал изучать и другие языки, во всяком случае в зрелые годы он читал социологическую литературу и говорил на ряде европейских языков.

О детстве Левады известно очень мало, потому приведу кажущийся мне интересный факт. В годы войны – значит, ему было не меньше десяти лет, – Левада жил с семьей в Тюмени (в 2001 году я рассказал ему о конференции в Тюмени, и он заметил, что если бы знал о ней раньше, может быть, и поехал бы – не был в том городе после эвакуации). И вспомнил, как однажды его мать пришла домой и сказала ти-

хо: «Юра, к нам в город приехал Ленин». Прежде всего он подумал о «живом Ленине». Вообще в те годы очень немногие знали, что тело Ильича находилось в Тюмени.

Интерес к философии у Левады появился в старших классах школы: начал читать – и понравилось. У деда со стороны матери – профессора медицины и фармакологии – книжные полки занимали все стены. Была лесенка, на которой было уютно сидеть и углубляться в философские дебри. В 1947 году, с наивной надеждой, что существует место, где должны говорить «настоящую правду», Левада поступил на философский факультет Московского университета. В начале 2000-х годов, вспоминая факультет, он говорил: «Мне казалось, что там научат думать... хотя на самом деле отучали, но я этого не знал». Со студенческим окружением ему повезло: «В те годы через факультет проходил «сильный пучок» интересных людей – ни раньше, ни позже, кажется, такого «парада планет» не было». В цитируемой выше статье А. Левинсон отмечает феноменальность студенческой когорты тех лет. Одновременно с Левадой, чуть раньше или позже, учились Борис Грушин, Александр Зиновьев, Мераб Мамардашвили, Эрик Юдин, Георгий Щедровицкий. На одном курсе с Левадой учились и Раиса Титаренко, будущая жена Михаила Горбачева. Горбачев пишет в своих воспоминаниях: «...Все чаще стал я посещать комнату общежития, где жила Рая, познакомился и с ее подругами и их друзьями – Мерабом Мамардашвили и Юрием Левадой (первый позднее стал известным философом, второй – столь же известным социологом). Собеседники они были интересные...».

Вспоминая студенческие годы, Николай Иванович Лапин отмечает: «С Юрием Левадой, просто, Юрой, я познакомился в 1949 году, когда поступил на философский факультет МГУ. Он был всего на год старше меня, но я изначально воспринимал его как человека, который сразу и точно осмысливал суть происходящего, особенно сложных событий. Обстоятельность и проницательность его ума, надежность его

характера ощущались чисто физически».

Чистая философия Леваду тогда не интересовала, это пришло позже, его влекло к социально-политической проблематике, к вопросам социальных изменений. Социологии в те годы не обучали, он слышал о ней совсем немного, никакой специальной литературы у него не было.

Университет Левада окончил в 1952 году, в конце обучения его заинтересовал Китай. По его словам, он «наполовину выучил язык», написал диплом, а в 1955 году – и кандидатскую диссертацию по китайской революции. В том же году он начал работать в Институте китаеведения, поехал в Китай, где впервые занялся социологическими исследованиями. Массовые обследования ему проводить не позволяли, но что-то все же сделать удалось. Потом отношения между СССР и Китаем изменились, и работа по изучению китайского общества стала невозможной.

В 1960 году Левада перешел в Институт философии АН СССР и начал заниматься социологией религии – темой, имеющей многовековые традиции в мировой культуре и обществоведении, но абсолютно новой для того времени в СССР. Уверен, при раскрытии этой темы Леваде приходилось сдерживать себя и при стремлении к высокому уровню философским обобщениям, и при спуске в глубины массового сознания. Исследования завершились книгой «Социальная природа религии» (1965 год), не потерявшей свое значение и в наше время. Им был сформулирован ряд общих подходов к социологическому исследованию культуры, показано, как обществом, человеком воспринимаются сложные явления окружающего мира, и описан механизм становления управляющей общественной системы. Думаю, что многое, о чем ему хотелось тогда сказать, в силу различных соображений высказано не было, но проросло позже в его других работах.

В 1966 году Левада становится одним из первых в стране докторов наук, работающих по социологической тематике, и создает научный коллектив, ведущий исследования по тео-

рии социологии. В том же году родился известный левадовский междисциплинарный семинар, на котором обсуждались новые для того времени подходы к изучению всего множества форм социальных отношений. Тогда это был не «теневой» семинар, обычный – классическая форма академической работы.

За «не те» слова он был обречен на молчание

В 1968 году Левада участвует в создании Института конкретных социальных исследований (ИКСИ). Через год он издает «Лекции по социологии»; два тома, каждый из которых был немногим более ста страниц. Это были материалы лекций, которые он четыре года читал в МГУ будущим журналистам.

Позже Левада называл свой курс примитивным и популярным, но для того времени это было совсем не так. Новым было отчетливое стремление автора показать самостоятельность социологии как науки, раскрыть ценность эмпирических методов при анализе социальных процессов, указать на сложность механизмов взаимоотношения личности и общества. Последующие события, которые теперь являются далекой историей, показали, что ни эти утверждения Левады, ни ряд методических недочетов, ни несколько двусмысленных фраз не могли бы сами по себе стать предметом резкого осуждения «Лекций» и расправы с их автором. Просто время не стояло на месте, идеологи старой закалки, вынужденные в период «оттепели» припудрить свои идеологические воззрения и приглушить карьерные амбиции, больше не могли и не хотели ждать.

Фраза о том, что личность в обществе подвергается разного рода давлению со стороны власти и массового общества и что ее пытаются задавить танками, сказанная задолго до «Пражской весны» и пропущенная цензурой, в 1969 году была интерпретирована как осуждение ввода советских войск в

Прагу. В сравнении почти тождественных высказываний Гитлера и Сталина о том, что человек – ничто, а массы – все, нашли идеологическую ошибку. Разразился скандал, поднялась волна злобной критики. Статьи в «Правде» и «Коммунисте», главных печатных органах партии, обсуждения (осуждения) в партийных школах. Главная вина – отступление от марксизма, преклонение перед буржуазной социологией. Потом обсуждение в ИКСИ, уход из университета, выговор по партийной линии, запрет на публикации. Социологический фольклор конца 1960-х включал и такую частушку: Ой, не надо, ой, не надо нам рубить-то сгоряча, не расстреляли бы Леваду да к столетию Ильича».

На время Леваду оставили в покое, но летом 1972 года к руководству ИКСИ пришел М.Н. Руткевич. «Тогда, – вспоминал Левада, – он имел и славу, и силу главного погромщика социологии, он на этом делал карьеру, для чего специально и приехал из Свердловска. Стало ясно, что нам тут не жить, надо уходить. Я знал о настроении, поведении Руткевича и сразу ему сказал, что думаю уйти. Он ответил, что уже договорился с Федосеевым о том, что я уйду. Сказал это с привычной ухмылкой, по-моему, с большим наслаждением».

Поскольку в достаточно влиятельных партийных и научно-бюрократических кругах за Левадой закрепилась слава злодея, найти новое место работы ему было нелегко. В конце концов друзья помогли ему устроиться на скромную должность старшего научного сотрудника в Центральный экономико-математический институт АН СССР (ЦЭМИ). Первоначально с ним должны были перейти еще несколько человек, но в результате не дали даже ставки секретаря. Так, «сам по себе», он работал 16 лет, занимался чем-то вроде социологии экономического развития. У него не было аспирантов, его не публиковали, он не мог преподавать и выезжать за рубеж. Он был обречен молчать.

В дни, когда друзья и коллеги прощались с Левадой и я

делал подборку материалов о нем, Владимир Шляпентох писал: «Для меня главное, что сделал Юрий Левада в своей жизни, – это мужественное противостояние давлению тоталитарного государства в 1970-е годы, которое с большой вероятностью могло обернуться арестом. Он тогда не дрогнул и стал, по сути, единственным диссидентом среди социологов первой волны».

В разные времена судьбы огромного числа людей были сломлены советской властью, но в ряде случаев ее давление на тех, кто высоко ценил свою правоту, был глубоко предан своим убеждениям и верил в правоту своего видения мира, приводило к обратным результатам. ГУЛАГ сделал Солженицына, заключение выковало Бродского, «психушка» обострила художественное видение Шемякина, высылка из страны Ростроповича привела к тому, что он стал мировой знаменитостью. Их таланты раскрылись в вынужденной эмиграции; обстоятельства дали им почувствовать настоящую свободу в творчестве.

Возможно, власть надеялась на то, что Левада сломается, уйдет во внутреннюю эмиграцию или покинет страну, – он же создал свое сообщество, в котором мог чувствовать себя в достаточной мере интеллектуально свободным. Речь идет о том, что все эти годы работал левадовский семинар. Каждые две недели собирались люди: иногда – лишь постоянные участники, и потому хватало небольшой комнаты, иногда – несколько сот человек. Официальная философия, социология были узкими, скованными, потому существовал интерес к нормальным, неидеологизированным исследованиям, ощущалась необходимость изучения реального человеческого поведения. Случалось, что вокруг семинара возникали скандалы, приходилось менять место. Деятельность семинара и его руководители интересовали и КГБ, но, скорее всего, органы понимали, что лучше не загонять обсуждение общесоциологических проблем в подполье.

Очень яркий факт, говорящий о гражданском, личном

мужестве Левады, приводит в своем эссе Владимир Шляпентох – он вспоминает время, непосредственно предшествовавшее его эмиграции в Америку: «Левада, вообще очень сдержанный и даже суховатый человек, не был моим другом, только добрым коллегой. Так вот, как только стало ясно, что я оказался в числе «неприкасаемых», он стал бывать в моем доме почти ежедневно, полностью игнорируя тот факт, что все его посетители – таково было тогда всеобщее мнение – регистрируются соответствующими службами. Когда у меня возникали неприятности, я ждал его прихода с нетерпением для совета и успокоения».

**«Не припомню, когда бы я говорил, писал
или заявлял то, чего я не думал...»**

В конце марта этого года бывший ленинградец, профессор Дмитрий Шалин, давно преподающий социологию в Университете Невады в Лас-Вегасе, восстановил и перенес на бумагу диктофонную запись своей продолжительной беседы с Юрием Левадой, состоявшейся в феврале 1990 года. С любезного разрешения Д. Шалина привожу несколько разрозненных фрагментов (в тексте интервью они расположены не подряд) из воспоминаний Юрия Александровича об описанных выше событиях.

Д.Ш.: Как Вам казалось, в 60-70-е годы, особенно когда Вы были официально в опале, была у Вас возможность говорить то, что Вы думаете?

Ю.Л.: Возможно, я Вас в чем-то разочарую, но я могу сказать только то, что могу сказать. Никаких особенных внутренних переживаний я не испытывал. Внешнюю канву этих событий Вы знаете. В 69-70-м была попытка расправиться с социологией. Предлогом была моя книжка, я думаю, только предлогом.

Д.Ш.: Встречались Вы на дому? (Речь идет о семинаре. – *Б.Д.*)

Ю.Л.: Мы встречались обычно либо там, где я работал, либо еще на какой-нибудь другой почве. В основном там, где я работал, там у нас и проходил семинар. У нас помещения долго не было... Несколько раз его пытались запретить, мы меняли название, меняли крышу и продолжали жить практически непрерывно.

Д.Ш.: Я вот слушаю Вас, и мне кажется, что Вы можете сказать или кто-то мог о Вас сказать, что Вы жили не по лжи. Вы по существу как думали, так и говорили. Я немножко утрирую, но...

Ю.Л.: Думаю, что да. Я не могу припомнить ни одной ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего я не думаю...

Д.Ш.: Хотя и молчали по поводу определенных вещей.

Ю.Л.: Во-первых, я просто не участвовал в социологических прочих вещах. Во-вторых, в это время развернулась политическая жизнь на уровне диссидентства.

Д.Ш.: Вы, кстати, не считали себя диссидентом?

Ю.Л.: Нет. Я знал людей многих, которые с этим были связаны, в какой-то мере помогал. Никаких ни угрызений, ни опасений по этому поводу не было, но специального участия в работе я не принимал.

Д.Ш.: А был когда-то момент сомнения, что, может быть, пора уезжать?

Ю.Л.: У меня не было ни разу.

Д.Ш.: А Вы можете себе представить такие условия в Советском Союзе – тогда, сейчас, в будущем, – когда Вы бы всерьез задумались, что, может быть...

Ю.Л.: Сказать, что мне нужно было бежать от преследования, я не имел права. Сказать, что я чувствую интерес к лучшей жизни, я никак не мог, она меня не интересовала и не интересует сейчас.

Д.Ш.: Было такое ощущение, что когда Вы пишете, Вы что-то недосказываете или выбираете тематику...

Ю.Л.: Конечно, в какие-то времена кое-что недосказывал.

У меня вчера был разговор с нашим Эрихом Гольдхагеном (Erich Goldhagen, профессор-историк, многие годы работал в Center for Russian Studies в Гарвардском университете. – *Б.Д.*), которому я сказал... я увидел, что он пишет о фашизме, интересуется им, и я ему сказал, что когда-то очень занимался этим делом и написал одну статью, в энциклопедии она философской. Она довольно большая, и в свое время мне нравилась, а потом... Он меня спросил: «Это написано в духе времени?» Вопрос, на который довольно трудно ответить. Мне самому кажется, что вряд ли совсем в духе времени, хотя и неясно, что такое дух времени. Вы знаете, что главой редакции Философской энциклопедии был академик Константинов, который не все читал, но он меня знал хорошо и статью взял читать. На полях верстки он сделал надпись: «Это про них или про нас?»

Д.Ш.: Тут-то Вы и поняли, что написали нечто хорошее.

Ю.Л.: Нет, это я, простите, заранее знал, тут мне особенно не надо было на него опираться, мне единственное надо было, чтобы он не мешал. Тогда редактор, достаточно приличный и достаточно хитрый человек, в нескольких пунктах написал слово «буржуазный», то есть это не просто такая организация, а «буржуазная».

Востребован новым временем

В истории современного этапа российской социологии есть событие, которое большинству людей ни о чем не говорит, но при упоминании о котором у небольшой группы социологов первых поколений теплеют глаза. Речь идет о семинарах, или конференциях, в Кяярику (Kääriku) – небольшом эстонском городке вблизи Тарту. Там – корни наиболее значимых советских исследований в области прессы и телевидения, в тех дискуссиях происходило понимание важнейших методолого-методических проблем социологии и формировалась одна из наиболее продуктивных в отечественной

социологии сетей межличностного общения. Организатором семинаров был Уло (Юло) Вооглайд (Ülo Vooglaid) – тогда аспирант Тартуского университета, теперь – известный социолог, политик и общественный деятель, а дух этих встреч во многом определялся выступлениями и общим отношением к жизни и социологии Владимира Ядова. Первая встреча проходила в 1966 году, вторая – в 1967-м и третья – в 1968-м. состоялась и четвертая, но ее материалы не опубликованы.

Через сорок лет после Кяярику-1 Ядов вспоминает: «Встречи в Кяярику – событие в советской социологии. Эстония была в СССР своего рода «Западом». Языка московские начальники не понимали, и генсек эстонской компартии Йоханнес Кэбин точно играл роль «крыши». В Кяярику участники собраний чувствовали себя примерно как сегодня на любой международной конференции. Говорили то, что думали, а думали – как шестидесятники, если переводить на язык идеологии. В собственно научном плане там блистали Юрий Лотман, узнадзевец Венори Квачахия, Юрий Левада и многие другие выдающиеся интеллектуалы». А вот слова Владимира Шляпентоха: «Эти семинары были праздником души и профессионализма».

Если судить по оглавлению сборника выступлений на первой конференции, то можно утверждать, что Левада был там ключевой фигурой. Он делал доклад о массовой культуре и различных видах массовой коммуникации, в котором, в частности, сказал: «...Смотреться в зеркало не вредно, и в такое зеркало, как общественное мнение, тоже иногда можно смотреть...». В свете того, что через два десятилетия стало главной темой исследований Левады, интересен один из фрагментов его ответа на замечание В.Б. Ольшанского относительно введенной докладчиком «тонизирующей» функции массовой коммуникации. Ссылаясь на Руссо, Левада говорил о демократии как о сочетании компетентных мнений людей. Таким образом, вопросы феноменологии общественного

мнения находились в поле зрения Левады уже в начале 1960-х годов, латентно эта проблематика присутствует и в его статьях 1970-х – начала 1980-х годов.

Из «заточения» в ЦЭМИ Леваду освободила перестройка. В 1988 году социолог и экономист, академик Татьяна Заславская и профессор Борис Грушин, «отец» опросов общественного мнения в СССР, приступили к созданию Всесоюзного центра по изучению общественного мнения (ВЦИОМа) и пригласили Леваду возглавить теоретический отдел. Получив от Грушина предложение перейти во ВЦИОМ, Левада согласился, выдвинув одно условие: вместе с «командой». Условие было принято, и сильная группа социологов-культурологов, прошедшая через семинар, приступила к новой работе.

Расцветала гласность, вскоре была отменена цензура, население втягивалось в обсуждение всего происходившего в стране, людей можно было спрашивать о многом. Символично, что первая книга, выпущенная в 1990 году Левадой и его коллегами, бывшими «семинаристами», называлась «Есть мнение!». Это не был ответ на сложнейший теоретический вопрос о том, что такое общественное мнение, но нечто созвучное восклицанию «Эврика!», передающему одновременно и удивление, вызванное обнаружением нового, и радость первопроходцев. Действительно, в те годы значительные группы населения страны были активно вовлечены в перестроечные преобразования; одни – принимали их, другие – отвергали, но в любом случае они реагировали на происходящее.

В 1992 году сотрудники ВЦИОМа выбрали Леваду директором, тогда ему пришлось заниматься не только теоретическими проблемами изучения общественного мнения, но определять стратегию деятельности института и решать множество рутинных вопросов. С момента рождения ВЦИОМ был ведущей в СССР, а затем – в России организацией по изучению мнений населения, его результаты посто-

янно публиковались в наиболее известных средствах массовой информации, комментировались ведущими политологами и политиками. При этом нередко говорили не «как показали опросы ВЦИОМа», а «по результатам опросов Юрия Левады».

Одновременно с освещением отношения граждан к происходящим в стране событиям Левада постоянно вел углубленное исследование динамики сознания россиян. Мониторинг был задуман в 1989 году для отслеживания, как казалось, уходящей природы – «человека советского». Однако опрос 1994 года показал, что все происходившее в обществе не столько формировало «нового» человека, сколько обнаруживало, освобождало в нем ранее скрытое, латентное. Еще через пять лет оказалось, что большинство населения – консервативно, подвержено влиянию ностальгических и даже реставраторских настроений. Четвертое обследование (2003 год) проводилось в обстановке «авторитарной стабильности». Подводя итоги мониторинга, Левада отмечал, что почти за два десятилетия с начала реформирования советского общества в стране не сформировалось демократической, гражданской общности. Реально человек остается «советским», и это его качество подкрепляется государственными символами и официальным отношением властей к сталинским и брежневским временам.

Прошло свыше трех десятилетий после разгрома «Лекций» Левады, и вокруг ВЦИОМа начали развиваться события, напомнившие многим далекое прошлое. Созданный еще в «старое» время Центр и в начале нового века формально оставался государственной организацией, хотя свои финансовые проблемы решал самостоятельно, денег из бюджета ему не полагалось. В 2003 году власти под предлогом упорядочения хозяйственных вопросов решили изменить статус ВЦИОМа и снять его руководителя. И тогда, и сейчас выдвигались разные предположения, соображения о мотивах подобной деятельности властных структур; в частности, есть

точка зрения, что, по оценкам ВЦИОМа, рейтинг президента имел иную динамику, чем в расчетах аналитиков других организаций. В то время я проводил специальные сравнительные исследования и ничего подобного не обнаруживал. Поэтому предположу, что реальная причина была в ином: власть действовала на опережение. Смотри в будущее, она в принципе прогнозировала возникновение таких политических коллизий, в которых ей придется договариваться с Левадой о направленности тех или иных опросов, а, может быть, об интерпретации получаемых результатов. Одновременно она понимала невозможность успешности таких переговоров.

Завершилась эта эпопея тем, что Левадой и его сотрудниками была создана новая независимая организация «Аналитический центр Юрия Левады». Туда перешли 82 человека из 82, работавших во ВЦИОМе. Работа не прекращалась ни на один день...

«Социальная реальность». № 6. 2007

ЛЕВАДА: ЦЕНТР

Юрий Левада – один из основателей первой в России профессиональной социологической службы. Сначала служба называлась ВЦИОМ. Потом, когда Леваду новая власть из ВЦИОМа попросила, стала называться ВЦИОМ-А. Наконец, переименовалась в «Левада-Центр» и под таким названием ушла в историю.

Не вошла, а именно ушла. То есть при жизни своего создателя стала явлением историческим. Что, вообще говоря, неожиданно. Потому что социология – второе очистное оружие на пути современности в историческое пространство. Первое – это выпуски новостей, которые отсеивают бесконечные события по принципу «важное-неважное», «существенное-несущественное». Но очистная структура новостей такова, что они слишком часто именно мусору придают глобальный статус, а существенное переводят в разряд несущественного. Не только у нас, но даже там, где Администрация Премьер-Министра или свита вождя племени не контролирует верстку телевыпусков напрямую. Потому что всегда есть общие интересы страны, личные идеалы журналистов, запрос потребителя, наконец. Заведомо искаженные новости выходят в эфир. И тут вступает в дело социология. Она выставляет свое опросное сито и тщательно просеивает новостной ряд, предложенный телевидением, радио и газетами. Не с той точки зрения, соответствует ли этот ряд объективной реальности (потому что – кто знает, что такое объективная реальность?). А с той точки зрения, соответствует ли он самоощущению наших современников. Новости конструируют образ окружающей жизни. Социология реконструирует восприятие людей. Будущий историк возьмет документы, воспоминания, дневники, сверит их с новостным фоном и данными опросов. Может быть, что-то и поймет.

Но случай Левады – особый. Он входил в число людей, чей авторитет одинаково признается друзьями и врагами. Понятно, когда лидерами интеллектуального сообщества (неохотно признанными в этом качестве властью) становились пророки и производители идей. Солженицын, Сахаров, Лихачев. Они формулировали некие принципы и адресовали сообществу, чтобы сообщество могло использовать их, как клеевую основу (NB: я пишу это, и компьютерная система проверки орфографии пытается автоматически поправить «клеевую» на «клёвую», что характерно). Нет рядом Солженицына – и трудно обычным честным интеллигентам решиться жить не по лжи. А есть – и вроде как проще; солженицынский призыв склеивает разрозненное сословие воедино. Нет рядом Сахарова – и трудно простым совестливым физикам ощутить себя не просто учеными, но и гражданами мира. А есть – и вроде как возможно. «Размышления о мире и прогрессе» схватывают множество частных мнений, как цемент – кирпичи. Нет Лихачева, этого великого ходатая по делам интеллигенции, и как осознать единство сословных интересов? А есть – и вроде как все удаётся.

Но – Левада? Но – социолог? Но – представитель науки, которая декларирует свое невмешательство в процесс интеллектуального производства? Науки, которая всячески подчеркивает свое фиксирующее, отражающее начало? Разве зеркало может обладать харизмой? Может. Во-первых, потому, что социология – зеркало особое; оно в той же мере отражает жизнь, в какой фокусирует ее и посылает обратный сигнал; она сама отражается в жизни. Влияет на сознание элит, принимающих решения; воздействует на массы магией цифр; будучи прежде всего гуманитарной сферой субъективных интерпретаций, поддерживает имидж точной науки. Во-вторых и в-главных, Левада лично обладал всеми качествами, необходимыми для морального лидера. Спокойной, какой-то неотмирной независимостью суждений. Несгибаемостью воли. Масштабом мысли. Не цифры были важны – важ-

но было суждение Левады по поводу этих цифр. Он имел внутреннее право выносить вердикт общественной, политической, экономической жизни. Именно это ощущение – человек говорит по праву – придавало его работе незыблемый вес. И освящало мистикой авторитета деятельность «Левада-Центра» в целом. Когда вы видели Леваду, слышали его, читали – вас не покидало ощущение, что перед вами, рядом с вами, внутри вашей современности живет и действует человек исторический. Который смотрит на быстротекущие события изнутри вечности, про которую молчит, потому что слишком хорошо ее знает.

Что значит – говорить по праву? Кто дает человеку это право? Для верующего ответ очевиден. Неверующий скажет: дар от природы. Но как бы то ни было, этот дар дается, а дальше самое главное – не потерять его, не лишить себя изначально данного права. Не испортить плохо прожитой жизнью. Левада – не испортил. А может стать, и приумножил. Свои ключевые решения он принимал вовремя и следовал им жестко. И когда создавал службу. И когда отказывался переподчинять ее действующей власти. И когда реинкарнировал в новом качестве. Тема опроса: состоялся ли Юрий Александрович Левада? Ответ: да. Результат: сто процентов. Интерпретация: интерпретировать нечего. Факт.

«Профиль» 20.11.2006. № 123

ИНТЕРВЬЮ: ЮРИЙ ЛЕВАДА ПРОСЛАВИЛ СЕБЯ В ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

– Юрий Александрович Левада прожил долгую и богатую событиями жизнь. Он был одним из первых социологов советского поколения. Как известно, социологическая школа была в дореволюционной России, потом после октября 1917 года и вплоть до 60-х годов была пауза в развитии социологии. И только в 60-е годы стала появляться новая социология. Люди, которые возрождали эту науку в стране, создали своего рода кружок, корпорацию в хорошем смысле слова, они все друг друга хорошо знали. И, по моему мнению, эта советская социология в послесталинский период, когда все было выкошено, взяла на удивление хороший старт. Безусловно, среди основателей новой российской социологии следует назвать имена Грушина, Гордона, Здравомыслова, Ядова, Заславской, хотя она стояла в тот период несколько особняком, работала в Новосибирской группе социологов. Я бы назвал еще Антосенкова, хотя он не теоретик, но он был один из первых, кто стал осуществлять крупные эмпирические исследования по рабочим кадрам. Среди пионеров социологии обязательно нужно упомянуть ныне покойную, к сожалению, Нину Федоровну Наумову.

– **То есть, Юрий Александрович, стоял у истоков российской теоретической социологии, был одним из родоначальников этого направления социологии?**

– Социология шестидесятых годов была особой средой, работающие в этой сфере все друг друга знали, хотя и не всегда любили – но, безусловно, членство в корпорации играло очень большую роль, было принято, что своим надо помогать, потому что с трудоустройством было сложно. И помощь друг другу была безусловной нормой этой корпорации. Каждый представитель первого поколения российских со-

циологов каким-то образом себя прославил, в разных областях и в разной степени. Юрий Левада прославил себя в области социологической теории, но не в том смысле, что он сам изобрел какую-то теорию, я думаю, что это было невозможно. Нельзя было в отрыве от мировой науки, от мировой традиции взять и придумать что-то такое, чтобы все ахнули. Кстати, те, кто занял такую позицию, в итоге оказались жуликами. А Левада стал активно изучать современную ему западную социологию. В частности, тогда на Западе гремело имя Парсонса, и первые социологи, включая Леваду и Здравомыслова, вышли на эту фамилию, они его читали, что очень важно, они его переводили. Была целая когорта людей, которые много сил потратили на то, чтобы донести до русского читателя переводы зарубежных социологов, например, Мертсона и других. Именно в 60-е годы был создан Институт конкретных социологических исследований, ИКСИ, первым его директором был Румянцев, которому удалось создать в институте хорошую интеллектуальную среду. Именно там работал Юрий Александрович Левада. Левада в ИКСИ организовал семинар, в котором активно занимались классической социологией, они читали и переводили Парсонса и, может быть, шли от его работ, но открыли для себя социологов первой волны: Фердинанда Тённиса, Макса Вебера, Чарльза Кули, Георга Зиммеля, Элизабет Ноэль-Нойман и других. Социологическая классика имела два взлета: первый – в Европе в конце XIX – начале XX века, затем период депрессии и война, в 60-х и 70-х годах наибольшее развитие получила американская социология, связанная с именем Парсонса. Именно американских авторов наши социологи подняли, прочли, перевели, по их работам устраивали семинары. В тот период была проделана огромная работа. Не обошлось и без критики советского строя, хотя, возможно для того времени, это было некоей тактической ошибкой.

– Но ведь, насколько известно, Левада практически не занимался эмпирическими исследованиями?

– Ю.А. Левада не занимался эмпирическими исследованиями, но те, кто занимались, начали таскать ворохами социологический материал с разного рода негативом или с тем, что казалось негативом. К примеру, если Элизабет Ноэль публикует цифру какого-то рядового опроса, что в каком-то концерне довольны работой меньше 50% человек, это нормально, кто-то доволен, кто-то нет. А у нас если 50% людей недовольны своей работой, то это чуть ли не катастрофа и идеологическая диверсия. То есть, многие цифры, которые воспринимались как негативные, может быть, и не были таковыми, просто такой был специфический старт. И у социологов-эмпириков была мессианская мысль донести до властей, насколько все в России плохо. В результате последовал знаменитый ответ из ЦК КПСС, который в данном контексте я, кстати, воспринимаю с пониманием. Они сказали: нам не нужна информация о том, что советская экономика работает плохо, потому что мы это и так знаем, нам нужна информация или предложения о том, что делать. Но социология к этому не была готова, но это отдельный вопрос, не связанный с Левадой. Среди первых наших социологов-первопроходцев, где были эмпирики и были теоретики, Левада занимал нишу теоретика, и, как я думаю, безусловно, в ней лидировал, он создал зачин теоретической социологии. Поначалу она была вторична по отношению к западной, шло заимствование, но это нормально, и другого варианта не могло быть. Но эта теория определенным образом прокручивалась через семинары, люди активно общались, происходило конструктивное взаимодействие с теми социологами, которые занимались эмпирическими исследованиями. В общем, тогдашняя социология взяла на удивление хороший старт и имела очень большой потенциал развития. Бог ведает, каким образом, но в самой первой когорте социологов было очень много ярких людей. Однако, и эту историю обойти никак нельзя, кто-то начал писать доносы, говорили, что это некий Руткевич, который в Свердловске преподавал научный комму-

низм. Он ли писал эти доносы или нет, но в 1972 году вышло очень резкое постановление ЦК КПСС о том, что под видом социологических исследований группа ученых занимается идеологическими диверсиями и так далее. На пленуме выступал какой-то человек из ЦК КПСС, он даже не мог произнести слово «Парсонс», и поэтому сказал: вот, увлеклись изучением западных идеологически чуждых авторов, в том числе Парсоном – все стали переглядываться: кто такой Парсон, и только потом догадались, что это речь идет о Парсонсе. Последовал самый настоящий разгром социологической науки, практически всю квалифицированную верхушку из Института социологии выгнали, включая Леваду, а ряд исследователей ушли из института в знак протеста.

– Не кажется ли Вам странным тот факт, что так активно в свое время взялись «громить» Парсонса, в то время, как он был настроен вполне дружелюбно по отношению к СССР?

– Да, нападки властей на Парсонса вообще непонятны, потому что он действительно был настроен дружественно, дважды приезжал в Советский Союз, думаю, что именно Левада играл в этом активную роль. Парсонс возглавлял комиссию по контактам с СССР в Американской социологической ассоциации. В принципе, Парсонс как раз был настроен дружить. Но в связи с постановлением ЦК КПСС, директора института социологии Румянцева сняли, назначили вместо него научного коммуниста Руткевича, который проработал в институте года четыре. Одним из первых его деяний было уничтожение ротапринтного сборника переводов работ Парсонса, он его просто пустил под нож. Правда, говорят, что успели уйти в Ленинскую библиотеку и в другие крупнейшие библиотеки сигнальные экземпляры этих сборников. Эта история очень похожа на истории типа «ждановщины», но отличие все-таки было: никого не посадили (а тогда вполне могли посадить), просто разогнали, более того, даже трудоустроили по разным институтам. Юрий Левада попал в Цен-

тральный экономико-математический аналитический институт, где ему дали должность старшего научного сотрудника. Расчет властей оказался верным, разогнав специалистов, они разрушили уникальную научную среду и Институт социологии резко деградировал, стал несостоятельным. А прочая социология разбрелась по разным отраслям, заводам и так далее, где и заглохла. Правда, оставалась Заславская, которая пыталась заниматься наукой. Но, так или иначе, когда в 1983 году я пришел работать в ЦЭМИ, то случайно попал в тот же отдел, который возглавлял будущий академик Юрий Васильевич Яременко, в котором числился Юрий Александрович Левада. В это время он именно числился, поскольку серьезно работать ему не давали.

– **В чем это выражалось?**

– Это выражалось, прежде всего, в том, что был наложен строжайший запрет на его публикации, и этот запрет был преодолен в какой-то степени усилиями сотрудницы журнала «Знание – сила» Ирины Прус, которая смогла добиться выхода нескольких статей Юрия Александровича. Это произошло в конце 70-х годов. История публикации статьи Юрия Левады следующая: рукопись где-то долго пролежала, потом на нее кто-то дал негативный отзыв и было высказано мнение, что такую статью нельзя публиковать. Но главный редактор журнала «Знание – сила», отважная женщина, которая прошла войну, поставила перед собой задачу непременно опубликовать статью опального Юрия Левады. И она пригрозила людям, которые были против публикации статьи, представить в ответ на негативную рецензию доктора наук противонаправленную рецензию академика, имея в виду Заславскую. В результате эта публикация прошла, потом в этом журнале были помещены еще одна или две большие работы Юрия Левады. Но, тем не менее, человек, лишенный среды, лишенный возможности публиковаться, в те годы просто ничего не делал, философски относясь к жизни. И это очень долго продолжалось, с 1972 по 1989 год, фактически, целая

жизнь прошла.

– **А что произошло в 1989 году?**

– В 1989 году был образован ВЦИОМ, тогда его возглавила Татьяна Ивановна Заславская, она много сделала, чтобы собрать лучшую команду из всех опальных людей. Мне бы не хотелось говорить о том, насколько это хорошо удалось или не удалось, но, тем не менее, они с нуля создали технологию. И я думаю, что ВЦИОМ тогда работал даже лучше, чем сейчас. Была создана и работала машина социологических опросов. У нас до ВЦИОМа не было социологических опросов, всероссийские опросы были как бы запрещены. То есть, можно было опрашивать рабочих на каком-то заводе, в каком-то микрорайоне, а чтобы выявить всероссийскую цифру какую-нибудь, я уж не говорю про рейтинг Брежнева, такие исследования считались опасными, это было запрещено, как жанр. И, соответственно, не было людей, которые были способны выполнять подобные работы, умели правильно делать выборку и так далее. По литературе люди знали эти вопросы, но опыта не было. И поэтому первый состав ВЦИОМ, все-таки в большей степени благодаря Заславской, проделал эту работу. Но потом во ВЦИОМе произошли перестановки и общим собранием руководителем был избран Левада. Заславская после этого номинально осталась в какой-то должности, но реально оттуда ушла и никогда больше со ВЦИОМом дело не имела. Реальным руководителем ВЦИОМа стал Юрий Александрович Левада. Мне трудно говорить об эффективности работы этого центра, потому что появились конкурирующие организации, у Левады были свои успехи, были и недостатки в работе. Он не сумел построить отношения с администрацией президента. С момента организации ВЦИОМ был унитарным предприятием, позже они приватизировались. Спустя какое-то время во ВЦИОМе произошел конфликт, связанный с приходом на должность генерального директора Валерия Федорова. Юрий Левада был фактически отлучен от дел. Кстати, поначалу все вос-

приняли Валерия Федорова очень негативно, но мне кажется, что он неплохо работает, и комментарии его мне нравятся. Но, тем не менее, уход с должности руководителя Юрия Левады был для меня некоторым шоком, поскольку он действительно был патриархом социологической науки. В 2003 году Ю. Левада открыл собственный социологический институт «Левада-Центр». Я не берусь судить, в какой степени Левада обеспечивал поток заказов во ВЦИОМ и в какой мере это происходило иными путями. Примерно раз в три года ВЦИОМ издавал сборники статей, в которых было много интересного. Он до конца жизни пытался сохранить ВЦИОМ, позднее Левада-Центр, не просто как коммерческую организацию, но и как организацию, занимающуюся научными изысканиями. Говоря откровенно, я не уверен, что Левада-Центр сохранится, но хотел бы пожелать им успеха.

www.kreml.org

О Ю.А. ЛЕВАДЕ*

С Юрием Александровичем Левадой я познакомился на структурно-системном семинаре, руководителем которого бессменно, вплоть до закрытия, был Георгий Петрович Щедровицкий. Это была вторая половина 60-х годов: где-нибудь 65-ый, может быть, 66-й годы, я сейчас в точности не могу припомнить. В тот период Юрий Александрович время от времени посещал этот семинар, выступал там. Тогда одной из центральных тем была теория массовой деятельности и коммуникаций. Тогда Юрий Александрович и Эрик Григорьевич Юдин знакомили нашу научную общественность с теоретической социологией Толкотта Парсонса и структурно-функциональной школой, как она называлась. Я в то время тоже впервые услышал об этом и увлекся.

Я пришел на семинар студентом третьего курса. Это были первые годы моей самостоятельной трудовой деятельности. Мы оказались со Щедровицким в Институте технической эстетики, где мы работали над теорией и методологией дизайна. Там же я начал писать диссертацию по моделям культуры в этой самой структурно-функциональной теории. Круг шестидесятников того времени был очень внутренне интегрированным, то есть все друг друга знали, помогали как-то друг другу. Предполагалось, что я буду защищаться в Институте конкретной социологии, где Левада возглавлял теоретический отдел. Я туда был приписан для защиты, которая в 70-м году и состоялась. Я регулярно посещал семинары, которые проходили в этом секторе, выступал несколько раз, поэтому какие-то отдельные эпизоды я по ходу дела могу рассказать.

Для меня лично очень важно то, что это было одно поко-

* По материалам Polit.ru. «Взрослые люди». Автор Любовь Борусяк. Публикуется с сокращением.

ление: они все по рождению либо до 30-го года, либо чуть позже. Это основной возраст поколения шестидесятников, как их тогда называли, и как сами они себя называли. Мне очень важно было, что они старшие, как очень старшие братья. Тогда между нами не было такой большой возрастной разницы, которая потом образовалась, когда через 10-15 лет приходили молодые сотрудники. А тогда такой разницы большой не было.

То есть мы были ближе друг другу, чем академики и прочие матерые идеологи, исторические материалисты и так далее. Поэтому грань между «мы» и «они» была, но она не была такой резкой; мы ощущали себя внутри этой общности, но как младшие и старшие. Если взять семейную модель, то это как бы старший двоюродный дядя, относящийся к этой общности, но не по прямой линии. Это все-таки другая сфера, социологическая, а не наша методологическая.

Помнится, Левада первый раз выступал как раз по этой социологической теории и что-то рассказывал. Это было еще до лекций на журфаке. Меня в то время интересовала библиотека Московской Духовной Академии: тогда книг было мало – это сейчас все переиздали. Мне почему-то казалось, что там много книг по философской религиозной и общественной мысли, что там много дореволюционной литературы. И я, подойдя к незнакомому молодому человеку, задал вопрос, каким образом можно оказаться читателем библиотеки Московской Духовной академии? Он мне за несколько минут объяснил, что это закрытая институциональная структура, со своими правилами и особой моделью поведения, и что вряд ли мне вот так, «с улицы», удастся туда попасть. А дело в том, что к этому моменту уже вышла его книжка по социологии религии, поэтому он, естественно, воспринимался мною как человек, знающий, что это такое. Собственно говоря, это был первый из немногих контактов, который я хорошо запомнил. Тон был понятный, доброжелательный, но, тем не менее, очень определенный, такой наставнический. Вообще-

то мне кажется, что он педагогом был по природе своей.

Педагогом, руководителем. Скорее слово «наставник» здесь подходит больше, чем «лектор» или «человек, ведущий лекционные курсы». Я не слушал, кстати, таких регулярных курсов. Вот на семинаре он был бессменным руководителем, всегда комментирующим, всегда знающим, о чем он говорит и зачем. Поэтому его образ у меня таким и остался.

Когда он читал на журфаке собственный курс по социологии, это была теория изнутри социологии. К истмату она не имела никакого отношения.

Пока читаются лекции где-то, студенты их слушают – это один разворот дела. А когда они странным образом оказались изданными в Германии и на Западе, это уже воспринималось, как некое идеологическое – если не преступление, то, по крайней мере, деяние с вызовом. С этого и началась вся история, приведшая, в конце концов, к разгрому Института конкретной социологии и к закрытию сектора самого Юрия Александровича Левады.

Надо отдавать себе отчет в том, что как раз в 60-е годы наиболее энергично развивались области, которые максимально отстояли от основного русла этой философской идеологической работы. Например, математическая логика, семиотика и социология. Причем социология позитивистски ориентированная, ничего общего не имеющая с марксизмом, с диалектикой и со всеми этими истматовскими теориями. Ну, и вот эта группа интеллектуалов-шестидесятников, они в каждый данный момент занимались какой-то новой областью, в которой регулярная идеологическая армия их еще не догоняет. Я потом для себя сформулировал метафору, что это игра такая – «бежать впереди паровоза».

Какое-то время – примерно, 5 лет в среднем – это удавалось. Потому что, как только социология завелась, то буквально рядом появилась Академия общественных наук, и сразу же возникли: «социология и идеологическая работа», «социология и воспитательно-идеологическая работа», ну, и

еще чего-то такое. Там все эти концепты, понятия, подходы переосваивались уже в правильном русле. Потом появлялась какая-нибудь новая затея, скажем, прогнозирование, – например, Бестужев-Лада со своей командой.

Но поскольку все-таки поколенческие интеллектуальные ресурсы ограничены, то в первых таких отрядах, бегущих вперед, оставался лучший человеческий материал, чем на последующих этапах. Тем не менее, до начала перестройки была эта игра. В семиотике они сразу такой международный класс игры задали, что они их не догнали никогда, скажем так.

А вот уже после, когда появился Интернет, функция социологических исследований сама по себе изменилась или, по крайней мере, расширилась. Помимо собственно исследовательской части, во-первых, они стали публично представленными в Интернете, и эта аргументация вошла в повседневную идеологическую и ценностную риторику. И сами теперешние сотрудники «Левада-Центра» постоянно выступают в качестве экспертов, выступают на радио «Свобода» и еще где-то.

Поэтому с тех пор, конечно, много чего изменилось. В том числе – и это мне кажется очень важным, – в методологическом отношении. Если с самого начала это была жесткая позитивная, даже позитивистская социология, то постепенно она шагнула в сторону изучения настроений, отношений человеческих, уровня доверия к чему-нибудь – или уровня удаленности. А это слова, которые имеют скорее гуманитарный или, если угодно, антропологический смысл. Потому что это и слышится лучше, и большую аудиторию имеет, чем просто статистические сводки. Вот то самое, что сейчас там представляет несомненный интерес. Это тем более важно, что сейчас появилась масса рейтингов, довольно искусственных. Таких, как рейтинги телевидения или других средств массовой информации, посещаемость сайтов и прочее. А вот изучение более тонких, настроенческих вещей, относящихся

скорее к состоянию людей, переживанию тех или иных ситуаций, – в этом, конечно, они одни из лидеров до сих пор.

Там было по меньшей мере три периода. Первый, который был в момент образования (ВЦИОМа), еще мало чем отличался от позитивистской социологии. Тут еще важно вот что. Если Борис Андреевич Грушин был человеком, интегрированным в общественно-идеологическую работу: он служил в «Проблемах мира и социализма», был как-то плотнее интегрирован в управляющие структуры, то Левада, сохраняя фигуру лояльности, не становясь диссидентом, борющимся с чем-то, с самого начала отстаивал позу независимого исследователя. С самого начала и до конца.

Ему это удавалось. Моя защита в институте социологии совпала с его разгромом. Помнится, там была большая проработка со стороны партийно-идеологических органов. Это в довольно жестких словах производилось. Помню, даже кто-то из зала прокричал: «Ну, что? Может быть, милицию вызвать сразу?!» Типа, вязать кого-нибудь.

Товарищ с трибуны сказал: «Зачем нам милиция? Мы сами – марксисты-ленинцы, разберемся, кто прав, кто виноват». Я даже там, на месте, такое четверостишие сложил:

*«Не надо нам милиции,
Мы все – марксисты-ленинцы,
И сами ликвидируем
Возникшее сомненьице».*

При этом стояли очень твердо люди. И Борис Андреевич Грушин со своим цыганским темпераментом на вопрос, как нужно вести себя в таких случаях, отвечал: «Только сапогом, и только по морде! Биться надо в полную силу, не увиливать, чтобы это была стенка на стенку». Надо сказать, что в целом данному поколению это как-то удавалось.

Это такая, не получившая имени, средняя позиция между диссидентами, которые требуют от власти соблюдения ее

собственных законов, выходят на площади, дают интервью зарубежным радиостанциям, и теми, кто служит, работая в стол или как-то еще прикрываясь. Вот это, если не средняя, то какая-то третья позиция. Точнее это какая-то другая типология социальных и творческих позиций на самом деле.

Что, собственно, было потеряно с ликвидацией сектора и института? – Возможность гораздо бóльшего влияния, аспиранты, ученики...

Некоторые люди с написанными диссертациями так и остались незащищенными. Кто-то напрочь отказался от этого и ушел из социологии. Но ядро-то осталось, скажем, Леонид Седов, тот же Левинсон и ряд других лиц.

Левада – человек с принципами, с убеждениями. Допустим, его методологические убеждения, они с самого начала далеко не для всех были приемлемы, и для меня в том числе. Например, заведомо атеистическая позиция в отношении ко всем церковным институтам, как к разряду социальных институтов, таких же, как все другие, не специфических. Но когда позиция внятно выражена, и когда понятно, с чем ты имеешь дело, когда человек заявляет такую позицию, то это – убеждения, ценностный выбор, ориентация. Не так много людей, у которых позиция не просто воплотилась на бумаге или в текстах, но и во всем остальном. Как любил говорить Александр Моисеевич Пятигорский, это такой «этос». Статье, породе, воплощенной в структуре самой личности. И это вызывает безусловное уважение.

Это очень породистый человек. Не в смысле генеалогии, но что-то, безусловно, было такое в нем.

Polit.ru
19 мая 2010

**НАУЧНАЯ ШКОЛА ЮРИЯ ЛЕВАДЫ
О СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ**

В октябре была наша последняя встреча с Юрием Александровичем. Сидя у компьютера, он готовил письмо в поддержку решения Ученого совета Института социологии НАНУ о присвоении институту имени Наталии Паниной, а я изучал его последнюю книгу с традиционной надписью «Евгению Ивановичу на добрую память. 17.10.06».

Каждый раз, приезжая в Москву, я приходил к Юрию Александровичу Леваде. Без общения с ним не мог представить себе поездку в столицу государства, в котором уроженец Винницы стал живой легендой и моральным лидером не только для социологов, но и для всех мыслящих и демократически настроенных граждан. По-разному назывались социологические центры, которыми руководил Юрий Левада, разными были адреса, но неизменным был сам Юрий Александрович – невозмутимый, слегка ироничный и удивительно обаятельный. Его человеческое обаяние не вызывало живого отклика разве что у сильных мира сего, отношения с которыми редко складываются безоблачно у людей, способных в любой ситуации отстоять свои взгляды и убеждения. Юрий Левада был из особой породы людей – тех редких представителей духовной элиты, которых нельзя ни купить, ни согнуть, ни сломать. Он ушел, но остался созданный им Аналитический центр, где лучшие российские социальные аналитики многие годы вели летопись общественных перемен, где была создана фундаментальная социологическая школа, которую в рецензии, подготовленной три года тому назад для украинского журнала «Критика», я назвал «школой ВЦИОМа». Того ВЦИОМа сегодня нет. Есть Аналитический центр Юрия Левады и есть социологическая школа Юрия

Левады, есть журнал «Вестник общественного мнения», многочисленные статьи, раскрывающие основные тенденции и закономерности общественных изменений в России, наконец, есть книги, опубликованные Ю. Левадой, Л. Гудковым, Б. Дубиным.

Каждый из них изучает своего героя. Для Ю. Левады – это «человек постсоветский», отличающийся от советского представителя гоминид способностью к «социальному прямохождению», однако сохранивший и в чем-то приумноживший лукавство и двоемыслие своего предшественника. Для Б. Дубина более интересен «человек мыслящий, а следовательно, существующий» во всей полноте его социально-культурных проявлений. Л. Гудков в последние годы сосредоточил внимание на механизмах обретения россиянами новых социальных идентичностей. Но тем-то и отличается научная школа от группы ученых, собравшихся в одном учреждении для подготовки научных трудов, что, при всем разнообразии интересов, представители Школы в поисках истины исходят из общего понимания основополагающих принципов научного познания социальной действительности, что позволяет им всем вместе достигать большего, чем мог бы добиться каждый в отдельности. Пожалуй, никто в России, да и во всем постсоветском пространстве столь основательно и разносторонне не рассмотрел процессы социально-культурных изменений последнего десятилетия. Никто не обобщил столь грандиозный эмпирический материал, полученный в массовых опросах, никто так дотошно не анализировал нюансы общественной жизни и личностных трансформаций в постсоветском мире. Шесть книг, рожденных в Аналитическом центре Юрия Левады, которые я бы посоветовал прочитать каждому, кто склонен понимать Россию умом, – это своеобразная летопись новейшей истории российского общества. В этой летописи находят место и личные пристрастия летописцев, но главное в ней – это обобщенный опыт многолетних социологических исследований, без которого рассу-ж-

дения об обществе были, есть и будут «игрой в бисер» – всегда занимательной, нередко креативной, но никогда не перемищающейся из бесконечного пространства возможного в закрытую для непосвященных область необходимого.

Было бы дерзостью в одной статье поведать обо всем, что написано в работах Ю. Левады и его единомышленников. Слишком богат материал для размышлений. Но есть одна тема, которая, как мне кажется, не может не задеть за живое каждого, кому не безразличны тенденции социокультурных трансформаций в постсоветской России. Речь идет о глубоком кризисе культуры и культурной элиты. Как подчеркивает Ю. Левада, этот кризис следует понимать как перелом, переход к иной фазе, иной структуре процесса, в отличие от «популярно-газетного словоупотребления, где кризис отождествляется с катастрофой, гибелью». Как ученые-социологи Ю. Левада, Л. Гудков и Б. Дубин избегают эмоциональных и нравственно-оценочных суждений, когда описывают черты этого кризиса. Они просто констатируют, что процесс десакрализации рафинированной культуры, обусловленный общемировым процессом модернизации и повсеместным распространением ценностей массовой культуры, в постсоветской России приобрел ряд специфических проявлений, связанных с разрушением традиционной книжной культуры и утратой привычных духовных ориентиров культурной элиты. Все больше потребляется продуктов масскульта и все меньше – классики. Зрелищность заменяет вдумчивость, эстетические образцы черпаются преимущественно из телевизионных шоу, процесс потребления духовного продукта все меньше напоминает богослужение, а служители «высокого искусства» мечутся в растерянности, не зная, как совместить старый интеллектуальный багаж с новыми эстетическими запросами: «С утратой монопольного положения интеллигенции в сфере оценок и трактовок культуры ее вкусы потеряли свой эталонный характер – символическую высоту, социальную притягательность». Общий диагноз: крах культурного

воспроизводства, сопровождающийся кризисом основных социокультурных институтов – книгоиздательской отрасли, системы библиотек, литературно-художественной периодики, творческих сообществ.

Что же следует из этой картины, во многом напоминающей «Гибель Помпеи», когда под пеплом массовой культуры и постсоветского экономического кризиса оказалось все, чем по праву гордилась самая читающая страна в мире? Конечно, уцелевшему в нынешней культурной революции «яйцеголовому» больно смотреть на сцену, где торжествующие Сорокин и Маринина приветствуют рукоплещущую публику над поверженными телами Толстого и Достоевского. Безумно жаль и отошавшие «толстые журналы», и постепенно растворяющихся в масскультовом котле почитателей классического духовного наследия. Возникает даже ностальгия по старой недоброй цензуре. Без нее творческий зуд кумиров сегодняшней массовой и неэлитарной культуры все чаще порождает художественные образы, перед которыми меркнет все, что можно увидеть в обезьянниках.

Но как бы ни был лукав и ограничен в своих духовных проявлениях «человек постсоветский», как бы ни огорчали интеллектуала его культурные образцы и кумиры, нельзя не согласиться с тем, что такова реальная цена за политическую, экономическую и духовную свободу. Как подчеркивает Ю. Левада, «десакрализация культуры, начатая в просветительскую эпоху, доводится до своего логического завершения... Ценности массовой культуры – любого свойства – от этических до когнитивных – по природе своей не могут быть навязаны потребителю так же авторитарно, как это происходило с ценностями предшествующих, авторитарных и авторитетных культур. Подобно продуктам иных массовых производств, они навязываются через системы «необязательного» понуждения типа рекламы и пропаганды, подкрепляемых массовым вкусом. С этим связаны, в частности, широкие и как будто расширяющиеся рамки терпимости к различ-

ным вкусам и взглядам».

Как ни странно, но именно терпимости всегда не хватало российской культурной элите, той самой благородной и жертвенной русской интеллигенции, образ которой ассоциировался с душевной мягкостью, просветленностью, житейской беспомощностью и добрым чеховским взглядом сквозь поблескивающие стекла пенсне. Но главному принципу социальной толерантности – терпеть меньшее зло, дабы не накликать большего – она не могла быть научена. Не было этого в лучших книгах, которые были с жадностью прочитаны в детстве и перечитаны в зрелом возрасте. В худших книгах об этом тоже ничего не пишется. Но суть современной толерантности как раз и заключается в том, чтобы собственную претензию на духовную исключительность ни один слой общества не мог навязать другим. Уходящий в прошлое эксклюзивный творец и потребитель рафинированной культуры обязан отдать должное авторам книг о кризисе современной российской культуры за их способность увидеть, описать и объяснить причины ухода с социальной сцены той интеллигенции, которая была исключительным явлением в российском обществе и мировой культуре. В современном мире основной ценностью становится плюрализм, когда каждый имеет право высказать собственную глупость, но не может претендовать на ее исключительность.

Это не значит, конечно, что в обозримой перспективе на постсоветских просторах окончательно уйдут в небытие «рыцари духа», способные оседлать Росинанта, дабы посвятить себя служению благородной цели покорения духовных и интеллектуальных вершин. И в мире глобальной деинтеллектуализации, где самыми читаемыми и почитаемыми авторами являются сочинители детских волшебных сказок с немудреной бытовой философией добра и справедливости, останутся поклонники Достоевского, Уайльда и Кафки, однако социальная роль их никогда уже не будет столь неадекватно высока, как это было в старорежимном прошлом. Что поде-

лать, такова цена за сближение с цивилизованным миром. И если там на вершинах интеллектуальных рейтингов – Куэльо, Зюскинд и Ульбек, то и здесь от них уже никуда не деться, поскольку попытка жить своим умом явно не удалась, и ничего не остается, как жить тем, что принято считать умом в наиболее материально развитой части мира.

По-человечески жаль, конечно, что эпоха запойного чтения советской интеллигенции уходит безвозвратно. Но нельзя не признать, что запой, каким бы он ни был, – алкогольным, идеологическим или интеллектуальным, – это болезненное состояние тела и души, выход из которого возможен только с кончиной или выздоровлением больного. Собственно, именно этот процесс – затянувшегося социального выздоровления постсоветского общества, – находится в центре внимания Ю. Левады и его коллег. Эмпирической основой их исследований является многолетний социологический мониторинг.

Уже в первые годы проведения мониторинговых исследований, когда российская демократическая общественность была охвачена перестроечным энтузиазмом, им удалось обнаружить главную, быть может, угрозу для демократической перспективы постсоветского общества. Речь идет о психологии базисного типа личности, которая, по данным проведенных исследований, была столь же несовместна с демократическими и правовыми устоями социальной жизни, как гений и злодейство. Об этом они написали свою коллективную монографию – «Советский простой человек», которая была опубликована в 1993 году и во многом оказалась пророческой. Как отмечал один из рецензентов этого труда – социолог Александр Согомонов, «вдумчивое знакомство с рецензируемой книгой, как кажется, несколько поубавило бы романтизма в обновленческих настроениях «младороссийской» интеллигенции» (Социологический журнал. – 1994. – № 1. – С. 185).

Энтузиазм поубавился очень скоро – вместе со всплеском

шовинистических настроений среди политиканов, приведших Россию к чеченской трагедии. Для многих людей, в том числе и достаточно искушенных в вопросах общественных трансформаций, эти события оказались непредвиденными и шокирующими. Но только не для авторов упомянутых книг. В их концепции «вынужденной демократии» (суть концепции заключается в том, что демократизация зашла значительно далее того, чего хотели возглавившие ее лидеры и приветствовавшие ее поначалу массы) нет места чуду сказочного обновления общества. Логика рассуждений и выводов ученого, исследователя, аналитика принципиально отличается от прихотливой мысли социального фантазера. Для последнего нет разницы между древним мифом и сегодняшними социальными реалиями: и если уж из морской пены родилась прекраснейшая Афродита, а из головы Зевса – мудрейшая Афина, то почему бы из перестроечной пены не выйти правовому государству, а из головы бывшего секретаря обкома – уважению к человеческой жизни и достоинству. Для истинного ученого (а таких – единицы, ибо наука – это удел избранных, посвященных, а не обладателей кандидатских и докторских дипломов, каковыми ныне обзавелись легионы высокопоставленных невежд) рождение нового общества – сложнейший, противоречивый и во многом все еще непредвидимый процесс изменения взаимосвязанных социальных структур, институтов, механизмов самоорганизации и управления.

Этот процесс не познан в той мере, чтобы сделать возможными безошибочные социальные прогнозы и беспроигрышные политические решения. Однако в работах лучших социологов уже сегодня заложено многое, без чего завтрашнее общество не сможет обойтись, если у него действительно есть демократическая перспектива. Юрий Левада и его единомышленники вовсе не отрицают такую перспективу для России, более того, в последних своих публикациях они склонны отмечать постепенное изменение системы массовых

ориентаций в направлении, совпадающим с общецивилизационным процессом. Однако в современной стабилизации российского общества они видят и новую угрозу для хрупкой демократической мечты, обнаруживая социальный механизм всенародного выбора новой надежды нации – «агрессивную мобилизацию общества», которая приходит на смену авторитарному своеволию недавнего прошлого. За всем этим – особый способ социальной интеграции – негативная идентичность, проявляющаяся в многообразных формах «негативного самоутверждения» в современном мире. Возможно, именно этот негативизм по отношению не только к другим, к «чужим», проявляющийся в массовой ксенофобии, но и по отношению к себе, к своим собственным возможностям жить лучше, чем в прошлом, является главным тормозом социокультурных трансформаций российского, украинского и других «постсоветских» обществ в соответствии с декларируемыми целями (политическая демократия, правовое государство, свободная экономика, массовое благосостояние). Заключительный диагноз Юрия Левады не оставляет места для иллюзий: «На всех уровнях, от массового до официального – и не без солидных интеллигентских усилий – с различных сторон и с новой энергией реанимируются лозунги вредности западного влияния, недопустимости чужого вмешательства во внутренние расправы и т.д. и т.п. Как и ранее, попытки нового отгораживания от внешнего мира, нового изоляционизма служат средством самоутверждения (на «своем» уровне) и самооправдания («не получилось»).

Разумеется, можно было бы упрекнуть социологическую школу Юрия Левады в принципиальном нежелании самостоятельно прописывать сильнодействующие средства излечения общества «вынужденной демократии» от тех его социально-политических недугов, которые не позволяют сделать решающий шаг к такому общественному устройству, в котором стабилизация не означала бы мобилизацию, власть не олицетворяла беззаконие, а толерантность не воспринима-

лась как национальное унижение. Впрочем, социальные рецепты выписываются, как правило, представителями тех школ обществоведения, которые склонны к экзальтации, независимо от теоретических откровений, вызывающих это болезненное для мыслящего человека состояние. Что же касается социологической школы Юрия Левады, то отличительной ее чертой является научная беспристрастность и способность к той необходимой для истинных ученых мере отстранения от действительности, которая не позволяет им перешагнуть черту, отделяющую реальный мир от мира безответственных социальных утопий.

«Социология: теория, методы, маркетинг». 2006. 4

НЕЗАМЕНИМЫЕ – ЕСТЬ!

Невозможно переоценить роль упряма Левады в поддержании высокой планки при изучении общественного мнения.

Его, высокого профессионала, гоняли в СССР, а потом с подозрением косились на него и в новой России. «Диссидент...» На самом деле при изучении общественных настроений Левада стремился только к одному – к правде. А она оказывается очень неприятной для тех, кто стоит в государстве на капитанском мостике.

Неприятие лжи делало удивительно твердым в принципиальных вопросах этого доброго, деликатного человека, интеллектуала с широкими взглядами и отзывчивым сердцем. Еще в 1969-м власть обрушила на него первый мощный удар: тогда молодого, талантливого доктора философии после суровой проработки уволили из МГУ, где он читал лекции по социологии. Уволили «за серьезные идеологические ошибки». Но Левада не сдался. Созданный им ранее семинар продолжал регулярно собираться – полулегально.

Когда на волне перестройки был создан ВЦИОМ, Юрий Александрович стал в нем сначала руководителем отдела, потом директором. Казалось бы, наконец-то пришло его время. Однако через десять лет «неуправляемый» ученый опять стал мешать власти.

Да и как могли чиновники «верхних этажей» терпеть, например, такие его публично высказанные выводы: «Представление о том, что от «первого лица» скрывают «правду», освобождает верховного правителя (в нынешних условиях, очевидно, президента) от ответственности за неудачи управления и в то же время сохраняет за ним в общественном мнении роль благодетеля. (По опросам, президенту ставят в заслугу повышение зарплат и пенсий, а правительство считают

виновным в росте цен). Тем самым поддерживается традиционно фольклорная картина власти». Один из новых аппаратчиков возмущенно говорил мне: «Что позволяет себе этот Левада?»»

Три года назад всемирно известного социолога решили попросту уволить из ВЦИОМа. Леваде высокопоставленный чиновник сказал прямо, без всякой маскировки: «Во ВЦИОМ придет другая команда, и пост руководителя займет другой человек». «Труд» тогда выступил в защиту опального ученого. Вот цитата из той публикации: «Социологи Левады никогда не ретушировали полученную картину, не обслуживали групповые амбиции и интересы, а кого-то, видимо, больше устраивает кривое, угодливое зеркало». Но увольнение состоялось.

Гонители, надо полагать, были уверены, что после беспардонного, унижительного выдворения из ВЦИОМа 73-летний Левада не станет бодаться с властью и тихо уйдет на пенсию. Но ошиблись. Он бесстрашно, бросая вызов, организовал собственную социологическую службу – Левада-центр. Сюда перешли из прежнего ВЦИОМа абсолютно все работавшие с Юрием Александровичем сотрудники. Согласитесь, редкий акт коллективной солидарности.

Гонения на независимого ученого еще больше укрепили авторитет нового Левада-центра как в нашей стране, так и за границей. Он продолжал работать так же эффективно, как и раньше, не давая «расслабиться» другим социологическим службам. Тем более хитростей в этой профессии много. Не обязательно «химичить», подгонять результаты опросов. Многое, скажем, зависит от того, как поставить вопрос, как интерпретировать ответы... Как-то Левада, обычно не комментировавший работу своих коллег, все-таки признал: «Власти стали искать способы, как укрепить собственную популярность, в том числе используя данные опросов. И под таким пристальным вниманием кто-то старается дать адекватный ответ на запрос, а от кого-то это просто требуют...».

Но заниматься «заказухой» трудно, когда рядом есть общероссийская независимая служба с безупречной репутацией и мировым именем. Понятно, большие расхождения в данных, полученных сотрудниками Левады, и в каком-либо другом центре можно объяснить один раз случайностью, ошибкой. Но если это будет повторяться, то поставщик «нужных» материалов рискует бесповоротно подмочить репутацию. Именно поэтому социологи-лоббисты стали действовать крайне осторожно. Сегодня расхождения в данных, полученных разными службами, составляют 2-3 процента, что соответствует мировым стандартам.

Но что будет завтра? Давление власти может быть не явным, но весьма ощутимым. Не сомневаюсь, что Левада-центр продолжит работу и без своего выдающегося руководителя. Однако чиновники, думаю, смогут при желании закрыть центр, используя любой формальный повод. Без такого мощного щита, каким был Юрий Левада, сделать это будет не сложно. И тогда в российской социологии уже не станет эталона, на который можно равняться (пусть не обижаются другие честно работающие и хорошо зарекомендовавшие себя социологические центры). Это имело бы очень печальные последствия и для страны, и для самой власти...

Смерть Юрия Левады опровергает широко распространенное мнение, что незаменимых людей нет. Такие незаменимые люди были, есть и будут. Одним из них был Юрий Левада.

Газета «Труд». 21.XI.2006

О Ю.А. ЛЕВАДЕ
Интервью Л. Борусяк

Любовь Борусяк: Мы в «Левада-Центре» у Бориса Владимировича Дубина – известного социолога, переводчика, гуманитария в широком смысле слова и руководителя отдела социально-политических исследований «Левада-Центра». Боря, мы тебя просим рассказать о Юрии Александровиче Леваде. Рассказать то, что тебе кажется самым важным.

Борис Дубин: Понятно, что в короткий разговор этого не вместишь. Все-таки я работал с Левадой и другими его коллегами по меньшей мере с 1988-го года: сначала во Всесоюзном, а потом во Всероссийском центре изучения общественного мнения, потом был «Левада-Центр» вплоть до смерти Юрия Александровича. Это получается почти двадцать лет. И до этого еще десять лет – года, примерно, с 78-го, когда я вошел в его орбиту. Как это расскажешь за несколько слов? Тем более, когда ты каждый день с человеком работаешь и видишь его с утра до вечера. И разговоры, и просто совместная жизнь – это как-то плохо соизмеримо с линейным пространством рассказа. Тут нужна какая-то другая оптика, другой формат, другой жанр... Не знаю, как это придумать.

Но если совсем коротко. Левада, насколько я знаю из воспоминаний о нем, никому не был учителем. В том смысле, в каком говорят: «я ученик такого-то» или «у меня был учитель такой-то». Тем не менее, многие мои коллеги, мною уважаемые и любимые, и я среди них, мы все считаем, что Левада был нашим покровителем, был учителем. Начальником? Ну, да – числился формально, но никогда в этом качестве его, по-моему, не воспринимали. Для нас он был несомненным авторитетом: и научным, и моральным, и практическим.

У него был потрясающий в этом смысле дар. Это было

даже больше, чем здравый смысл, это была практическая мудрость, житейская. К нему ходили люди советоваться, и это было неслучайно. Дело даже не в том, что он умел слушать, выслушивать. К нему люди ходили советоваться не просто потому, что он замечательно слушал и умел много чего услышать не только в словах, но и между словами. Он действительно мог – и всегда это делал – очень дельно посоветовать. Причем, в самых разных ситуациях: от мелких житейских до каких-то принципиальных. Я знаю это по другим, я знаю это по себе, и это было чрезвычайно важно. Ну, это, в конце концов, какие-то наши дела, что он лично для нас значил, чем он нам помог, что он лично для нас сделал. В конце концов, это у каждого с собой, это каждый и унесет с собой.

А в более общем смысле для меня он был потрясающим образцом человека несоветского. Я думаю, что если покопаться, в каждом из нас сидят следы советского человека. Думаю, что он, конечно, и сам это признавал. Не просто в отдельных убеждениях или значимости отдельных символов, а в некоторой конструкции личности. Тем не менее, в его публичном поведении, в том, что он делал, когда писал, выступал, работал вместе с другими и так далее, это была противоположность советскому человеку, как он и мы все вместе его описывали. По-моему, я уже где-то писал об этом, да и не только я об этом говорил.

Он был человек деятельный, он был совершенно не пассивный, он был человек ответственный за все, что он делал. Он был человеком, который не просто работает с другими, а доверяет другим, и в этом смысле вызывает у них – не знаю, как здесь обойтись без повторения, – ответную ответственность. То есть, когда ты чувствуешь такое доверие, ты начинаешь реально отвечать за то, что ты делаешь, и что ты обязан сделать. Он был человек самостоятельный в мыслях, поступках, во всем своем жизненном рисунке. Это было сразу видно, для этого достаточно было видеть его короткое время. Ты просто видел, что это – недюжинный человек. Со своим

жизненным путем и своим рисунком поведения, своими реакциями, своей мимикой, своими какими-то очень милыми привычками и так далее.

Он был человек общественный. Он всегда очень близко принимал к сердцу и к уму все, что происходило в российском и в общемировом сообществе. Вмешивался всегда в это, хотя не был политиком. Он писал несколько раз, что он политической деятельностью никогда не занимался.

Л.Б.: А вмешивался он каким образом? Своими публикациями, выступлениями?

Б.Д.: Как человек гражданский. Если надо было подписать какое-то письмо, он его подписывал. Я не знаю, или знаю только косвенно о его реакциях в подписантские, советские времена, но уже в постсоветской ситуации он всегда вмешивался в события такого рода. Он выступал, ехал, помогал, что-то говорил, участвовал в демонстрациях, участвовал в митингах, входил во всякие советы, включая президентский совет при Ельцине, причем, на протяжении нескольких лет. Но я даже не только этот смысл имею в виду, а социологический гораздо более важный и фундаментальный. Ему было интересно и важно работать с людьми. Вообще говоря, для советского человека это совершенно не характерно. Советский человек – атомарный человек, недоверчивый человек, но об этом тоже и мои коллеги, и я не раз писали. В этом смысле важна всегдашняя охота Левады что-то заварить, что-то организовать, соединить самых разных людей и с огромным интересом и неустанностью, несмотря на физическую усталость, поддерживать эти отношения и работу вот этого сообщества.

Лучший пример здесь, конечно, ВЦИОМ, а теперь «Левада-Центр». Сделать такую штуку, держать ее на плаву так, что каждый из тогдашних девяноста человек, а сегодня шестидесяти пяти, имеет, что сказать о своих отношениях с Левадой, имеет, что сказать о своем месте вот в этом целом, очень дорожит своим местом в этом целом и вообще этим

целым. Ну, конечно, в разной степени и по-разному. Есть более молодые сотрудники, есть более старые, есть более углубленные в жизнь «Левада-Центра», есть менее. Но интересно, что в этом смысле у каждого здесь есть свое место, каждый этим местом дорожит и каждый имеет свое личное отношение к Леваде. Абсолютно все! – От уборщицы до заместителя директора. Вот такая вещь.

На мой взгляд, это говорит не просто о том, что Левада – хороший человек. Это, несомненно, так, примем это сразу. Но дело не просто в этом. Дело в том, что со всех сторон от него идут какие-то связи, соединяющие его с десятками, наверное, даже с сотнями различных людей. Я никогда не заглядывал в его записную книжку, но могу себе представить, сколько там было разнообразных людей, сколько было там понатыкано карточек. Он всех знал, всех помнил, разговаривал с ними по телефону, обменивался электронными письмами, встречался и так далее, и так далее. В каком-то смысле он сам был обществом, потому что он постоянно поддерживал это общество, так или иначе выстраивавшееся вокруг него. А там кого только не было. От почти что президента – я имею в виду персональные связи с Ельциным, Горбачевым, со вторыми, третьими людьми государства – до огромного количества людей, с которыми ты каждый день работаешь, общишься разными словами, ужимками, жестами и так далее. поддерживая такой огромной плотности общественную жизнь, он сохранял при этом полную работоспособность буквально до последних дней. Это, опять-таки, очень сильно его отличает от типового советского человека.

Типовой советский человек работы бежит. Конечно, он может, как Иван Денисович у Солженицына, разгореться и показать, как можно работать. Но это когда он разгорится. А как правило, он работы бежит. Вот Леваду без работы невозможно было представить. Было ощущение, что он работал просто всегда. Шел ли он по улице, ехал ли он на метро, сидел ли он за компьютером, разговаривал ли на какой-то на-

шей частной встрече по поводу Старого Нового года или чьего-то дня рождения, это шел непрерывный процесс работы. И люди, те, кто это понимают и кто сам в какой-то мере так ориентированы, они это необыкновенно ценили. В этом смысле он сразу, как магнит, выстраивал вокруг себя вот это поле, где опилочки располагались в некотором рисунке. Проще говоря, он обладал и человеческой, и творческой, и моральной, и сердечной притягательностью. Он был в точном смысле слова, как магнит.

Получается, что я описываю какого-то такого сверхчеловека, абсолютно идеального, не имеющего никаких...

Л.Б.: ...человеческих слабостей.

Б.Д.: Да, человеческих слабостей, тягот, забот.

Л.Б.: А это не так?

Б.Д.: Я думаю, что это не так. И будет неправильно, если мы или кто-то, кто будет нас, вспоминающих, слушать или читать, подумает, что у Левады не было минут тоски и уныния. Не было ощущения провала, сознания своей слабости, несомненного осознания слабости людей, которые его окружали и даже были близки к нему. Думаю, что как раз человек такого масштаба, – во всяком случае, я себе это так представляю – не мог не быть одиноким и не мог временами чрезвычайно остро это не чувствовать. Наверное, те, кто были к нему еще ближе, чем я, видели такие минуты. Я видел это иногда, когда забредал в его кабинет, и он не сидел за компьютером, не работал. Такие нападали на него минуты. Ну, и со временем, когда он уже болел в последние месяцы сильно, уже открыто болел, мне иногда случалось это видеть. Можно было догадаться, каково ему на самом деле. Не только в борьбе с болезнью, но опять-таки, как у человека такого масштаба, в борьбе с жизнью, с ее косной материей, с косной материей человеческих отношений, косной материей собственного тела. В борьбе с ограниченностью собственной мысли и ограниченностью собственной жизни по сравнению с теми задачами, на которые он был нацелен, и в решении ко-

торых хотел докопаться до основания.

Опять-таки, будет неправильно, если те, кто нас будут читать или слушать, не поймут или не услышат в наших словах, что Левада был человек чрезвычайно страстный. Чрезвычайно. Просто в пристрастии к жизни, к ее разнообразию, к ее возможностям самым разным. Но страстный и в том смысле, что он был пристрастен. Страстный в том смысле, что не мог иначе относиться к людям, не мог работать с людьми, которые не страстны. Он чрезвычайно ценил страсть в других, и, кстати, говорил это не раз. И в общей форме и по отношению к другим людям.

Позволю себе мелкое личное воспоминание. Когда я только вошел в круг людей Левады, тогда начал действовать семинар. Он был в Мароновском переулке в Москве. Я тогда возился немножко с русской лубочной картинкой. Не с самой картинкой, меня интересовало, почему вдруг появляется такая картинка. Ну, жили люди без картинок и ничего, были же иконы. Почему вдруг появляются картинки? Что обозначает изображение, когда оно появляется в жизни? Где его место, каков его смысл? Какие это изображения? А лубочная картинка тогда, если не считать икон, была самой распространенной, другой такой распространенной не было. Значит, я стал в этом копаться, коллеги об этом дознались, Левада дознался и предложил мне сделать сообщение. Я наташил туда книжек, благо можно было тогда выписывать книги в абонементе Ленинской и других библиотек, наташил разных альбомов, а всякий человек, который на что-то такое напал, его остановить невозможно. Он будет говорить часами и не замечать, что окружающие уже отпадают от всего этого.

Л.Б.: Или заслушались так, что не замечают, сколько прошло времени.

Б.Д.: Ну, не знаю. Левада, который всегда в конце семинара подводил итог, сказал, что можно об этом спорить, о том спорить, можно это более глубоко изучать, на это обратить внимание, но несомненно то, что человек со страстью

работал. И я потом это не один раз слышал в адрес других людей, которые выступали на семинарах или где-нибудь в присутствии Левады.

Л.Б.: И ты понял, что это большой комплимент?

Б.Д.: Ну, как сказать? Я это услышал и оценил, а потом, со временем, когда я услышал это и в других контекстах, и по отношению к другим людям, я понял, что для Левады это была чрезвычайно важная вещь – видеть вот эту страсть. Он сам не раз говорил и писал – кстати, следы остались, – что я без страсти работать не могу, мне без интереса неинтересно. Я с этим человеком не могу: он совершенно как рыба.

Понимаешь, ну, что мы можем сделать, те, кто пытается что-то вспоминать? Мы можем набрать конгломерат каких-то признаков, но мы не можем слепить живого человека, чтобы его вернуть. Я думаю, единственное, что мы, воспоминатели волей-неволей, можем сделать – независимо от того, умеем мы это или нет, – мы можем все-таки попробовать через этот набор черт дать представление о масштабе человека. О его чрезвычайной внутренней напряженности, неизбежной противоречивости, неизбежном драматизме внутреннего существования. Я даже не говорю о внешних препонах, которые были в его личной жизни, общественной жизни, профессиональной жизни. Об этом уже много написано и много чего известно. Нет, я говорю о собственном внутреннем драматизме, который человек несет с собой, который составляет его основу, его характер. Я говорю о самом излучении, которое от него исходит.

Левада внашал успокоение людям своей манерой, своим разговором, своей готовностью дать очень разумный всегда совет. Но не надо обманываться этим. Не надо представлять его елейным человеком – это будет абсолютно неправильно. Он был человеком очень драматичным внутренне, и я думаю, что это не могло быть иначе. Потому что такая глубина вдумывания в происходящее – неважно, помечено оно как прошлое, нынешнее или будущее – такая глубина вдумывания в

человека, в социальную жизнь, в историю, в речь, слово и так далее, я думаю, что глубина и напряженность этого не была бы возможно без страстности и внутреннего драматизма. Это вещи, связанные между собой.

Вот поэтому хотелось бы, чтобы люди, не знавшие Левады, почувствовали в его образе масштаб и драматизм. И, может быть, в полном смысле слова одиночество, со всеми его горькими – и не горькими чертами. Одиночество его в этом обществе. Места такому человеку в этом обществе не было. Совершенно не случайно, что советская система все время выкидывала его. Хотя, казалось бы, член партии, молодой профессор, доктор наук, чрезвычайно успешный, со своим прекрасным, блестящим коллективом. Казалось бы, ну что лучше может быть? Оказывается, что система очень хорошо понимает, кто ей годится, а кто нет, и рано или поздно реагирует на это. В случае Левады и близких ему людей она среагировала совершенно безошибочно. Это, конечно, было социально сконструированное одиночество: его загоняли в это одиночество. Не сумели загнать – он оставался человеком деятельным и общественным.

Но я сейчас говорю даже не об этом социально сконструированном одиночестве, а именно об одиночестве крупного, очень глубокого и совершенно самостоятельного человека. Я не очень согласен со старой мыслью о том, что «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Думаю, что это как раз не обязательно. А вот, «кто жил и мыслил», тот не может не быть одиноким, не может не чувствовать драматику познания ответственного существования человеческого. Ответственность перед самим собой, перед мыслью, перед теми, кого ты считаешь значительными. Мне хотелось бы, чтобы в образе Левады люди уловили вот эти черты. Только не приукрашенные, не сглаженные и не елейные.

Л.Б.: Боря, я не могу не спросить тебя вот о чем. Твоими переводами, твоей гуманитаристикой он интересовался? Ты

ему показывал что-нибудь? Он как-то на это отзывался? И вообще, какие у него были предпочтения в литературе, искусстве?

Б.Д.: Понимаешь, тут ведь вот такая вещь. Складывалось ощущение, что Левада интересовался всем и каким-то образом это все знал. Откуда? – Ну, если учесть круг его общения, интенсивность общения... Он созванивался за день с пятьюдесятью людьми, а может быть, даже и больше. Причем, многие из них были близкими – это были не просто деловые звонки. А разговоры были совершенно не случайными, а, как правило, деловыми, содержательными. Ему, конечно, был важен и свой звонок, и внимание этого человека, и его собственный интерес к этому человеку, конечно. Но, как правило, всегда был разговор о деле, даже на наших тусовках, на Новых годах и так далее. Разговор Левады всегда был о деле, другие разговоры были ему просто скучны. Он и в самом деле начинал скучать. А вот если его начинали хвалить или что-нибудь такое, он вообще этого терпеть не мог. Вянул на глазах, это было просто физически видно. Особенно журналисты имеют такую манеру – сначала очень сильно облизать человека, чтобы потом допроситься от него чего-то.

Л.Б.: Но вообще-то обычно это хорошо работает. Надо запомнить.

Б.Д.: Для Левады хуже ничего не было. Просто надо было сразу брать быка за рога и переходить к делу – это была единственная возможность его заинтересовать.

Так вот. С одной стороны, складывалось ощущение, что он все это знал. Он мог, например, утром, когда мы приходили на работу, сказать: «А вот, сударь мой, мне донесли, что у вас книжка вышла». Откуда он это знал? – Неизвестно. Но знал.

Л.Б.: А ты сам не показывал?

Б.Д.: Показывал иногда. Но я в эту сторону не очень хотел тянуть, потому что литература – литературой, а тутошные дела – тутошними делами. Но в сфере его внимания это вхо-

дило. И когда я начинал отнекиваться, мол, Юрий Александрович, это – литературная книжка, чего я вам буду голову морочить, он говорил: «Так давайте». Он сразу раскрывал книгу и тут же начинал ее листать. Да, интерес был. Он видел какие-то книжки из моих переводных, слышал о них, интересовался ими, всегда был готов поддержать об этом разговор. Он при этом ведь не навязывался никогда в разговоре. В том смысле, что он на тебя не давил. Я не имею в виду служебные только разговоры, хотя и в служебных разговорах он, как правило, не давил. Он что-то давал понять. Если ты мог это понять, принимал это в расчет, тогда да. Если нет, тогда у вас начинают другие отношения складываться. И такие случаи были с разными людьми.

Л.Б.: Ну, а сам он что особенно любил?

Б.Д.: Значит, насчет чтения и всего прочего. Он очень часто говорил, ссылаясь на Конта, что после сорока надо уже блюсти умственную гигиену. Не надо слишком много читать. Это он мне намекал на то, что я и то читаю, и это читаю... Это вообще-то не только моя индивидуальная привычка, мне кажется, что мы в 60-70-е годы всегда читали все. Просто этого всего было настолько немного, что мы читали все.

Л.Б.: Я думаю, что вас было немного, кто читал это все.

Б.Д.: От книжек по Древнему Египту до переводных книжек по американской социологии. В принципе, был ли ты филолог, был ли ты историк, весь этот круг гуманитарной и социально-гуманитарной литературы, если она была живая, интересная, не официальная, читали все. Ну, хоть понюхать, хоть полистать книжку, даже если ты не социолог, а совсем наоборот. Или напротив, ты – социолог, но при этом листаешь Аверинцева или Бахтина.

Да, насчет его собственных пристрастий. У него были друзья-литераторы, и очень значимые для него люди. Это был Наум Коржавин, это был Давид Самойлов. Это были люди, которых он просто очень любил и ценил. В свое время он дружил с Евгением Винокуровым, которого сейчас, может

быть, и не очень помнят, а для 60-х годов это было одно из очень значимых поэтических имен. Я говорю о поэтах, которые печатались, я не беру сейчас андеграунд. Левада относился к числу читателей, которым мало кто указывал, что прочитать, он каким-то образом находил это сам. И напротив, он был указателем для других. Я знаю, что он подсовывал Солженицына, что он подсовывал Гроссмана. Сейчас, может быть, не очень вспомнят этого писателя, но был замечательный писатель – Чингиз Гусейнов. Я думаю, что Левада очень ценил – и, кстати, он об этом писал – литературу, которая равнодушна к своему времени, равнодушна к человеку, который сегодня в этом времени живет. В этом смысле он очень не любил снобизма по отношению к таким фигурам, скажем, как Евтушенко.

Казалось бы, ну кто не пинает Евтушенко за то, что он так ужасно себя любит и всюду себя сует, а на самом деле он поэт не такой крупный, как он хочет себя представить. Вот Левада эти вещи отводил на раз. Говорил, что здесь есть явление, оно чрезвычайно важно. В нем надо разобраться. Он изначально исходил из интереса к тому, что происходит. Если он чувствовал в литераторе и в книге реальный интерес к тому, что происходит, такие книги он чрезвычайно ценил. Он чрезвычайно ценил Трифонова. Он очень рано его оценил, осознал, полюбил, всячески продвигал, куда мог. Я имею в виду – в разные читательские круги.

Л.Б.: Ну, Трифонова и так все читали.

Б.Д.: Но тут важно было рано это понять. Когда стали читать все – это как бы другая история. Левада был именно из тех, кто делал то, в результате чего все начинали читать, слушать и так далее.

Насколько я себе представляю, он литературой формального поиска, очень заостренной на поисках формы, не очень интересовался. А манеру щеголять формой не терпел. Вот этого он не любил совсем. И каким-то образом, очень тонко и безошибочно, надо сказать, находил в такого рода писате-

лях, кинорежиссерах, артистах вторичность. А это почти неизбежно. Желание пощеголять, демонстративность такая, она, как правило, связана не только с какой-то ущербностью творческой и личной, она, как правило, связана с сознанием своей вторичности. Для меня, если брать классический случай, то это, безусловно, Северянин. Сугубо третичный поэт, очень небольшой, кстати сказать, и довольно неинтересный. Но вот готовность щеголять огромная, ну, и успех... Чем там дело кончилось – это другой разговор.

Л.Б.: Ну, дело кончалось всегда не очень хорошо.

Б.Д.: Ну, может быть, не все обстоит так трагично. Но не весело.

Вот эти вещи Левада не терпел. Блок в свое время говорил про какие-то книжки, которые ничего ему не давали: «Это не питательно». Я думаю, что для Левады было важно, чтобы это было питательно. Если это было не питательно, то ему было совершенно не интересно, что это все читают, или об этом все говорят. Вот это его совершенно не задевало, не интересовало, и на это он никогда не ориентировался. Он ориентировался на собственную оценку, прежде всего, ну, и на оценку совсем немногих людей, которые в этом смысле были для него авторитетами.

Л.Б.: А ты входил в их число, конечно?

Б.Д.: Ну, если это касалось каких-нибудь вещей, в которых я чего-то понимаю. Это могла быть сфера, о которой он не слишком хорошо знал. Здесь да, он мог попросить совета. Но в целом он ориентировался на собственное понимание, на свою интуицию, которая его чудесным образом вела, в том числе, через разнообразные интересности и соблазны этого мира, к которым он был совершенно не равнодушен, надо сказать. Кем он не был никогда, так это равнодушным человеком. По отношению к идеям, по отношению к красоте, по отношению к книжке, по отношению к фильму, по отношению к какому-то общественному событию, по отношению к человеку, который действительно решился сделать какое-то

дело и готов нести ответственность за то, что он делает. Левада – абсолютно равнодушный человек, но при этом – не гладкий, не елейный, не такой добрый дедушка. Вот этого совершенно не было. Наоборот. И это, кстати, отмечали многие мемуаристы, которые его знали с очень давних времен, скажем, с философского факультета МГУ или с первых лет профессиональной работы.

Если внимательно посмотреть мемуары, там сквозной линией проходит линия левадинского одиночества – и вынужденного, и добровольного. И еще они отмечают вот эту чрезвычайную самостоятельность, готовность к спору, к дискуссии, даже к драке, и такую колючесть внутреннюю. В этом смысле, вызывая огромную симпатию, я думаю, что он вызывал и очень сильную антипатию. Причем, вольно и невольно. Манерой себя вести, абсолютной нелицеприятностью оценок, их абсолютной неконъюнктурностью – в лицо, и кому хочешь. Я думаю, что у многих людей это вызывало сильное отторжение, и есть в воспоминаниях такие нотки: «Левада, как всегда, был готов бросаться в драку». Ну, что-то в этом роде. Он не был задирой, нет. По-моему, он не видел в этом интереса, чтобы задраться и привлечь к себе внимание. Чего не было – того не было. Но была готовность доискиваться до сути и в этом смысле не смотреть ни на что: ни на звания, ни на престижи, ни на статусы, ни даже, в общем, на хорошие отношения. Друзей он не обижал – это правда. И, я думаю, что это ему в голову никогда не приходило. Но «Платон мне друг, а истина дороже». И она все-таки была дороже. Это не приводило его к обидам, потому что друзья знали, что все-таки истина дороже.

Polit.ru. «Взрослые люди».
5.V.2010

О Ю.А. ЛЕВАДЕ*
Интервью Л. Борусяк

Наталья Зоркая: <...> Он был очень заботлив. Это как раз было время, когда в Москве ничего не было, жрать было нечего. А внизу в этом комплексе гостиницы, где мы тогда сидели, была кулинария, и он бесконечно таскал нам оттуда какие-то пряники.

Любовь Борусяк: А у тебя тогда мальчик был маленький.

Н.З.: Да, и мальчик был маленький, и очень он нас опекал в то время. Сын был маленький, и Юрий Александрович в моей личной биографии, в биографии моей малой семьи сыграл огромную роль, потому что он был невероятно внимателен. Многие говорят о том, что он про всех более или менее все знал, но про мою жизнь он знал очень много. Он с огромным интересом всегда расспрашивал про моего сына, выслушивал это, и в какие-то периоды, когда у меня были большие проблемы и сложности, он мне невероятно помог. Причем, помог мне по-левадински потрясающе.

Л.Б.: В чем он тебе помог?

Н.З.: Он мне надавал много денег, когда мне нужно было платить за уроки перед поступлением сына в институт.

Л.Б.: То есть это было уже сильно позже?

Н.З.: Да, это было сильно позже. Причем, я его об этом не просила. Но либо в мой день рождения, либо еще когда-нибудь, он в меня просто впихивал эти деньги, прекрасно зная, что я их ему не скоро отдам, или вообще не смогу отдать. И в этом смысле он, конечно, потрясающе мне помог. Волны, которые исходили от личности Левады, эти круги, они какие-то на самом деле очень большие: они захватывали

* Публикуется с сокращением.

очень многих людей, и непосредственно и косвенно, через других людей. Так получилось, что когда мой сын учился в Институте землеустройства, мы на улице Казакова сидели, то есть буквально напротив, и он очень часто заходил ко мне. Леваду он, конечно, страшно стеснялся, робел, хотя любил очень. Ну, там какими-то словами они перекидывались, и Васька его видел. Когда Левада умер, это было для него огромным потрясением.

И в тот момент, когда Левада умер, и в период, когда мы переживали трудное время – когда пытались уничтожить Леваду и уничтожить Центр, – сын мой тоже прибежал на эту пресс-конференцию, которую Левада устроил. Это была очень лаконичная конференция. Мы тогда еще не очень понимали, что происходит, потому что он очень мало рассказывало том, что на самом деле стоит за всем этим.

Л.Б.: А почему?

Н.З.: А он вообще очень мало рассказывал о каких-то глубоких проблемах, связанных с существованием Центра.

Л.Б.: Он что, один тянул эту ношу?

Н.З.: Он тянул на себе совершенно невероятную ношу по решению этих проблем. Уже много людей об этом говорило, например, Левинсон. Сейчас так получается, что многие о Леваде уже рассказывали, и поэтому приходится комментировать. Я имею в виду книгу воспоминаний о Леваде, которая, надеюсь, будет допечатана бóльшим тиражом. Сейчас она, к сожалению, практически недоступна.

Так вот. Всегда были две противоположные позиции по поводу того, какой Левада директор. Одни говорили, что он – плохой директор, другие, что прекрасный. Были какие-то напряжения в Центре, связанные, в том числе, и с этим.

Л.Б.: Наташа, а что не устраивало людей?

Н.З.: Первая драматическая ситуация была, когда от нас в начале 90-х годов откололись некоторые рабочие структуры. Я не знакома с подробностями, но знаю, что были разногласия по поводу того, какой статус должен быть у этой органи-

зации: то ли акционировать ее, то ли нет.

Л.Б.: А это было так существенно?

Н.З.: Это было связано с тем, как зарабатывать деньги; для этого нужно было определить, какой статус нужно иметь, какое направление выбрать. Ведь уникальность Центра до сих пор заключается в том, что он соединяет в себе гэллаповского типа фабрику по производству данных и аналитический научный центр. Мне кажется, что таких центров в мире просто нет. Такие вещи безумно трудно сочетать: это вызывает массу внутренних напряжений и проблем. Но это стало возможным благодаря Леваде, тому, как он директорствовал, благодаря той атмосфере, которую он создал в этом коллективе, основа которого сохранилась еще со времен сектора. Обычно говорят про костяк секторский, но есть и рабочий костяк самого центра, все время расширявшийся, который, собственно, и обеспечивает производство этих данных. Леваде удалось построить такие отношения с людьми, на которых он опирался и которым он доверял, и через них он строил отношения взаимного уважения и доверия с другими сотрудниками Центра. Здесь в этом смысле уникальная атмосфера. С моей точки зрения он был, конечно, просто прекрасным директором. Потому что тогда очень многие считали, что всему конец, что корабль потонет, корабль выплыл, и это Левада его вырулил, вывел. Он сохранил это все и даже, я бы сказала, приумножил, усилил.

И вот второй достаточно драматичный эпизод был, когда нас разгоняли.

Л.Б.: Наташа, а как ты лично его пережила, с какими ощущениями? Ты надеялась на то, что Левада что-то придумает, или было ощущение катастрофы?

Н.З.: Было очень тревожное ощущение. Левада ничего не рассказывал, но когда дело уже, собственно, подходило к тому, что вот-вот придет человек, сверху спущенный, нам уже было известно, что какая-то площадка все-таки создана. Это было известно до того, как мы все уволились. Для нас, для

нашего узкого круга, бывшего и нынешнего отдела теории, было совершенно ясно, что мы пойдём за Левадой. Но честно скажу, что в остальных я не была так уверена. У меня не было такой уверенности, и я себе представляла, что, конечно, начнется торг, начнется покупка людей. Зарплаты у нас по сравнению с другими центрами были гораздо ниже, и по этому поводу были бурчания и недовольства. У нас был принцип «общего котла», когда научная работа отчасти оплачивалась другими заказами. Но Левада как-то уравнивал это, и вселил в большинство людей, включая вспомогательный технический персонал нашего Центра, уважение к тому, что Центр занят пониманием того, что происходит. Это люди понимали, и это людей спланивало.

Это был такой порыв. Об этом уже рассказывали, как все мы тогда оттуда свалили дружно, включая нашу уборщицу Раю. Но надо было передавать дела, и поэтому пришлось двум людям из бухгалтерии остаться. Это были такие боевые тетки, и надо сказать, что отдел бухгалтерии особенно любил Леваду. Вот что показательно, если говорить о его директорстве. Они его просто обожали. А как они хранят о нем память, это просто потрясающе. Просто потрясающе!

И тогда был замечательный сюжет. У меня была приятельница – дочка моей подруги, которая работала в то время на телевидении. Она приехала ко мне в пятницу, когда Федоров должен был придти и принять организацию, принять дела. Ее приезд был связан, как они любят выражаться, с информационным поводом, потому что она приехала снимать это событие. И это была просто безумная сцена – Федоров вошел со своей свитой и увидел пустые комнаты, где не было ни одного человека. Лицо его перекошилось, он начал искать какую-то вертушку, чтобы куда-то позвонить, был какой-то дикий крик – и все это записано на пленку. Она где-то в недрах телевидения хранится, но вот я никак не могу это заполучить.

И вот этот наш переезд, он был такой веселый, радост-

ный, на подъеме. Левада никому ничего не говорил, он никому ничего не объяснял, видимо, он просто доверял нам. И люди это понимали. Они сделали именно то, что нужно и можно было сделать в этой ситуации.

Л.Б.: Наташа, а когда Юрий Александрович начал так серьезно болеть? Как мы знаем, он работал до последней секунды, но, тем не менее, он все-таки сильно болел.

Н.З.: Да. Это, конечно, тяжелая часть этой истории. У Левады трагичная во многих отношениях биография: сплошные потери, о которых он никогда ничего не рассказывал. Он это очень глубоко переживал, но никогда и ни на кого не перекладывая эти свои страдания. Сейчас, рассматривая старые фотографии, я замечаю, что в свои сорок лет, или на рубеже перехода к сорокалетию, он в какой-то момент очень повзрослел, постарел даже. Когда я его увидела, он тоже еще был молодой относительно, но было такое ощущение, что он лет на десять-пятнадцать старше. Не знаю, с чем это было связано, но мне кажется, что в значительной степени с какими-то внутренними душевными проблемами. Но, может быть, и с тем, что уже начались какие-то сложности со здоровьем. А относился он к себе очень жестко, к врачам не ходил. Совершенно не ходил.

Л.Б.: Почему?

Н.З.: Мне трудно это объяснить. Вот он таким был. Я думаю, что он никого не хотел впускать в эту свою приватную, проблемную жизнь. Лечил себя сам в основном. Seriously он никогда не лечился.

Для него главным была работа и люди в работе. Причем он ценил любую работу. Как-то так получилось исторически, что мне он выделил роль буфера. Потому что существовали напряжения между тем, что, с одной стороны, нужно было зарабатывать деньги и гнать исследования, а, с другой стороны, Центр должен был заниматься аналитикой, писать статьи. И, конечно, были всякие подспудные настроения, с этим связанные.

Я должна была улаживать напряженные, а иногда и конфликтные отношения.

Л.Б.: У тебя характер для этого, наверное, был подходящий?

Н.З.: Видимо, да. Потому что было понятно – это надо делать, иначе Центр просто не выживет. И Левада в этом смысле как-то мне доверял.

А когда Левада заболел, то мои дорогие коллеги меня выдвинули в качестве доктора. Я в каком-то смысле обыденно была ближе к Леваде. Он мне многое рассказывал о своем внуке, хотя он ни с кем особенно не делился. Он страшно любил своего внука, и мы с ним обменивались мнениями по проблемам воспитания и выращивания детей. Это была у нас тема такая общая.

Л.Б.: Именно ваша?

Н.З.: Да. У меня сейчас с датами плохо, но первый раз он заболел где-то в конце 90-х, когда было резкое ухудшение: страшные проблемы были с дыханием. У него тогда была страшная одышка, и он не мог сделать трех шагов. Никто ничего не мог понять, и как-то он меня к себе допустил.

Л.Б.: Ты сама к этому стремилась?

Н.З.: И сама, и просто так сложилось в жизни, что у меня в друзьях много врачей.

Л.Б.: Казалось, что это получалось естественным образом.

Н.З.: Это и получилось естественно, потому что среди ближайших друзей были хорошие врачи – экстра-класса терапевты и кардиологи. Естественно, у них был круг свой, свои знакомства. Плюс к этому наши разговоры о детях. Во всяком случае, он разрешил мне взять себя за руку и довести до врача. Я с ним ездила всюду. Потом стало понятно, что нужно укладываться в больницу. Больницы Левада категорически не принимал, и тогда Лева Гудков подключил свои связи. Удалось его устроить в кардиоцентр, где была нормальная обстановка, то есть можно было работать. Там его

более или менее поставили на ноги, но внятного диагноза так и не поставили, что с ним такое, собственно, было.

Его немножко подлечили, и я не знаю, надо ли про это рассказывать, но как только он понял, **что** ему помогает, он сам стал глотать таблетки, бесконтрольно. Это я уже позже выяснила. Тут я ничего не могла сделать. Проблема заключалась в том, что у него были очень больные ноги. И со временем ему стало трудно ходить, его грузность добавляла проблем. Но самой главной проблемой все-таки было дыхание: непонятно, что это было – то ли легкие, то ли сердце. Но, как выяснилось потом, это было все – и сердце, и легкие.

Л.Б.: Но ведь он не курил?

Н.З.: Он не курил. Но перед тем, как случилась уже вторая история с его попаданием в больницу, мой хороший друг, врач-реаниматолог, приезжал к нему домой и буквально вытаскивал его с того света. Дважды он это делал, и после этого мы его все-таки положили в больницу. У меня нет однозначного отношения к этому: он очень тяжело перенес это лежание в больнице. Может быть, болезнь уже развивалась, но тогда он все-таки вышел из тяжелого состояния. За три-четыре месяца он очень сильно похудел: он долго не мог есть, тогда он килограммов тридцать потерял. После этого ему стало полегче, и он какими-то внутренними своими усилиями вытащил себя из этой ситуации. Понятно, что в этом возрасте и при таком наборе болячек нужно было постоянно пить поддерживающие лекарства, но проконтролировать эту ситуацию, повлиять на нее было совершенно невозможно.

Под конец опять повторилась эта ситуация. У него уже водянка была, нужно было его вытаскивать, и мы пытались его опять положить в больницу. Я умоляла его об этом. Уже было известно, что у него с сердцем, у нас были все результаты: сердце его было совершенно истрепано. Я все время приставала к нему с этими таблетками, и он даже начал злиться. Это уже был какой-то перебор, но меня подталкивали к этому все в Центре. Так получилось, что только я могу с

ним про это говорить, потому что всех он посылал. Но я как бы честно и до конца пыталась это делать.

Многие знают, что он умер на работе.

Л.Б.: Ты чуть ли не одна была там.

Н.З.: Нет. Я просто первая увидела, что что-то не так, что он не так дышит, что он как-то обмякает, оползает. Я сразу стала звонить этому своему кардиологу, который его дважды вытаскивал, спрашивала его, что делать. Он сказал мне о том, какие купить лекарства. Прибежали ребята – Лева Гудков, Марина Красильникова, сразу вызвали скорую, а я побежала в аптеку, покупать какие-то «скоропомощные» лекарства. Бегаю я плохо, но помню, что всю дорогу бежала. Это довольно далеко, и я просто молила Бога, чтобы добежать, чтобы успеть. Но когда я прибежала обратно, он уже был без сознания. Мы слевой, а потом и еще кто-то, пытались ему делать искусственное дыхание, делали все, что могли, но когда скорая приехала, стало понятно, что он уже умер. Может быть, он умер уже в то время, когда мы пытались его оживить. У него была быстрая смерть.

В книжке, которая вышла, есть рисунок на первой и на последней странице. Эта так, как рисуют анимэ, – отлетающая душа с крыльшками. И Тамара Васильевна – его вдова – говорит, что этот рисуночек он нарисовал в тот день, когда он поехал на работу. Я знаю двух таких людей, которые, болея, разбирались со своей болезнью так, как они сами считали нужным, сами решали для себя проблему смерти. Это мой отец, и Левада. Они именно так приняли смерть. И поехал он на работу потому, что хотел быть с нами. Конечно, он был очень плох, он еле-еле доехал, но, я думаю, он сделал это потому, что хотел быть с нами. Вот так.

Л.Б.: Ну, вы-то всегда хотели быть с ним, тут и говорить нечего.

Н.З.: Ну, да. Все про это уже говорили, что всегда у него были открытые двери. Есть жутко смешная история, когда его сделали директором. Он изначально сидел с нами в одной

большой комнате на Никольской улице, и когда стал директором, он еще долго-долго продолжал сидеть с нами. Ну а те, кто считал, что нужно какой-то другой тип менеджмента реализовывать...

Л.Б.: О, как ты выражаешься. «Эффективный менеджмент» – это сильно.

Н.З.: Это ужасно, но тогда, в том числе, и такие слова произносились. Кстати, когда Центр разгоняли, была такая формулировка: «неэффективный менеджмент». Я считаю, что он был необычайно эффективный. Лучше просто не бывает. И, слава Богу, он был настолько эффективный, настолько сильный и смыслообразующий, что хотя многие и опасались, что все обвалится, когда Левада уйдет, этого не случилось.

Л.Б.: Ты не закончила смешную историю, о которой начала рассказывать.

Н.З.: Ах, да. И вот Леваду заставляли сесть в директорский кабинет. Это была целая эпопея – он так не хотел.

Л.Б.: А кто его уговаривал? Не ты?

Н.З.: Нет, не я. Не буду говорить, кто конкретно, но кто-то из администрации. Они считали, мол, как же так, к нам клиенты приходят. И действительно, когда звонили ему в кабинет из какого-нибудь ведомства государственного и не попадали на Леваду, они впадали в какую-то растерянность. Потому что не могли понять, куда они позвонили. Допрашивали секретаря: где он, куда позвонить, как это там у вас все устроено. Им это абсолютно было непонятно. Бедного Леваду загнали в этот кабинет. Он там жутко маялся, ему там было очень одиноко. Он сидел на втором этаже, мы – на третьем, и периодически, несколько раз в день, он к нам приползал. «Ну, что, братцы, как дела?» – спрашивал он и сидел с нами. А потом ему уже стало сложнее ходить, и тогда все ходили к нему. Я помню, что это было, как магнит. Даже если у меня не было какого-нибудь конкретного дела, я все время туда тащилась, чтобы на него посмотреть.

А он все время существовал в двух измерениях, сохраняя внимание в реальном, тутошнем, измерении, и постоянно думая в другом измерении. Там шла какая-то постоянная работа. Постоянная! Она вообще не прерывалась. Но это абсолютно не сказывалось на том, как он реагировал. Он все прекрасно мог понять, обобщить, то есть он все фиксировал. Все фиксировал! Вот такая у него была потрясающая сила.

И вот еще что мне хотелось бы прокомментировать. Все говорят про его невероятную образованность, невероятную начитанность, что он был на голову выше всех. И дело это он, кстати, передал. Или он подбирал таких людей, или он во многом передал это своему окружению, потому что и Лева Гудков, и Борис Дубин – это тоже люди такого плана. И это все было переработано, осмыслено и подключено к делу.

Л.Б.: То есть не было никакого начетничества.

Н.З.: Ни о каком начетничестве не могло быть и речи. Это никогда не было демонстративным, никогда не было никакого монологизирования, никогда не было употребления имен всуе. Это все просто было в работе. Почему так ценны его тексты, прочитанные всего лишь на одну миллионную процента? Слава Богу, что они есть, их необходимо и должно еще и еще читать. Потому что каждый раз, беря любой его текст, ты находишь какой-то новый поворот, какую-то новую мысль, которую тогда ты был не готов воспринять. Это все невероятно продуманно, невероятно проработано и очень глубоко. Я считаю, что именно это и есть понимающая социология. Так он называл нашу странную работу, нашего странного смешанного Центра, которая соответствовала придуманному им девизу «от мнения к пониманию».

Polit.ru. «Взрослые люди».
5.VI.2010

ГЛАШАТАЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Тучи над рано посеребренной головой Юрия Александровича стали клубиться еще в 1968 г. Как отмечается (точнее – доносится) в записке в ЦК КПСС первого секретаря МГК КПСС В.В. Гришина: «Указанный курс, по рекомендации парткома МГУ обсуждался на кафедре философии гуманитарных факультетов и был подвергнут серьезной критике. Однако т. Левада не только не внес необходимых исправлений и продолжал читать лекции по непереработанному курсу, но и в марте-мае 1969 г. опубликовал их на ротапринтере в Информационном бюллетене № 20-21 (Серия «Методические пособия», тираж около 1000 экз.)»¹.

Что же такого «еретического» содержалось в «Лекциях по социологии»? Вот оглавление 1 тома:

1. Предмет социологии.
2. Особенности социологической точки зрения.
3. Общество как система.
4. Общество и культура.
5. Социальная структура и социальные группы.
- 6-7. Малые группы.

Во второй том вошли социологические проблемы различных областей общественной жизни: движения народонаселения, урбанизации, науки и т.д. В ротапринтный вариант не вошли две лекции по истории социологической мысли и разделы о массовых коммуникациях и методах социологических исследований².

¹ Записка в ЦК КПСС Первого Секретаря МГК КПСС В.В. Гришина, 4 апреля 1970 г. // Российская социология шестидесятых годов. – СПб, 1999. – С. 506.

² Левада Ю.А. Лекции по социологии. От автора // Информационный бюллетень ССА и ИКСИ АНССР. № 5. Вып. 20-21. Серия: Методич. пособия. – М., 1969.

Прочтя этот перечень, современный читатель скажет «Это вполне нормальный курс общей социологии». Да, но это современный читатель. Однако, *проницательный* читатель 60-х гг. XX в. («стоящий на страже чистоты марксизма») не увидит здесь «знаемых до боли» категорий общественного бытия и сознания, базиса и надстройки, классов и классовой борьбы, общественно-экономических формаций и т.д., и т.п. – всего того, что составляет арсенал (ключ-отмычку) истмата и научного коммунизма и позволяет им *походя* разрешать любые социальные проблемы советской действительности и доказывать неизбежное и неотвратимое торжество «светлого будущего». Проницательный читатель наткнется на следующий «пассаж» в «Лекциях»: «Один из признаков тотального государства – полная ликвидация автономии отдельных общественных групп, сообществ, учреждений. Все должны действовать и существовать только в соответствии с интересами режима. Именно поэтому такое общество называется тотальным или тоталитарным. Все общественные группы, слои общества, интересы, все объединения людей, вплоть до союза филателистов или кружков кройки и шитья – все должны быть элементами одной машины, подчинены государству»³.

Проницательный читатель без особого труда догадается, что Ю.А. Левада имел в виду не только гитлеровский, но и сталинский режим. И такие читатели нашлись! Паладины нового «поворота к реакции» увидели в Ю.А. Леваде богохульника, который осмелился покуситься на «святое» – всевластие и самовластие партии – государства! Но поднять эту тему в открытую они не решались – это было слишком опасно для них самих. Они «вдарили» по теоретическим «ошибкам» Ю.А. Левады, а главной была, по их мнению, последовательная попытка отделить социологию от социальной философии, каковую в те поры был исторический материализм.

³ Левада Ю.А. Лекции по социологии... С. 96.

По господствующей догме именно истмат был общесоциологической теорией, и иной общей теории быть не могло и не должно.

Обсуждение «Лекций по социологии» имело не столько теоретическую, сколько *политическую* подоплеку: надо было дать идеологическую острастку и примерно наказать всех тех, кто («шаг вправо, шаг влево считается побегом!») отклоняется от марксистской ортодоксии. Это обсуждение происходило в три этапа:

Первый этап: Уже упоминавшееся обсуждение на Ученом Совете кафедры философии гуманитарных факультетов МГУ в 1968 г. Когда партком МГУ возглавлял Ягодкин, впоследствии секретарь МК КПСС по пропаганде.

Второй этап: Обсуждение в ИКСИ АН СССР на Исследовательском комитете ССА по теории и методологии социологии (октябрь 1969 г.). Как отметил сам Ю.А. Левада – это обсуждение еще происходило на теоретическом уровне, в нем отсутствовали крутое зашательство и зубодробительство, столь любезные сердцам ревнителей государственной идеологии. Именно это их не устраивало. Поэтому обсуждение было перенесено на территорию Академии общественных наук при ЦК КПСС – т.е. в цитадель, которая отбирает, возвращает и выпускает в свет этих самых ревнителей государственной идеологии.

Третий этап: (конец ноября 1969 г.) Заседание кафедр философии АОН при ЦК КПСС и Высшей партийной школы при ЦК КПСС под председательством проф. Х.Н. Момджяна. Конференц-зал до отказа наполнен преподавателями и аспирантами АОН при ЦК КПСС. Обстановка наэлектризована выступлениями местных златоустов (А.А. Амвросов, Г.Е. Глезерман, Г.М. Гак, С.И. Попов, Ф.В. Константинов, П.С. Черемных, М.В. Яковлев) и привлеченных сюда в качестве «мальчиков для битья» социологов из только что образованного ИКСИ АН СССР (Ф.М. Бурлацкий, Б.А. Грушин, В.В. Колбановский, Г.В. Осипов, Ю.Н. Семенов, В.Н. Шубкин).

Вот как сам Ю.А. Левада в этом враждебно настроенном против него зале охарактеризовал уровень, смысл и подоплеку так называемой дискуссии: «Сравнивая обсуждение «Лекций» в Исследовательском комитете ССА 30 октября и то что было здесь в эти два вечера, я должен сделать вывод о заметной разнице в уровнях, а не только в позициях, резкости и т.п. То ли здесь так подобрались ораторы, то ли из состава двух уважаемых кафедр их иначе и подобрать нельзя было, но здесь было слишком много таких упреков и доводов, которые говорили об очень невысокой квалификации ораторов в марксистской социологии (на любых ее уровнях). Хачик Нишанович (Момджян) разделил выступавших на тех, кто меня «покрывает», и тех, кто меня «критикует» – это очень странное деление (видимо уголовного происхождения, поскольку там злодеи покрывают друг друга), и я с этим совершенно не согласен.

Я вынужден проводить совсем иное деление на: а) деловую квалифицированную критику, б) некомпетентные и необъективные оценки, с которыми выступали люди, не успевшие и не сумевшие сказать что-либо по существу. Не вина, а беда моя сегодня, что я вынужден был так долго говорить сегодня о «команде» из класса «Б».⁴

Итак, два разных уровня обсуждения – среди социологов (в ИКСИ) и философов (в АОН), некомпетентность и необъективность – фактически – неквалифицированность «команды» АОН; особый «подбор» ораторов, и наконец – обвинение социологов в том, что они суть «злодеи, покрывающие друг друга». Ю.А. Левада выводит это из уголовного права, но фактически имеет в виду политические расправы 20-х – 40-х гг. высшим обвинением которых было «не разоружились перед партией».

⁴ Левада Ю.А. Из выступления на объединенном заседании кафедр философии Академии общественных наук при ЦК КПСС и Высшей партийной школы при ЦК КПСС, 24 ноября 1969 г. // Российская социология шестидесятых годов. – СПб, 1999. – С. 488-499.

Ю.А. Левада достаточно ясно дал понять, что это не теоретическое обсуждение, не научная дискуссия, а судилище, притом такое, которое действует по принципу «зазеркалья»: «сначала казнь, а приговор потом»! В этой обстановке театра абсурда, иррационального кликушества Ю.А. Левада вел себя предельно спокойно, продуманно, достойно. Перед синклитом специально «подобранных» ораторов стоял подлинно Большой Ученый, который не поступается и не отрекается от своих убеждений, «ни страха ради иудейска», ни за копеечные конъюнктурные выгоды.

К 20-летию Института социологии в 1988 г. я написал небольшую поэму, в которой рассказал об этом судилище. При случае, на одном из ядовских семинаров, в 1990 г., где докладчиком был Юрий Александрович, я подарил эту поэму ему. Он тут же с ней ознакомился и сердечно поблагодарил: «Спасибо, Варлен!».

Отрывок из поэмы «Воспоминания о генезисе Института социологии с реминисценциями из поэтической классики» (прочитано в день 20-летия ИСАН СССР 26 декабря 1988 г.).

[...]

Вам не видать таких сражений,
Тех всенародных избиений,
Что «проработками» зовут,
Когда нещадный хлещет кнут
Над головами поколений!

[...]

... И мы нестройною толпою
Вошли во времена застоя,
ИКСИ умолк и поредел,
И опустел его предел...

Кому-то выгода прямая,
Чтоб был свершен неправый суд,
Умов нетривиальных стая
Покинула наш Институт.

Кому-то выгода прямая,
Чтоб тишь да божья благодать,
Чтобы не смели возражать,
Чтоб мысль не билася живая,
Чтоб век свободы не видать!

* * *

...Кем же был Ю.А. Левада в период «бури и натиска» возрождающейся российской социологии?

В общественных группах всегда различаются формальный и неформальный лидеры. Формальным лидером – и как один из организаторов ИКСИ, и как следующий (после Ю.П. Францева) Председатель ССА – был в период 60 – начала 70 г.г. Г.В. Осипов. По своему авторитету, демократичности, коммуникабельности, человеческому обаянию Ю.А. Левада, несомненно, был *неформальным* лидером социологического сообщества. Но сказать только это явно недостаточно. Таковыми же лидерами – в своих областях знания или своих регионах были В.А. Ядов, Т.И. Заславская, Б.А. Грушин и некоторые другие.

Майкл Буравой разделяет социологию на а) политическую (государственную), б) критическую, в) профессиональную, г) публичную (гражданскую). Ю.А. Левада органически объединял в себе последние три ипостаси социологии: он был высокопрофессионален, он был глубоким социальным критиком и одним из первых – стал публичным социологом всего периода от 60 г.г. до начала XXI века.

Свободная, независимая и неподкупная, глубоко гражданская мысль – вот что пронизывает все его творчество.

По своему темпераменту трибуна, по своему острому перу публициста, по своей преданности и подвижничеству в науке Ю.А. Левада был подлинным ГЛАШАТАЕМ молодой российской социологии – был и оставался им до своего самого последнего мгновения, которое он встретил за рабочим столом в «Левада-Центре».

2009

ЛИЧНОСТЬ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПОПРИЩЕ

В 2003 году Юрий Левада вместе со своей командой в 82 человека был изгнан из Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Вместе с ним ушел 81 сотрудник: Юрий Александрович никого не призывал идти вместе с ним, просто это было так естественно – уйти вместе с гуру.

В «Левада-Центре» говорят, причиной разгона самой авторитетной социологической команды – да по сути просто главной социологической школы современной России – стала принципиальная честность исследований. Причем не в том смысле, что вот, мол, Левада, будучи «придворным социологом Ельцина», очернял российскую действительность и светлый образ нового первого лица. Наоборот, его исследования холодно фиксировали объективную реальность, данную нам в ощущениях и в общественном мнении: рейтинг Владимира Путина не просто «тефлоновый» – он растет. Это, судя по всему, мешало повышению благосостояния некоторых людей, выбивавших ресурсы под непосильную работу по повышению якобы упавшего рейтинга. Правильно утверждают иные злые языки: за каждым политическим решением чаще всего стоит голый финансовый интерес...

«Левада-Центр», основанный человеком-брэндом и названный в честь человека-бренда – не самое богатое учреждение. Но команда Левады всегда была верна Юрию Александровичу, причем не только в последние три с половиной года, но и тогда, когда в период советских политических «заморозков», в 1972 году, было разогнано одно из гнезд вольнодумного шестидесятничества – Институт конкретных социальных исследований.

До самого появления Левады и его команды во ВЦИОМе в 1988 году, куда Юрий Александрович перешел к Татьяне Заславской и Борису Грушину, опальные социологи не толь-

ко не прерывали «опасных связей» друг с другом, но и ухитрялись работать. Ближайший сотрудник Левады Алексей Левинсон, в разговоре со мной назвал Юрия Александровича бесстрашным человеком: «Я никогда не видел, чтобы он чего-либо испугался». А бояться в наших советских и российских политических обстоятельствах всегда было чего.

Левада окончил философский факультет в 1952 году. Он оказался современником блестящих и именитых советских философов. Однако философия неизменно оставалась под серьезным присмотром идеологических органов, потому что и сама была частью идеологии. Тем не менее, внутри марксистской среды Левада достигал удивительных степеней свободы – даже когда писал кандидатскую диссертацию о формах народной демократии в Китае или докторскую о социальной природе религии.

Юрий Александрович был очень простым в общении человеком. Он никогда не нуждался в том, чтобы жить по принципу «казаться, а не быть». Главный социолог страны он и есть главный социолог – он не нуждается в сонмищах секретарей, прихлебателей, льстецов.

«Он обладал способностью отделять важное от неважного, добро от зла в таких ситуациях, когда у меня на этот счет не было четкого мнения или решения. А у него было», – говорит Алексей Левинсон.

Авторитет Юрия Левады был непререкаем не только для своих, но и для его оппонентов или прямых недоброжелателей. Так уважают людей, которых нельзя купить. Он честно замерял общественное мнение, анализировал его и сообщал миру о состоянии мозгов и эмоций нации. Нация же не знала или ей не давали знать, что у нее есть моральный авторитет в лице Юрия Александровича Левады. А ведь он всего лишь честно и профессионально делал свою работу. Не более. Но и не менее.

РИАНОВОСТИ. 17.11.2006

О Ю.А. ЛЕВАДЕ*

<...> Я один из попечителей левадовского центра, а он был всегда среди попечителей нашего. То есть всегда существовал союз двух наших организаций. Кроме того, сотрудники «Левада-Центра» всегда активно участвуют в «Путях России». И не только это. Когда я должен был решить вопрос о создании московской школы, я пошел к Леваде. Было два человека, с которыми я советовался, когда начал принимать меры, чтобы создать Московскую Высшую школу, – это была Татьяна Заславская, и это был Левада.

Я их знал и очень высоко ценил, поэтому приехал советоваться не к чужим для себя людям. Татьяну Ивановну я помнил по Новосибирску, который вообще был мне очень интересен. Новосибирск был не просто центром научного знания, но центром какого-то оригинального знания. Академгородок был островком чего-то такого необыкновенного, которое не дозрело до той точки, до какой могло бы дозреть, если бы его повели дальше. Но там был довольно серьезный уровень. Ну, а что касается Левады, я не только знал его работы, но был знаком с ним лично.

Он сходу мне понравился, и даже очень понравился. Это было, конечно, не случайно, потому что Левада был необыкновенным человеком. Ну, например, в том плане, что если он хотел говорить с человеком, то он раскрывался как необыкновенно интересный мыслитель. Но я видел, как он мог «не говорить». Были случаи, когда он не хотел ни о чем говорить. Я был в комнате и видел, как он совершенно спокойно отшивает людей, которые или не могли его понять, или ясно было, что они из лагеря «лоялистов».

* По материалам Polit.ru. Цикл бесед «Взрослые люди». Автор Любовь Борусьяк. Публикуется с сокращением.

Но совершенно по-другому он говорил с людьми, которым он доверял, и с которыми ему было интересно разговаривать. Ему было интересно со мной говорить, наверное, потому, что я – иностранец, но при этом говорю по-русски. Ну, и кроме того, я нахожусь в университетской среде уже четверть века. Для него это было интересно. Во всяком случае, мы сходу подружились. Знаете, есть такая вещь: пятнадцать минут – и вы друзья. Это не часто бывает, но бывает. И у нас это было. Поэтому, если мне нужно получить хороший совет: делать или не делать, то у меня есть два человека, с которыми я хочу это обсудить. Третий человек, который тогда втянулся в это, был Абел Аганбегян.

Несмотря на то, что я в такой очередности все это излагаю, первым я, между прочим, пошел к Леваде. И когда я советовался с Татьяной Ивановной и с Левадой, стало ясно, что это надо делать. Это – раз. Будет ужасно трудно – это два. Они оба об этом сказали. Ничего этого не будет, если я сам не буду это вести, хотя бы сначала. Это – три.

Для меня это было ново. И меня можно понять – ведь я все же из Англии. Англия – страна, где принимаются институциональные решения. А здесь все в ручном управлении, и все лично. Они оба мне сказали примерно одно и то же, но Левада особо резко, четко и совершенно, так сказать, бесповоротно. Он сказал, что идея хорошая – это все правильно, это очень нужно, но только никакого сомнения быть не может, что если вы сами этот проект не поведете, ничего из этого не выйдет.

И я у него спросил: «Вы уверены?» «Ну, что значит, я уверен?» – ответил Левада. Я на это сказал, что Россия – страна, в которой много способных людей, вопрос только в том, чтобы их найти. «Нет. Не поведете проект лично, ничего не будет». Это была позиция Левады. Должен сказать, что через какое-то время у меня уже не было никакого сомнения, что он был стопроцентно прав. Без этого ничего бы не получилось. Даже если бы я все это прекрасно спланировал, до-

бился бы наилучших ресурсов, которые нужны для этого дела, а потом, передав это в русские руки, ушел домой, то ничего бы из этого не вышло. Вот так.

Это определяет его место в жизни того, что мы называем «Шанинкой». Конечно, в каком-то смысле это было бы правильнее называть «Левадовкой», потому что он понял одну вещь, которую я не понял. Это индивидуализированная тенденция организовывать новые вещи в России. То есть без вожака, который берет на себя все удары, который достаточно силен, чтобы пробиваться, не получается.

Еще мы оба думали, что социология – интересная наука, что социология может дать интересное понимание, которого не существует вне нее. Но при одном условии: ты к этому не относишься как к религии. Как к религии или как к догме. То есть, с одной стороны, это – важная дисциплина, которую надо вводить. А с другой стороны, ты должен понимать если ты ее возьмешь догматично, то никуда дальше не пойдешь. Потому что это – вещь, меняющаяся у нас на глазах.

Я думаю, мы оба понимали прекрасно, что социологии как таковой не существует. Социология существует как процесс, который никогда не кончается. И, значит, изменения беспрестанны. Это значит, что те, кто этим занимается, если они хотят заниматься этим эффективно, должны быть открыты беспрестанным изменениям. Они должны не бояться их и двигаться с ними. У меня не было сомнения, что в то время особенно, когда начинались беспрестанные разговоры о перестройке, это было хорошей базой для движения вперед.

Все говорят о перестройке. А когда попробовали пошутить такого человека, который говорил языком перестройки, то почти всегда оказывалось, что в нем никакой перестройки нет.

Он не перестроился. Они, вообще-то говоря, догматичны, стабильны. Это не потому, что они оставались марксистами. Да пес с ним! Можно быть марксистом и немарксистом, но оставаться догматиком. А здесь надо было вырваться из дог-

матизма. Ведь среди тех, кто был догматичен, были также и немарксисты, то есть люди, которые вдруг влюбились в свободный рынок. Они до смерти были влюблены в этот несчастный свободный рынок. Им казалось, что они уже все науки превзошли, и не надо ничему учиться, потому что если будет свободный рынок, то он сам по себе все сделает. А это – первоклассная глупость. В Англии-то мы знаем, что может сделать свободный рынок с точки зрения уничтожения британской индустрии. Что и произошло.

Думать надо, и надо быть готовым к изменениям. И в социологии, которая меньше очерчена как дисциплина, это особенно важно. Вот где Левада и я встретились, как братья. Потому что мы были не только однолетками, но и в какой-то мере думали одними и теми же категориями. С точки зрения того, чего можно и чего нельзя добиться, где еще надо думать и не надо принимать окончательных решений. И, конечно, мы оба были и не просоветские, и не прозападные, а сами по себе.

Левада стопроцентно был человеком самим по себе. Я – тоже. Но мне легче это давалось. Хотя должен сказать, когда я смотрю на своих британских коллег, то это не само собой дано нам нашим британским образованием.

Нет, не само собой. Потому что, когда ты очень молод, ты легче принимаешь эти изменения, зигзаги, возможность смотреть на вещи по-другому и так далее. Но после этого ты оседаешь. Оседаешь в свой пост, в свой ранг, и сдвинуть с этого места тебя трудно.

Окостенение наступает, и тебе трудно сдвинуться. Это в одних дисциплинах – плохо, а в других – ужасно. Когда «плохо», с этим можно как-нибудь обойтись: частично принять, частично не принять. Но есть дисциплины, в которых это ужасно. И социология, на мой взгляд, – одна из таких дисциплин, потому что общество меняется очень быстро, здесь все время идут изменения. И если ты уже понял, что

такое социология, то уходи из нее, потому что тогда ты ничего не понял.

У Левады этого не было. Ни в какой мере. И при этом он оставался спокойным. Потому что есть тенденции, которые связаны с общей культурой страны, с экономической культурой страны. В России очень сильна тенденция к обвинению кого-то в чем-то.

Так что эти ужасные разборки, которые проводили сталинские хулиганы, они проводили на базе интуитивного согласия части народа. Потому что есть такая тенденция в культуре: кто-то виноват.

Конечно, это существует в каждой культуре, нет культуры, которая свободна от этого. Но в русской культуре эта тенденция сильнее, и это взрывоопасно. Поскольку я прожил в Англии много лет, я могу сказать, что в английской культуре эта тенденция слабее по нескольким причинам. Ну, скажем, это спокойная ироничность, которая характерна для англичан. Если ты горячо начинаешь объяснять, что у тебя окончательная правда, то половина англичан в толпе вокруг вас начнет слегка улыбаться. Им смешно. И это – спасение. Спасение. А в России очень часто большинство согласится с тобой.

А Левада был человеком ироничным. Не все это замечали, потому что он был человеком вежливым. Вежливые люди, они очень часто не иронизируют открыто, потому что это обижает других. Но, на мой взгляд, в Леваде было много такой спокойной иронии, с которой он очень спокойно слушал людей, не реагируя немедленно.

В этом смысле он – английский тип. Но это не сугубо английская черта, скорее, это характеристика людей с большим опытом, это взгляд на мир, в котором присутствует самоирония, когда они на самих себя смотрят. Смотрят со спокойной улыбкой. На мой взгляд, это не очень-то замечали люди вокруг него. И, на мой взгляд, они не понимали, что это такое. А мне легче было понять, что это такое, потому

что английская культура этому обучает. Если ты не умеешь быть самоироничным, то в Англии ты становишься мишенью для острот.

Откуда у Левады были эти английские черты? Не знаю. Я недостаточно знал его, чтобы ответить на этот вопрос. У меня нет сомнений, что есть какие-то причины. Частично это результат самовоспитания, наверное. Когда тебя сильно бьют, то ты часто вырабатываешь это как защитную реакцию. Знаю, потому что и я прошел жизнь непростую, поверьте мне. И когда надо защититься, это очень хорошо.

Умные люди часто строят себе защиту, особенно когда они существуют в условиях трудных. И они выходят живыми из тяжелых ситуаций. Я это видел, когда я встречал людей, которые вышли из лагерей. Мой отец был в лагере – так что я встречал бывших лагерников. Из лагерей люди выходили поразному. Были те, кто абсолютно сломался, были те, кто испугался до конца жизни, – всякие были. Но те, кто сравнительно хорошо перенесли лагерь, они почти все имели этот элемент самоиронии как свой главный защитный инструмент, который вырабатывался со временем.

Я – член попечительского совета «Левада-Центра». Я не знаю, когда он был создан. Может быть, он уже существовал, когда меня попросили к нему присоединиться. Истории я не знаю. Я только знаю, что на каком-то этапе Левада меня спросил, готов ли я войти в Совет попечителей? На что я ответил: «Если это тебе в помощь, конечно». И он пригласил меня на следующее же заседание Совета попечителей.

Это не было формально. Обсуждались перспективы развития, куда двигаться дальше. Я туда попал как раз, когда началась вся эта чехарда со ВЦИОМом, и стали создаваться такие альтернативные структуры. Когда начали перехватывать материал. Мы советовались как выйти из этой ситуации. И поскольку это не было формальным мероприятием, то там не говорилось: «А теперь, следующим пунктом нашей программы, давайте примем решение». Это не строилось так.

Мы не относились к Совету попечителей, как англичане. Потому что у англичан совет попечителей – властная структура, то есть все, включая бюджет, решается на совете попечителей. А здесь была дружба, была помощь, это – совет, что делать в тех или иных обстоятельствах, это арбитраж в случае конфликта внутри этой структуры. У этого Совета были свои функции, и хорошо, что существовала такая вещь. Также это было местом, где руководитель структуры мог отчитаться.

Это была одна из функций Совета попечителей, потому что отчитываться перед коллективом – это непростая штука. И, вообще-то говоря, лучше не отчитываться перед коллективом по некоторым темам. Есть темы, где говорить с коллективом надо, а есть темы, где небольшая группа людей более объективна, потому что они со стороны. И это может дать лучшие результаты. Поэтому советы попечителей в Англии и вообще на Западе имеют куда больше власти.

Я помню, что меня удивляло, насколько Левада был спокоен, насколько он спокойно проходит через это. На его лице всегда была спокойная полуулыбка. Он был уверен, что он не сдастся. И что его близкие друзья его не бросят. И это, на мой взгляд, – самая лучшая уверенность, которая есть, потому что она и впрямь серьезна. В этом смысле Совет попечителей имел свою цену, потому что в него входили люди, которые не являлись членами коллектива. Но было совершенно ясно, что и они не бросят. То есть их поддержка была солидной.

Мне кажется, что при ответе на вопрос, болезненно или не болезненно Левада это переживал, мы возвращаемся к тому, что я уже пробовал сказать. Я говорил о том, каким я его видел. Эта самоироничность спокойная, она защищала его, она была для него, как защита от беды. Я думаю, его сила была в этом.

Он был сильный человек. Очень. Эта сила строилась на определенных характеристиках, на определенном характере. И на его человечности. Я был у него в больнице, когда у него

был сердечный приступ. Когда я узнал, что у него сердечный приступ, я сразу к нему поехал. И он был совершенно спокоен. Мое единственное объяснение этого совершенного спокойствия – его фундаментальная способность к самоиронии, к иронии.

Polit.ru
13 мая 2010

О Ю.А. ЛЕВАДЕ*

<...> О Леваде я услышал, как и другие студенты, от Пантина, читавшего нам истмат, который обругал нас, балбесов, за то, что мы не ходим на лекции Левады (Левада тогда читал студентам, которые были на курс старше). Левада и Левада, имя ничего не говорило. И только когда дело дошло до нашего курса и я попал на его лекции... Это было просто потрясающе, это было откровение, потому что Левада читал очень хорошо. Это был не просто совершенно новый предмет, который резко расширял границы понимаемого мира, но другой человеческий опыт и язык. Мир, который виделся до того как бы через тусклое стекло, внезапно прояснялся и обретал четкие формы. Я тогда уже что-то начитывал – Зиммеля, Трельча и некоторых других, в общем, ту литературу, которая была доступна как-то на русском. Там, Шибутани, Беккер и Босков, «Социология преступности», Дюркгейм, что-то из русской социологии. Ну, и, разумеется, все то, что появлялось в советской литературе – от «Человека и его работы» до социологии партийной пропаганды. Но все это были крохи какие-то. Конечно, Кон – тогда уже появилась его «Социология личности», Грушин. Но главное, через знакомых, которые работали в Институте социологии, я узнал, что там есть семинары Левады. Я приехал туда и попросился к нему в семинар. Левада довольно жестко отреагировал на это, спросил, с какого я курса, что и как, но, тем не менее, разрешил мне посещать его семинары. Вряд ли у него были приятные ассоциации с журфаком после всей истории с лекциями. Но так или иначе я начал ходить на семинары Левады. Первый семинар, на который я попал (это было 2 февра-

* По материалам Polit.ru. Цикл бесед «Взрослые люди». Автор Любовь Борусьяк. Публикуется с сокращением.

ля 1970 года), – на нем выступал Арон Яковлевич Гуревич с докладом «Проблемы генезиса феодализма» – потом это легло в основу его книги. А следующим был совместный доклад Мамардашвили и Пятигорского «К метатеории сознания». И все – жизнь моя определилась.

Мне там дали перевести на пробу – и это было зверство, конечно, – первую главу «Основные понятия» из капитальнейшего труда Вебера «Хозяйство и общество». Я, который тогда свободно читал Neues Deutschland, не чуя беды, взялся за это... и умер. Это буквально один из самых тяжелых опытов: все слова собираешь, но не понимаешь ничего. За месяц-полтора, сидя каждый день в Иностранке, перевел ее, как мне было велено, и со страху исчез. Они меня потом разыскивали, а я переживал большую внутреннюю драму. Но Левада и его заместитель, Виткин Михаил Абрамович, который тогда в секторе занимался Вебером, сели, поговорили со мной и приняли меня в отдел. Михаил Абрамович, очень глубокий знаток Маркса, отбивший, кстати, у меня такое поверхностно-пренебрежительное отношение к Марксу, заданное необходимостью зубрежки и общим отвращением к марксизму (он говорил: «нет, ты не прав, Маркс – очень серьезный мужчина»), стал моим научным руководителем.

Атмосфера в секторе у Левады была совершенно потрясающая. Это действительно было что-то необыкновенное: не только в смысле внутренней интеллектуальной свободы, но и в смысле невероятной продуктивности, насыщенности работы. На тот момент там собрались люди, которым все было интересно, которые жадно вчитывались во все. Когда все собирались по понедельникам в присутственные дни, то в одном углу обсуждали Парсонса и его теорию, в другом углу разбирали проблематику индийской философии и Эдик Зильберман что-то такое рассказывал. В третьем углу обсуждались политические проблемы, поскольку в это время начались польские события. И вот это кипение давало совершен-

но неповторимые ощущения, более напряженной интеллектуальной жизни я не встречал потом.

Поначалу было невероятно трудно, я очень напрягался, я думал, что никогда мне не войти в этот мир. Но народ был крайне благожелательный: здесь чувствовалось уважение и особая любовь друг к другу. И, кроме того, постоянно присутствовала атмосфера интеллектуальной игры. Здесь, конечно, Левинсон задавал тон, но не только. Потому что и Таня Любимова, и Вика Чаликова, и Гастев Юрий Алексеевич – все это были в высшей степени колоритные фигуры. Таня Любимова для меня открыла философию, не школьную, а настоящую. Мы потом с ней готовили доклад о типологии культуры, точнее – о невозможности типологии культуры. Это был мой первый доклад на семинаре Юрия Александровича. Чтобы освободить меня от страха, Таня ставила меня на голову, вначале у стены, а потом и так, мы с ней периодически стояли на голове, нейтрализуя внешнее «я», проводя «эпохэ» своего рода.

И напряжение потихонечку снялось, меня втянули в работу. В этот период я, как губка, все впитывал.

Все, что было до попадания к Леваде, это была как бы «преджизнь». Настоящая жизнь началась именно там. По насыщенности, по интенсивности работы в секторе Левады я просто никогда ничего подобного не знал, никогда так не жил. Это была абсолютно другая атмосфера.

И народ был абсолютно другой – такого больше не было уже. Присутствовало ощущение значительности и нетривиальности всего, что делали в секторе Левады. И вот что еще важно: наука казалась идеальным миром, это был как бы «третий мир» Поппера. Такое осознание науки давало чувство ответственности и свободы, уважения к себе и дистанцированности от окружающего. Эти люди знали, что они делали; они жили, занимаясь наукой. Каждый из нас не без греха, но только такое отношение к работе может быть твоим внутренним оправданием. Мне, во всяком случае, так тогда каза-

лось, я и сегодня думаю, это было в основном очень верное и какое-то правильное чувство. Я долгое время (конечно, после разгона сектора) очень ревниво относился к тем, кто потом стал заниматься теми же вещами и фигурами, которые были в поле внимания в секторе Левады – к Веберу, а затем и к Зиммелю, Риккерт, Гуссерлю, к архаическому городу, о котором писал Левинсон. Мне казалось, что делать это можно только очень хорошо, писать же о них в обычной халтурной советской манере, не чувствуя стыда за наводимый на них поклеп (нужна же критика!) или пустопорожний пересказ, это что-то противное. Я действительно ревновал всех, кто мог, по статусу или по разрешению начальства, академически заниматься такими благородными вещами. У меня такие возможности были очень ограничены, всегда за это приходилось дополнительно платить чем-то.

Левадовские семинары строились таким образом: раз в неделю или в две, в зависимости от договоренности с докладчиками, был какой-то доклад, выступление своих или «варягов», а в остальные понедельники – шли внутренние рабочие заседания и семинары. Внутренние семинары начались очень важным вопросом: кто читал что-нибудь интересное? Там за каждым были расписаны социологические журналы. И дальше шло обсуждение прочитанного, разбор идей, обзоры литературы. Все это прорабатывалось, все, что кто-то приносил из ИНИОНа или еще откуда-то. Это была совершенно свободная, поскольку каждый следовал собственному интересу, но коллективная работа. Может быть, я повторяюсь, но еще раз скажу: по продуктивности я никогда ничего подобного не видел. Отдел Левады возник в ноябре 1966 года, а в мае 1972 года его уже разогнали. Я, собственно, всю свою школу прошел именно тогда, до момента разгона сектора. Ну, а после... тоже много чего видел. Хочешь, не хочешь, а видишь, как ведут себя люди в ситуации погрома, как реагируют – там было очень много важных моментов для меня.

Это было деление на людей и всех остальных. Я бы так сформулировал.

Я могу сказать, что за эти годы в отделе Левады было сделано семнадцать (!) сборников переводов. Из них вышло из печати только два. Третий был уже отпечатан, но Осипов его зарезал в буквальном смысле – отправил под нож весь тираж: это был третий выпуск переводов по структурному функционализму. Три монографии, одна из них – «Очерки структурного функционализма», большая, листов на двадцать, наверное. Сборники по культур-антропологии, логическим исследованиям в социологии (его готовил Гастев). Кроме того, шли разные тематические семинары. Все сколько-нибудь интересные люди, которые были в поле зрения, начиная от самого Парсонса и заканчивая Станиславом Лемом, прошли через этот семинар. Это были блестящие люди: Мелетинский, Мамардашвили, Сегал, Аверинцев, Зильберман, Гайденко, а позже, уже после разгона, – Чудакова, Чегодаева, Гордон, Померанц, Завадская и еще, и еще. Сказать – обидно, что из этого мало что удалось ввести в научный обиход, это ничего не сказать, но смириться с этим тяжело. Как, впрочем, и с отторжением российских социологов от работ самого Левады.

У Левады был основной («Большой») семинар, а помимо этого существовал еще семинар по культурной и социальной антропологии, который вел Сегал, кстати говоря, где делались доклады об американских работах, о французском структурализме. На семинарах у Левады делали доклады Давыдов, Рашковский, Тоом, Янов, Вячеслав Всеволодович Иванов, Чегодаева, о Гуревиче я уже упоминал, специалисты по городу, современному и архаическому, аномии, моде, специфике нормативных систем. Все лучшее, что тогда могло быть в стране, было здесь. Вы себе не представляете, что это было. Это было время очень насыщенной жизни. Плюс к этому сектором Левады была проведена большая двухдневная конференция по аномии – меня тогда занимала эта тема,

я писал по ней свой диплом. Запомнился валььяжный Замошкин с трубкой. «Наш брат-марксист...» Наряду с социологическими проблемами обсуждались идеи Шелера, Вебера и куча разных других вещей, так что горизонт идей был очень широким. И всего-то такая жизнь продолжалась для меня полтора года, до разгона. Я пришел туда в октябре 1970 года, а с начала 1972 года чувствовалась уже некоторая напряженка, стало ясно, что институт будут ломать.

Первым ушел Левада, а потом один за другим начали уходить и другие люди, те, кто мог куда-то уйти, найти место работы, что было совсем непросто. Пошла чистка института, уже начала работать комиссия, которая увольняла всех под издевательскими предложениями, и народ начал уходить.

Были какие-то попытки если не спасти, то как-то удержать людей. Я не очень понимал, как Левада сможет собрать всех, но очень хотел этого и всей душой верил в это. Он действительно пытался собрать кого мог в другом месте – в ЦЭМИ, ему начальство это обещало, но тамошний первый отдел это последовательно блокировал. Никого туда не взяли. А наши встречи продолжались, естественно. Я имею в виду встречи людей, которые работали в секторе.

Вначале в кафе «Паланга» около президиума академии, где тогда был отдел Анчишкина, куда ушел Левада, потом в других местах. Это же было лето 1972 года. Нас всех, остатки сектора – Борю Юдина, Юрия Алексеевича Гастева, Стрельцова, Левинсона, Марину Ковалеву из отдела Кона, загнали на овощную базу, недели на три. В Подмосковье горели торфяники, в Москве висел смог.

Мы тогда выгружали лук из железных вагонов, который гнил от жары, запах... Это было драматическое время, попытка как-то удержаться, пристроиться всем вместе, опять собраться. Но это явно не получалось. Правда, через какое-то время восстановился и начал работать семинар. Это происходило в самых разных местах: вначале в ЦЭМИ на Марононовском, потом был Институт географии, позже ГИПРОТе-

атр на Суворовском бульваре – в очень разных местах это было.

Я хотел заниматься и занимался Вебером и немецкой понимающей социологией. Я писал по нему диссертацию, меня тогда это больше всего занимало. С помощью Левады – он меня порекомендовал Ракитову – я в апреле 1973 года ушел в ИНИОН. Это было очень хорошее место, потому что там был доступ к литературе, и можно было много читать.

Я как раз и был редактором и РЖ, и реферативных сборников. Я считаю, что там мы с Мариной Ковалевой сделали очень хороший для того времени сборник по социологии высшего образования, который, как мне кажется, сохранил свою полезность и ценность до сих пор. Моя работа в ИНИОНе была совсем не худшим вариантом, но все-таки это была неполная замена. Но потом, пришлось и оттуда уйти. Ракитов, уже незадолго до защиты диссертации, потребовал, чтобы я ушел из ИНИОНа. Не нравились ему мои контакты. Не нравились материалы, которые я заказывал для реферирования и прочее. И тогда, опять-таки с подачи Левады и по рекомендации Шляпентоха, я перешел в Ленинскую библиотеку к Валерии Дмитриевне Стельмах, в Отдел социологии книги и чтения. Здесь я и познакомился с Борисом Дубиным.

Там материал был очень любопытный, и я подумал: если нет возможности непосредственно заниматься исследованиями, то почему нельзя через литературу прощупать то, что происходит в обществе. Но для этого надо было самим разработать некую социологическую теорию, попытаться понять, как можно через литературу говорить о социальных процессах. То есть нам было интересно, как представлено социальное явление в литературе. И тогда мы засели за западную социологию. Сделали библиографический указатель, которым я, честно говоря, горжусь до сих пор.

Ну, и плюс семинар, где начали обсуждать эту тему, как можно говорить о социальных проблемах в литературе. Нужна была теория перевода, нужно было посмотреть, как в

литературной технике, в сюжете представлены те или иные социальные проблемы. В общем, нужно было заняться литературой как институтом, ее социальной организацией.

Очень было интересно влезать уже в само содержание литературных вещей: что стоит за формами времени в литературе, за описанием пространства, за типами героев, повествователя и прочее. Ну, а попутно, конечно, влезли и в теорию социологии, и в возможности изучения: что дает контент-анализ, что дает тематический анализ литературы. Короче, это была довольно живая и интересная работа, которая, по моему, так и не была воспринята. Честно скажу, что это была продуктивная и очень богатая по своим возможностям работа. А тогда и публиковаться-то нормально нельзя было. Весь этот указатель появился без громадного теоретического предисловия, которое нами было написано. Вышла только сама библиография, да и то объем сборника сократили на треть. То есть и это-то получилось урезанное и куцее. Но, тем не менее, мы много чего там и накопили, и напридумывали.

А для меня что было самое интересное? – Я тогда начал заниматься проблемой смыслообразования. То есть тем, как возникает смысл, что такое понимание и где его границы, что такое смысл вообще? Как люди коммуницируют, какие смыслы бывают, какие типы, какие возможности понимания? Это веберовская проблематика отчасти, это понимающая социология культуры. А уже оттуда я влез (и утонул там очень надолго) в такую вещь, как проблематика метафоры. Нужно было решить одну очень важную задачу: как перевести «образы» в структуры действия. Для этого нужно было разобраться, что такое «визуальность», каковы ее семантические аналоги и эквиваленты. А это потребовало обращения к гуссерлевской феноменологии и проблематике эвидентности – «очевидности», ясности, то есть их значений не только в процедурах понимания и актах воспроизводства смысла, но и семантике действия разного рода, сложного действия. Другими словами, метафора как проблема рациональности и,

прежде всего, как проблема смыслообразования. Я ушел туда на семь лет, сидел и постепенно писал эту свою метафору. Без ложной скромности скажу, что получилась хорошая книжка, пожалуй, самая сложная из всего, что я писал. Хорошая работа получилась – я ею внутренне доволен, мне не стыдно за нее.

Ну, а дальше что? Дальше постоянно работал семинар Левады, и я был его секретарем и хранителем всей памяти. И очень любопытная вещь: до момента образования ВЦИОМа я действительно помнил каждый день, помнил всех, кто был, кто когда выступал. А это 300 заседаний все-таки. Но как только я перешел во ВЦИОМ, и необходимость держать всю информацию в голове отпала, это немедленно ушло.

Была еще одна любопытная вещь. Это наш внутренний домашний семинар для узкого круга. Там обсуждались разные проблемы: проблемы тоталитаризма, бюрократии, национализма, перспектив советской системы и всякого рода такие проблемы. Но это был совсем узкий домашний семинар. То есть работа шла, и человеческие отношения сохранялись, что для меня было, пожалуй, самым главным. А когда Татьяна Ивановна Заславская предложила Леваде работу во ВЦИОМе, то он в качестве условия поставил возвращение своих сотрудников. И это была совершенно фантастическая вещь, потому что никто уже не надеялся на это. И вдруг с Перестройкой появилась возможность работать вместе.

Никто из нас не имел опыта эмпирических исследований. Но когда мы собрались вместе, всё решила сама возможность совершенно новой работы, и жадность к новому материалу, и возможность влезать в совершенно новые проблемы.

Надо было работать. Если до этого момента ты мог учиться, накапливать, то здесь надо было заниматься конкретным делом. Новые явления, новые вещи, новые способы работы – это все с самого начала требовало совершенно других приемов, я бы даже сказал, другого типа мышления. Меня Левада тут же посадил на национальные проблемы, кото-

рыми я, честно сказать, не хотел заниматься. Но раз Левада сказал, значит, надо делать.

Он сказал идти в аспирантуру – значит, надо в аспирантуру; сказал докторскую защищать – значит, надо докторскую защищать. Для меня это не было проблемой, надо или не надо.

Тогда мы впервые начали ставить вопрос о доверии КПСС, вы представляете себе, что это такое было в то время? Мы с Левадой даже тогда маленькую статейку написали в «Огонек». Для нас все было совершенно внове. В отличие от Бориса Андреевича*, который знал, как Гэллап работает, мы этого не знали. И в этом смысле мы были совершенно свободны. Мы не знали, что нельзя задавать такие вопросы. Но потом оказалось, что все это работает.

Уже в конце 1988 года мы запустили наш первый большой опрос: «Новый год», то есть «Итоги года». Соответственно, мы уже начали измерять процесс.

И параллельно мы запустили проект «Советский человек». С советским человеком возиться очень много пришлось. С самого начала это была идея Левады, его замысел. И мы очень долго не понимали глубины этого замысла и всей его сложности.

Левада к этому времени уже все-таки написал несколько фундаментальных работ в виде статей: по антропологии у Маркса у него была статья, по экономической антропологии, и, главное, по игре. Вот игра – это совершенно особая и очень глубокая вещь. Левада выходил на одну очень интересную идею «игрового согласования» разных институциональных и групповых правил или разных пластов культуры. Явно рассыпались центральные институты, которые удерживали систему. Структура власти посыпалась. Но в то же время существовали факторы, которые блокировали этот распад.

Это было видно тогда. И самым главным здесь был тот

* Б.А. Грушина.

тип человека, которого сформировала тоталитарная советская система. Он удерживал ее в условиях кризиса и распада, обрушения центрального тогда института – института власти. Всю сложность и глубину проблемы, конечно, тогда мало кто из нас понимал. Я только сейчас, как мне кажется, начинаю осознавать всю сложность этого замысла. Но Левада думал, что этот тип человека закончится вместе с СССР.

Сначала он так и считал, что это – уходящая натура, что с крахом институциональной системы уйдет и этот человек. Или, точнее, что невозможность воспроизводства этого человека будет означать крах системы. Потом, и довольно скоро, оказалось, что и система не так сильно обрушилась – она обладает способностью регенерации, и, что самое главное, воспроизводится этот человек.

С модификациями и прочее. Психологически было довольно трудно признать, что этот тип человека воспроизводится. Когда пошли вторые и третьи замеры, стало ясно, что в каких-то ценностных основаниях, в глубинных структурах человек воспроизводится практически без изменений. То есть механизмы социализации, механизмы конституции этого человека, они не затронуты. И этот человек воспроизводится до сих пор. Мы сегодня точно это можем сказать, поскольку за двадцать с лишним лет произошла смена поколения. И наши первоначальные надежды на то, что с распадом советской институциональной системы эти механизмы перестанут работать, и с нового поколения что-то изменится, эти надежды не оправдались.

Мы разбирали конструкцию этого человека: зависимого, иерархического, неуниверсалистского, цинического. Человека, который вышел из эпохи насилия и обжился с этим насилием. Он привык, он другого не знает и не может себе даже представить. Это человек без ценностей (как особых регулятивных механизмов), без элементов идеализма, внутренне очень фрустрированный, агрессивный, и тем самым работающий на понижение, апатичный и астеничный. Вот этот

тип человека воспроизводится. Вообще говоря, не всякая линия развития дает повышение качества.

Во всяком случае, всё это было в высшей степени важно и интересно. Но очень трудно, если сказать честно. Потому что все западные теории, которые мы тогда могли схватить, не работали. Они не описывали здешнюю ситуацию, не схватывали, потому что конструкция человека, лежащая в их основе, была совершенно другой. Вся западная социология была построена на других моделях человека, гораздо более простых. А здесь основной задачей было не просто определенный тип действия вытянуть и с его помощью объяснять конструкцию человека. Но прежде всего показать, как этот партикуляристский, лукавый, несвободный человек соединяет разные плоскости существования. А для этого нужны были другие теоретические средства. Это очень сложно.

Чтобы было немножко понятнее, нужно сказать вот что. Человек экономический весь построен на целерациональном действии. И рациональность здесь довольно простая: цель – средства – учет последствий целедостижения. Смысл и ценности как элементы мотивации действия заданы устойчивыми и исторически определенными, дифференцированными институтами. Они – вне этого действия. На этом строится вся нынешняя теория рациональности. Но в нашем случае нет дифференцированных институтов с однозначным функциональным назначением, поскольку это институты распадающейся тоталитарной системы.

Не работает модель человека традиционного, потому что здесь разрушены традиции. Прежде всего, имеет значение, как сам человек связывает то, что для него важно, то есть самые разные правила. И это означает, что человек постоянно переинтерпретирует реальность в собственных категориях. Это принцип метафоры – или игры, как у Левады.

В строгом смысле слова – это веберовская проблематика. Вебер выдвинул очень важную для социологии идею, тоже не воспринятую. Она заключается в том, что нет единой мо-

дели рациональности, а есть много рациональностей. И формула рациональности – это взаимодействие, всегда синтез идей и интересов. То есть – как разворачиваются идеи под воздействием тех или иных интересов: социального положения, экономических интересов и так далее. У него социология представлена в виде такого апельсина, если хотите: здесь разные предметные плоскости разворачиваются под одним теоретическим интересом или внутренним заданием. Разбирая, как связаны те или иные религиозные представления с социальным положением и с типом экономики, он делает такое наблюдение: где рациональность внутренне блокируется, происходит аборт развития, а где нет, напротив, возникает мощное ускорение. Как на Западе, где институты это подхватывают. Ну, и соответственно возникают разные типы личности.

Вот эту задачу и здесь надо было прописать. Потому что советский человек – человек беспринципный: всякую мораль здесь выжгли. Поэтому он обладает особой пластичностью, способностью мимикрировать, адаптироваться, приспособляться и выживать. Выживать, в том числе, и за счет снижения собственных запросов, собственных представлений о себе. Поэтому цинизм – это функция такого устройства человека. Это не случайная вещь, и это не просто усталость от волны энтузиазма, надежд и прочее. Это – внутреннее устройство человека, принявшего насилие как собственную сущностную характеристику.

Левада, правда, говорил, что всегда выбор есть. Здесь все-таки никакого детерминизма нет. Человек – это существо, основанное на самосбывающемся пророчестве. Что он себе напроорочит, то, в конце концов, и реализуется. Если он руководствуется определенными ценностями, то они меняют мир. В этом смысле ничего тут предзаданного нет.

<...> Всякие попытки детерминизма Левада пресекал. Он ведь никогда не дирижировал. И вообще, Левада был довольно сдержан в оценках, но создавал такую атмосферу, в

которой тебе самому хотелось соответствовать его представлению о должном. Тому представлению, которым он сам руководствовался.

Наши опросы не просто материал. Понимаете, ведь это еще – и прежде всего – то, что создал Левада. Мое отношение к Леваде особое: я никогда не видел такого умного человека. Это поразительно умный человек.

У него перенасыщенный раствор в статьях. Когда я перечитываю каждую статью, я поражаюсь. Я ведь все его статьи как редактор нашего журнала прочитывал, в каждом номере журнала шла его статья, и, казалось бы... Но когда начинаешь перечитывать, находишь так много новых разворотов.

Ведь в чем особенность этой работы? Это не просто накопление материала, но выработка другого языка для его интерпретации. Это особенность не только самого Левады, но и особенность нашей коллективной работы, конечно, заданной Левадой. Его анализ всегда был нацелен на выявление многомерности явлений, взаимодействия разных смысловых пластов, он всегда предполагал большую историческую глубину соотнесения настоящего. А нынешняя социология стремится к инструментальной одномерности. Скажем, как увидеть за этническими самохарактеристиками специфику институциональной структуры общества? Понимаете, это – сложная задача, она в социологии не очень решена. Это скорее тот навык, который мы отработывали на литературе. Мы пытались увидеть в семантических характеристиках нормы социального взаимодействия, новые социальные механизмы. Например, «простота», которая является базовым самоопределением русских, на самом деле есть характеристика институциональной и культурной недифференцированности, иерархического имперского устройства. Это бескачественность, неразвитость общества. И в этом смысле имеет место ориентация на «простоту», то есть на уничтожение разнообразия, уничтожение сложного, элитного, если хотите.

Такого рода задачи не ставились, а в ходе наших пропра-

боток приходилось постоянно решать такие проблемы. И Левада это делал. Его теоретические разработки включены как в систему описания нового материала, так и в систему его интерпретации. Например, его мысль о разных фазах или разных режимах существования общества – экстраординарном и спокойном, – чрезвычайно интересная и многообещающая. Перестройку он описывает не как революцию и не как разлом, а как некое возбужденное состояние той же системы. Знак меняется, а структура остается прежней. Потом начинается рутинизация, и вы как бы тот же самый народ, но только в другом состоянии. Народ, жаждущий сильной руки, ксенофобский и все такое прочее. Но это – тот же самый человек.

Вот такие вещи в социологии никто не поднимал, потому что социология не занималась тоталитарными системами вообще, и человеком особенно. А это совершенно другие состояния, совершенно другие явления. Это немножко социальная психология прихватывала, но социология этим не занималась. У нее нет инструмента для этого. Та социология, которая сегодня есть, она скучна, она работает на готовых, «охлажденных» формах. Они для нее более привычны. А вот такой материал, конечно, социологи не брали. *А мы брали!*

Это очень интересно, и это только начало работы. Конечно, мы в некотором смысле молодцы, что начали это делать, но это все еще очень сыро, наспех. И если все это будет подхвачено, то, конечно, из этого что-то может выйти приличное. А если – нет, то все так и останется эпигонской болтологией или обычным нудежом.

Когда Левада ушел, «стали слышны наши голоса, как говорится в стихах. Левада, конечно, задавал очень высокую норму отношений, и не все с этим справлялись, включая меня, если говорить честно. Кто-то почувствовал себя немножко свободнее без этого морального авторитета, кто-то, наоборот, скукожился – люди по-разному реагировали на эту ситуацию. Ну, что об этом говорить.

Если всерьез говорить, то мы не ученики Левады. Не ученики. Я не думаю, что Левада создал школу в теоретическом и научном смысле этого слова. Это на самом деле довольно тяжелые проблемы, об этом непросто говорить. Вообще-то, если говорить по-настоящему, Левада терял людей. Несмотря на всю любовь и уважение друг к другу, все-таки он терял людей. И мало кто последовал за ним из тех, кто когда-либо собирались вокруг него, или был способен работать так, как он ждал. Он ждал от нас все-таки большего.

И он на нас, мягко говоря, с некоторым сожалением смотрел. Это, наверное, нормально, я трезво на это смотрю. Он внутренне суровый и беспощадный к себе человек. И всегда иронически относился ко всякой попытке плакаться на жизнь или слишком серьезно относиться к себе, носить свой маленький бюстик в кармане и ставить его перед собой. Мне кажется, что он даже мягче относился к научному чириканию, считая это, в общем-то, простительным, поэтому соответствовать тому, что он считал важным и должным, мало кто может. Для меня это одна из причин таких тяжелых мыслей и переживаний. Удержать то, что было с ним, трудно. А для молодежи это сейчас и не очень понятно. Не думаю, что это воспроизводится. Посмотрите, много ли осталось из первого набора левадовского круга. Самый талантливый – Эдик Зильберман – уехал и погиб. Остальные тоже немножко разбредлись.

Я не думаю, что можно говорить о школе как о единстве теоретической работы. Скорее это психологическая или человеческая атмосфера, которая складывалась у него, и она едва ли удержится.

Polit.ru
5 мая 2010

КАМЕРТОН И ГЕНЕРАТОР*

<...> Я познакомился с Левадой в 1966-м году, будучи 22 лет от роду. То есть я не просто с ним познакомился – он меня принял в только что созданный сектор теории и методологии Отдела конкретных социальных исследований Института философии Академии наук СССР. Тогда это так называлось. Это был первый коллектив, который Левада возглавил: до этого он, по-моему, никогда никем не руководил. В некотором смысле этот коллектив существует до сих пор. Его состав, конечно, менялся, но постепенно образовался костяк, который представляет собой ядро нынешнего «Левада-Центра». Таким образом, на протяжении сорока лет длилось не просто мое с ним знакомство, а длилось существование одного коллектива, объединенного, разумеется, Левадой – как человеком, как ученым, как своего рода организатором.

Мне довелось при жизни Левады опубликовать статью, которую я назвал «Феномен Л». Я хотел в ней описать феномен, которым являлся, на мой взгляд, Юрий Левада, и который далеко выходит за пределы какой-то удивительной личности или человека особенных качеств. Я попытался это сделать так, как это, казалось, должен сделать социолог. Я очень доволен, что Левада ее видел и не возразил против ее публикации. Это очень много, скажу прямо.

Я ему дал прочесть, он сделал замечания по поводу одной фактической ошибки, а более не сказал ничего. Я не назову это одобрением, но это было согласием. Левада выразил согласие со сделанными там утверждениями. Я пытался в этой статье показать – думаю, что это важно и сейчас, – что феномен Левады очень особенного свойства, и он напрямую свя-

* По материалам Polit.ru. Цикл бесед «Взрослые люди». Автор Любовь Борусяк. Публикуется с сокращением.

зан с тем временем, в котором разворачивалось это существование. Суть этого феномена в том, что Левада в обществе занял крайне редко занимаемую позицию. Сейчас я скажу, какую именно, но сначала хочу сказать о предпосылках, которые к этому располагали.

Левада пришел на философский факультет МГУ провинциальным мальчиком, школьником из Винницы, отличником. Он поступил на философский факультет, куда в это время, как впоследствии выяснилось, пришла плеяда людей с очень большими потенциями. Рядом с ним учились Мераб Мамардашвили, Александр Зиновьев, Борис Грушин, если я не ошибаюсь, Александр Пятигорский, Эрик Юдин. В общем, это люди, за каждым из которых стоит либо созданная ими школа, либо направление, либо какая-то слава, порой мировая. Это были люди, которые в каком-то смысле были связаны с феноменом победы в Великой Отечественной войне. Я хочу указать на то, что эту победу – об этом писал Гроссман, – одержал народ, вышедший на уровень некоторой свободы. Мало об этом говорят и думают. Но так была одержана и победа в войне 1812-го года – там декабристы получили какой-то импульс.

Победители привезли свободу. Здесь дело не только в том, что советская армия побывала в Европе, я говорю о другом. Армия, когда она понесла все потери, в некотором роде стала таким самоуправляющимся организмом. Я не военный человек, я не занимался историей армии, но кое-какие признаки говорят именно об этом. Похоже, что в Советский Союз пришло, вышло на социальную поверхность поколение относительно свободных людей. Они уцелели в репрессиях предыдущих лет, они уцелели в войне.

Недаром эти несколько поколений в 60-е годы сумели извлечь что-то из политической оттепели. И очень многое, если посмотреть, сколько за это время было написано, сколько было сделано за немногие годы. Я хочу сказать, что в этом смысле шестидесятничество начиналось тогда, и Левада был

его участником. В 1966 году только-только кончилась оттепель, она медленно затухала. Сама институция, где можно было изучать социологию, была, конечно, создана потому, что социология в оттепель была освобождена от шестигранника, от грифа, который автоматически отправлял все эти книги в спецхран. Социология была также освобождена от других, в том числе политических, обвинений – в значительной степени, но не до конца.

Левада среди шестидесятников являлся в значительной степени уникальной фигурой, и вот по каким причинам. Он, с одной стороны, не был «стайным» человеком. Безусловно, Левада принадлежал к поколению, принадлежал обществу, но он говорил про себя: «Я – одинокий волк». И это правда – он был одинок. Не потому, что он не мог ужиться с людьми, а по причинам, существенно более глубоким. В каком-то смысле он взял на себя миссию, которую нельзя выполнять сообща, хором. Хотя я не противоречу себе, когда говорю, что он собрал вокруг себя коллектив. Он с коллективом, и он для коллектива делали одно, но сам Левада, как персона, делал нечто другое. Поэтому его жизнь есть событие автономное от сектора Левады, лекций Левады, семинара Левады, общероссийской, общесоветской и общеевропейской славы Левады, от почтения, которое к нему существовало.

В чем состоит эта миссия? Крайне сложно об этом говорить, потому что прецедентов и параллелей много. Я назвал одну из статей, уже посмертно опубликованных, словами известной пословицы «Не стоит село без праведника». Я только хочу объяснить, что праведником Левада был в очень таком серьезном смысле слова: он был держателем правды для очень многих людей. Ведь России праведник, может быть, нужен и не был, главное, что он нужен был тому селу, которое он держит. Определенным образом держит. Он держит что? – Он держит норму. В случае с Левадой эта норма порядочности, научной этики, норма ясного различения добра и зла. Это очень незаурядная способность – различать добро и

зло, чтобы сразу стало ясно. Я бы добавил еще: различать важное и неважное. Это тоже не очень частая способность. Я знаю очень немного людей, которые способны так судить о том, что делать в повседневных вещах, и что делать в жизни, будучи человеком.

Оттого, что Левада именно в этом качестве выступил, он оказался в очень странной позиции. Можно перечислять странности, связанные с ним, в большом количестве. Ну, например. Меня и многих моих товарищей, кто по возрасту были младше Левады, называли учениками Левады. Никто из нас уж точно не был его учеником. Я три года формально был его аспирантом, хотя он отказался от руководства в пользу Леонида Александровича Седова. Но дело не в этом. Я учился у него, но я не могу сказать про себя, что я – ученик Левады, что он создал школу, и вот я в этой школе Левады. Так не могут сказать ни Дубин, ни Гудков.

Они сделали очень много для развития идей Левады. Чем дальше от его кончины, тем глубже происходит проникновение в его научное наследие, которое, по моему убеждению, не освоено, хотя сводится, быть может, к четырем-пяти статьям. Но это такие статьи, которые весят очень много.

Так вот, я не ученик Левады – раз. У Левады не было школы – два. Левада – ученый, но фактически у него не было монографий. Его последняя книга, которая отвечает всем требованиям книги, это «Социология религии» – она вышла в 1965-м, если я не ошибаюсь, году. После этого все, что является толстыми книжками с его фамилией на обложке, это коллективные монографии или подборки его статей.

Что, он не мог написать книгу? Наверное, он не считал это нужным, а были вещи, которые он считал нужными. Вот «Мониторинг общественного мнения» (далее «Вестник общественного мнения»), главным редактором которого он стал, это издание, которое выходило с его большой статьей в каждый номер. Каждый номер! И каждая статья построена на анализе данных опросов. Это не колонка редактора, которая

пишется перед сдачей номера в набор: быстренько и что-нибудь такое симпатичное. Это – анализ происходящего в стране. Не я придумал эти слова, но мониторинг общественного мнения или политической и социальной ситуации в стране Левада всегда осуществлял сам. Он действительно был «одиноким волк», он писал сам. Во всех смыслах этого слова.

Он сам работал с исходными данными, сам пользовался программным обеспечением, которое было поставлено на его компьютер. Он мог бы заказать обсчет табличек – рядом с ним было достаточно людей, которые могли это сделать. Он делал это сам. Ну, как он сам ходил пешком. Кроме самых последних лет, когда его ноги уже не могли ходить, он не пользовался персональным автомобилем. Когда он пришел во ВЦИОМ, здесь было, по-моему, шесть персональных автомобилей. Он не ездил ни на одном. Не только потому, что он не мог себе представить, что кто-то ему услужает. Возможно, это были его бытовые привычки, дело не в этом. Он работал с таблицами так, как он считал нужным, и в этом смысле он придумывал свои способы анализа. Он не был математиком, он не знал матстатистику так, как полагается социологу. Этому учат социологов на всяких ныне расплодившихся факультетах. Он этого не знал, он считал в пределах четырех действий арифметики, но это был анализ, который стоил многого другого.

Вслед за ним могу сказать, что я не очень высокого мнения о всяких математических методах. У специалиста до того, как он обратился к счетным процедурам должно быть понимание процессов. Без понимания процессов сами эти инструменты ничего не способны дать. Или, наоборот, способны увести людей в какие-то сущности, которые они породили, не контролируя этот процесс. Левада прекрасно понимал, что он делает, и о чем говорят данные наших опросов.

Он не был ученым с книгой, он не был ученым со школой. И, вообще говоря, был ли он ученым, это – серьезный

вопрос, потому что он занимался деятельностью, которая мало похожа на обычную деятельность ученого. Он жил той жизнью, которой жил. Я говорю о периоде, когда начал работать Левада во ВЦИОМе, далее ВЦИОМ-А и Левада-Центре. Я бы так сказал: Левада был ученым несколько раз в жизни. В период, когда я его не знал, тогда он делал свою диссертацию о форме народной демократии в Китае. Хотя, вообще говоря, она сделана на полевом материале, который он собирал в Китае. Он был ученым, конечно, когда он писал свою докторскую по социальной природе религии – тут он был выдающимся ученым. И тут можно сказать, что он совершил прорыв для нашей науки, потому что по сути дела впервые ввел в оборот категорию культуры.

Если почитать книжку «Социальная природа религии», там совершен переход от марксовской идеи религиозного удвоения мира к дюркгеймовской идее коллективных представлений и дальше к идее культуры, к которой Дюркгейм подошел вплотную. Только Левада не называет это таким словом. Это было время кибернетических метафор – «управляющие системы» и прочее. Далее он выступил со статьей «Сознание и управление в общественных процессах». Это была первая опубликованная в периодической печати статья, говорящая о приходе новой парадигмы. Надо сказать, что я познакомился с Левадой через эту статью. Мой отец, светлая ему память, принес мне эту статью, тогда я и увидел фамилию Левады. Поэтому еще студентом я пошел к этому человеку и попросился на практику – это произошло в 66-м году. Тогда я шел именно к ученому.

Далее. Левада в нашем кругу выполнял роль учено-организатора. Он мобилизовал множество людей на быстрое освоение социологического знания. Это в каком-то смысле научно-организаторская деятельность. Он организовал процесс переноса достижений мировой социологии сюда. Далее он выступил на лекциях по социологии, которые читал на журфаке МГУ. Он выступил в качестве человека, который

сказал: «Смотрите, как можно видеть мир вокруг нас». Тот, известный нам мир, в котором происходит то, что происходило в Советском Союзе в 1967-м, 68-м, 69-м годах.

Феноменальный успех этих лекций, на которые публика в буквальном смысле ломилась и сидела в «Зоологической аудитории» на ступенях лестницы, был связан не с тем, что кто-то излагал какую-то научную теорию. Никакая теория не собрала бы такую публику. И не с тем, что Левада говорил там особо крамольные речи, хотя в дальнейшем ему было вменено примерно это. Успех объяснялся тем, что он предложил публике, я бы сказал, смотреть открытыми глазами, глазами свободного человека. Левада был свободным человеком – вот одно из его главных свойств. Но это был не просто человек, который не боится политической полиции, это был человек, которому свободу дала, как теперь выражаются, оптика социологии, то есть представления об обществе.

Вряд ли можно вообще понимать жизнь сердцем. Левада понимал жизнь потому, что в социологии, которую он знал, он нашел инструменты для понимания жизни. Он их предложил людям. Причем, он сразу предлагал инструменты в работе: он показывал не бинокль, а что видно через бинокль, не телескоп, а что видно через телескоп. Он показывал панораму жизни через не очень хитрые вещи. Если сейчас почитать эти лекции, там не будет чего-то такого, чего нынешний обыватель совсем не знает. Нынешний обыватель уже примерно все это слышал. Ну, группы, роли, теория личности, еще что-то такое...

Что за этими словами, зачем нужно знать эти слова, это действительно очень мало, кто знает. Я встречаюсь со студентами, которые эти слова все выучили, но они думают, что они выучили их. Ну, как сопротивление материалов, что ли. Им не нужно это в повседневной жизни, а только, когда они будут что-то делать, так сказать, в лаборатории. А что это нужно для того, чтобы видеть жизнь, это им не очень понятно.

Так вот. Напрямую это тоже не деятельность ученого. Но Левада и не популяризатор, это совсем другое. Я хочу сказать, что он миссию имел другую. Кроме оптики, которую он предложил, кроме того, что с помощью этой оптики видно, он еще предложил нравственную позицию. Позицию порядочного человека, который смотрит на происходящее вокруг и публично заявляет о том, что он видит. Это было, как выясняется, необычайно драгоценно для людей и очень опасно для целого ряда групп, элит – в общем, для тех, кто на него первый раз спустил собак. Левада оказался не угоден ни одному из политических режимов, которые существовали, по крайней мере, с 60-х годов до нынешних.

За полвека сменилось многое, сменились эти режимы, и были они всякими. Путинский режим себя резко противопоставляет горбачевскому или ельцинскому. Но в чем они совпадали? Горбачев остался недоволен Левадой в какой-то момент.

Ельцин позвал Леваду в свой президентский совет, но Левада сходил туда только один раз.

Это было точно не для него. Тогда президентский совет собирали из людей, которые всем известны. Это вот известный человек? Да. Ну, давай его сюда. И вот такая орава там собралась. Левада пришел, понял, что люди, собранные по такому признаку ничего не смогут сделать.

Их объединяет то, что они у трона. Это была уж точно не его позиция, последнее место, где он мог себя представить. Я помню разговор с ним, когда он пришел с этого собрания. Он сказал с некоторым удивлением, что от Ельцина исходит определенная энергия. Он не любил слова «харизма». Я говорю это не к тому, что он аргенті презирал всех начальников за то, что они начальники. Но мысль, что он – начальник, а мы ему будем служить, не могла в этой голове поместиться.

Левада был феноменален не только в том, что он удержал около себя такой набор близких ему людей, к которым отношу себя и моих коллег, ныне работающих со мной. Кстати, и

не работающих тоже. Даже сравнительно неблизкий круг оказывался под сильнейшим влиянием Левады. Я за этим процессом наблюдал на протяжении многих лет.

Предположим, что ВЦИОМ, когда его создавала Татьяна Ивановна Заславская и покойный Борис Андреевич Грушин, формировался из людей энтузиастических. Он был точкой сбора неких настроений. Неправильно называть их оппозиционными, но можно сказать, что это было дуновение свободы. Предположим, что соответствующие люди там собрались. Через некоторое время за счет обмена кадрами, за счет рутинизации процесса ВЦИОМ превратился в довольно заурядное учреждение. Правда, некоторые люди все-таки выражали изумление нравами, которые царили там. Нравами абсолютной, в их понимании, свободы. Помню, меня спросил один человек: «Скажите, а у вас доступ к Леваде есть?» Я смеялся. Я тогда подумал, что, наверное, действительно нужно было бы записаться у секретаря или что-нибудь в этом роде. Когда у него появился кабинет, Левада очень не любил сидеть там, он сидел в отделе, который когда-то возглавлял. Потом он стал отделом Гудкова. Вот там он чувствовал себя на месте. А если нужно было уходить в кабинет, он говорил: «Ну, я пошел в свою берлогу».

Я хочу сказать, что я наблюдал за процессом. На многих людях я наблюдал, как это дело происходит. Приходили люди, такие, какие они есть, – далеко не все люди заслуживают названия «хороший человек». В присутствии Левады, находясь в его поле, эти люди на время становились хорошими людьми. Это удивительно. А некоторые остались и после, когда уже Левады не стало. Это такое поле, внутри которого не то чтобы человек исправлялся, но... Я скажу, может быть, очень пошлые слова, что в каждом есть некая хорошая сторона. Сделать так, чтобы люди были повернуты друг к другу только хорошими сторонами, мог только он. То, что в них есть дурного, оно, наверное, при них и оставалось – это то, что у них за спинами, то, что достается семьям или другим

партнерам по общению, но только не внутри этого круга. И это действовало невероятно. Это сфера такого озона, ее чувствовали очень многие проходящие. Они как-то так озирались и говорили, что-то здесь другое.

Если кому нужны подтверждения, то вот известный факт. Когда ВЦИОМ был подвергнут так называемой процедуре приватизации – а на самом деле процедуре исторжения Левады, потому что он в очередной раз мешал власти, – Левада вынужден был уйти на «запасной аэродром» под названием ВЦИОМ-А. За ним из 82 человек, числящихся в штатном расписании, ушел 81 человек. Это документировано. Эти люди все ушли поодиночке. Это не было коллективное действие – никто ничего не подписывал, никто специально не обращался к этим людям. Ушли практически все, даже те, которые не обязаны были разделять ничего из его принципов. Ушли люди, работавшие в бухгалтерии, в хозяйственном отделе и так далее. Эти, впрочем, как и я, заурядные люди, которые в этих обстоятельствах оказываются незаурядными. Они, конечно, все поступили незаурядно. Эти люди здесь, я думаю, часть из них будет видеть эту запись. Я выражал им свое почтение за это и выражаю его сейчас. Это, если угодно, гражданский поступок. Потому что люди не просто ушли за хорошим начальником.

Потому что, какой умысел был у инициаторов всей этой шутки? Вот есть работающая контора – с именем, с брендом, возможностями. Но есть там крайне неугодный директор, упертый какой-то директор, которому нельзя посоветовать что-то там сделать. Это без всякого толку. Советовали ему, советовали, а он вот никак. Они думали, что сейчас его снимут с помощью этой процедуры приватизации, потому что по закону директор должен уйти, а остальным кинут маненечко денег, и машина будет работать, все будет хорошо.

Я разговаривал с людьми, которые были инициаторами, с одним из них. Это был очень смешной разговор. Выступая от лица достаточно могущественной организации, он говорил:

«Ну, Юрий Александрович неправ. Мы ему сказали, что ему надо на пенсию. А он не пошел, он неправ». Он не понимал, этот молодой человек, как это может быть, что «мы ему сказали», а он не сделал. Он даже как бы не имел сил возмутиться – он просто не понимал, как это можно; для него был нарушен какой-то генеральный порядок вещей.

«Мы сказали», а он послал этих лиц, которые к нему приезжали, я помню это. Левада мог быть очень жестким, очень жестким. Помню его как бы одутловатое лицо, на котором добрая улыбка, но если требовалось, там такая жесткость была...

Я сталкивался с этим не так, не когда это было по отношению ко мне. Но в связи с этим расскажу один важный эпизод – он относится, наверное, к концу 70-х годов. Я написал об этом. Я могу назвать имена, потому что речь идет об истории с Владимиром Микуловичем Долгим, который сам часть этой истории, и рассказал о ней в своем интервью. Речь шла о ситуации, когда Владимир Долгий, товарищ Левады и мой товарищ на этот момент, был привлечен в качестве свидетеля по одному из политических дел того времени; и было очень вероятно, что он из статуса свидетеля перейдет в статус обвиняемого. Такое часто бывало. Все было на грани этого. Дело было сложным, там было много участников. Стало известно, что много людей было или арестовано, или их вызвали в КГБ. Короче говоря, ясно, что от этого процесса пошли нитки в другие стороны, то есть кто-то этих людей сдал. Скажем так на нынешнем языке. И в московских кругах, которые весьма трепетно следили за происходящим, появилась версия, что это сделал Долгий. Тем более из его собственных признаний можно было узнать, что он действительно когда-то был осведомителем КГБ, о чем он рассказал, и о чем в Москве знали, да и он не скрывал этого в то время. Услышав, что такое произошло, я Леваде передал этот слух. Левада сказал: «Не может быть». Ну, как не может быть? Человек находился под таким прессингом, на Володю давили очень

крепко. Это не были пытки, он не был лишен свободы, но ведь допросы в КГБ – это для человека величайшее испытание.

Короче говоря, я сказал тогда фразу, что на людей там так давят, что все может быть. Вот тут вот я услышал от Левады слова: «Не все может быть». И вот это каменное выражение лица... Я говорю «каменное», имея в виду, что он в этот момент на секунду превратился в фигуру, я бы сказал, надчеловеческого уровня. Сказав это, он выразил норму, притом не расхожую, а другую норму. Такую норму сообщает пророк своему народу. В этом смысле он «над». Так вещают с горы.

Во-первых, через некоторое время пришло фактическое подтверждение, что Долгий не назвал ни одного имени, и в этом смысле вина не на нем абсолютно. Это доказано. Левада не знал никаких фактов, он не обладал никакой информацией. Нельзя сказать, что никто не знал, а он – знал. Он знал не это – он знал, как устроено человеческое, и почему тому, кто за 20 лет до этого доносительствовавал, здесь нужно верить. А другому лицу, которое этим никак не запятнано, в этом случае верить не следует. Дело не в том, что Левада Долгого знал хорошо, а остальные знали плохо. Левада выразил очень существенное, на мой взгляд, мнение, что «не все может быть».

Это то, что надо трактовать очень широко, это и нравственный, и методологический принцип. Он в этом смысле противоположен агностическому принципу: «Ну, мы же не знаем, а, может быть все-таки... А в Бермудском треугольнике, может быть, не действуют законы тяготения, а, может быть, после смерти люди...» – и так далее. Мы же не знаем. Левада этим лишал себя и лишал всех, кто готов был бы слушать его, такого убежища. Возможности подумать, что...

Человек слаб, и мир непознаваем. Для Левады мир был познаваем, потому что, как я сказал раньше, Левада различал добро и зло. Мир он не считал добрым. Более того, я записал его слова из гарвардского интервью. Там он сказал об иллю-

зии, которой он лишился в 90-е годы, иллюзии, что можно жить в хорошем обществе. Это сказал социолог, человек для которого общество и есть главный предмет его изучения. Это сказал российский интеллигент, для которого идея создания хорошего общества – это и есть то, ради чего, наверное, стоит жить. Это то, за что отдали жизни... дальше можно не говорить.

Левада сам себе сказал: «Это иллюзия». Значит, нравственное поведение, осмысленная деятельность политического, социального деятеля, социолога должна осуществляться не в связи с надеждой, что вот еще немножко постараемся – и построим хорошее общество, но из других оснований. И эти основания не снаружи, эти основания внутри тебя, внутри того сообщества, которое рядом с тобой. И все! Этакий минимализм нравственный. Или величие, наоборот.

Вот еще что хочу сказать, Левада обладает неким, другим недоступным, нравственным камертоном. Или так: он может такой свет направить, который убирает всякие препятствия для глаз, и это знали не только люди рядом с ним. Не только люди вот этого второго круга, которые были озарены этим светом. Это знали люди, находящиеся очень далеко, люди, находящиеся на противоположных ему политических и нравственных позициях. Я не хочу сказать, что они Левады боялись, хотя, думаю, кое-кто и боялся. Он был у них в поле зрения.

Я свидетельствую, потому что я знаю, какое количество людей, встречая меня на улице, не спрашивали ни о чем другом: «Слушай, как Левада там?» Они хотели знать не как его здоровье, они хотели знать, работает ли этот генератор? Этот источник в пространстве продолжают держать? Это, опять же, функция праведника. Ведь наличие праведника, в том числе, создает для остальных возможность грешить. Но грешить, когда праведник есть, и грешить, когда праведника нет, – это совершенно разные виды поведения. Ведь что сказал любимый Левадой Давид Самойлов? Он сказал: «Нету

их, и все разрешено».

Если сказать, «мы были его семьей», «мы ему заменили детей» – это все не так. При том, что Левада возился с моими детьми, с Максимом и Кириллом. Когда они были маленькие, Левада неожиданным для меня образом пошел со мной в поход. Мы плавали на Онегу, и он плавал с нами, таскал рюкзаки и так далее. Он сделал это из своего собственного какого-то интереса, но в значительной мере потому, что на тот момент я не мог найти других спутников. А мне было очень важно туда поехать, для много чего в моей жизни. И он провел одну навигацию с нами. На Онеге до недавнего времени стоял вот такой величины столб (*показывает*), который он вколотил там, чтобы сделать нам столешницу. Я помню, как он таким камнем, как греческий герой, вбивал этот столб.

Были пиры ежегодные, по его инициативе начавшиеся и продолжавшиеся. Это все было общение, и ничем оно вроде как не отличалось от прочего. Но оказывается, оно отличалось, и роль, которую он нам назначил, она была не в отношении него. В этом смысле, чем мы были для него? – Я думаю, что мы были для него значимыми людьми. Некоторые люди были для него очень значимы, например Эдик Зильберман, с которым недолго мы вместе жили. По сути дела, это было четыре, наверное, года. Его он принял в сердце очень глубоко, и его гибель была для него трагедией. Он был очень одинокий человек, но он принимал людей в свое сердце. И когда эти люди оставляли его, это была трагедия.

Его жизнь в этом смысле более чем трагична. Я знаю не менее трех людей – при этом живых, – которые, как он считал, его предали. Ни один из них так не думает. Для него это были люди, которых он вычеркнул из жизни и с тех пор не сказал с ними ни слова.

Я не называю, разумеется, имен этих людей. Но это не то, что его бросила та или иная женщина, абсолютно не об этом я говорю. Я говорю о другом. Он терял самых близких лю-

дей. Я помню, как он потерял свою первую жену – она погибла в автокатастрофе. Они были в разводе, но, судя по всему, она оставалась внутри него. Он потерял сына, он терял людей, которые для него были близки. Они погибали тем или иным образом. Его небо испытывало так, что этого трем другим хватило бы. Он потерял любимую собаку, и это было для него очень большим испытанием. Я помню, шлейф такой траурный тянулся долго. Именно потому, что он был одиноким, ему такой партнер, как собака, был нужен очень.

Я думаю, что для него мы представляли сообщество людей, которые более или менее отвечали его представлениям о том, каким человек должен быть.

В остальном он не предъявлял людям никаких претензий, что ты – не такой, ты – не такая, просто эти люди оставались где-то там. Очень многие это чувствовали. Вот они не могли войти в какой-то круг и очень обижались. Хорошие люди обижались. Они выдумывали: ой, вы никого не берете к себе, вы себя считаете...

Мы никогда себя никем не считали; просто вообще не считали себя никем специальным. Мы были и были. Считать, что к нам никто не может войти со стороны? Нет, к нам все время приходили люди со стороны. Пришел Юра Гастев – он был принят в ту же минуту, человек, который в социологии не знал ничего, абсолютно. Человек, который что-то такое рассуждал о математике, которую никто из нас понять не мог совершенно. Он вошел – и стал родным через три недели. И с ним еще люди, ему близкие, вошли в наш круг. И все уже заварилось вместе, от самиздата до сидения за одним столом. Это не было замкнутым кругом, в который нельзя было попасть. Но можно было выпасть, это да. Раз и навсегда. Но только, когда на то были причины.

Леваде меньше всех остальных было свойственно говорить что-то там высокопарное или становиться на какие-нибудь ходули. Вот какой был Левада в научном обиходе или, по крайней мере, в том, который связан с ритуалами

науки. Семинар – это оценка того, что сказал на семинаре докладчик. Он как руководитель семинара, руководитель сектора или отдела, доктор, извините, наук, должен что-то сказать. Он отделялся, нарочито снижал, говорил на сугубо бытовом языке. Например, его знаменитое слово «штучка»: это такая «штучка», ее надо бы «расковырять».

Я не скажу, что его речь была особо образной и яркой, но она была намеренно занижающей: только давайте, не будем делать вид, что мы все здесь собрались ученые и сейчас про ученое разговариваем. Ни в коем случае. Но кто понимал эту речь, тот понимал, что вот этому выступлению цена невысокая, а вот здесь было сказано нечто, на его взгляд, серьезное. Заслужить его одобрительную оценку мне лично в жизни удавалось раза три. Его критические оценки того, что я делал, я получал гораздо чаще.

Статья, которую мы с Володей Долгим написали «Архаическая культура и город». Вернее, доклад, который мы сделали перед тем, как написать эту статью. Она была таким шагом в сторону по сравнению с тем, что тогда делалось в культурологии и урбанографии. Новый подход, или хотя бы новый для нашей, советской, науки подход она демонстрировала. Но Левада нам после доклада сказал, что смелость города не взяла. Притом что он нежно относился к Володе. И ко мне, я думаю, тоже. Он называл его Володенька, меня Лешенька – это было всегда так. А потом, много лет спустя, оказалось, то, о чем мы в своей работе говорили, как бы принято. Ну, еще я какие-то вещи писал куда-то. Вот он положительно о какой-то моей заметке, не помню куда, отозвался.

Но вообще текстов, о которых он отзывался высоко, крайне мало на белом свете. Он прочитывал какую-нибудь книгу наимоднейшего социолога, которую привезли только что из Америки, и говорил: «Скучно». Его основная оценка всего происходящего была: «Скучно». Насколько я понимаю, она формировалась таким образом. Он жадно читал, у него каждый раз были высокие ожидания. Где-то на середине или

на первой трети изложения он понимал, что к чему, это становилось его собственным. Ну, о чем там дальше говорить...

Неинтересно. Автор не виноват, так работала его машина употребления всего, что было вокруг. Поэтому вещей, которые действительно могли его удивить, было немного. И они все были не в научной, а только в нравственной сфере, в сфере политического поведения. Я прекрасно помню, как он приехал из Праги в январе 1968 года. Он рассказал про какие-то студенческие волнения: что-то там не понравилось студентам в общежитии, какие-то были нелады. Он придал этому очень большое значение.

Вообще, приезжая из заграничных командировок, он не рассказывал, что он там видел, потому что на бытовые темы он точно не распространялся, а ведь на тот момент поездки были редкостью. Он с какого-то момента начал ездить...

Я хочу сказать, что не в его заводе было сказать: вот я был на конференции и сейчас об этом расскажу. Ну, может быть, иногда кратко отзывался, но это было редко. Заграница это была, не заграница – разницы не было никакой. Он мог съездить в Новосибирск или еще куда-то в Подмосковье, и точно так же, если было чего рассказать, он рассказывал.

Так вот, приехав из Праги, он нас собрал специально, чтобы рассказать. И даже было не очень понятно зачем. Ну что такого? – Студенты забузили по поводу чего-то в общагах. Но он увидел, что из этого что-то будет дальше. Весна наступила через пять месяцев или меньше, а танки вошли еще через три, дальше поступок Яна Палаха. Было видно, что это жжет.

Он никогда не говорил высоких слов, он не занимался писанием писем, воззваний и так далее. Но я хочу сказать, что реакцию он выбирал всегда сам, и она, как правило, отличалась от реакции окружающих. А чаще всего опережала ее. Ну, вот как в случае с Чехословакией. Она опережала и в том, что он замечал, и в том, что он терял интерес к тому, что продолжало быть сенсацией.

Напоследок говорю, в 91-м году, наши души взлетали так высоко, как никогда до и никогда после. Мы не просто переживали, мы сидели и непрерывно готовили результаты опросов. Их читали через репродукторы, установленные на Белом Доме, и Левада тогда в прямом эфире выступал, то есть мы были полностью внутри этого дела. И понятно, что сердцем мы были с этим. Но прошло немного времени, и Левада сказал: «Ох, слишком легко досталось это все». Мысль его была в том, что победа, которая так легко досталась, не закрепится.

Я точно помню, что я сказал: «Юрий Александрович, ну, что вы. Ну, вы посмотрите». А там за окнами идут демонстрации, а в Верховном Совете или на съезде народных депутатов то-то и то-то... Страна стронулась, сдвинулась – и уже будущее вот оно, до него месяц. «Нет, годы», – он говорит.

Хочу закончить на том, что Левада был разочарован во многом. Он многие вещи назвал иллюзиями, но он не отступил внутренне, не предал себя, не разочаровался в себе. В том, что было тем нравственным началом, которому он служил. И свет, который, собственно, и создал феномен Левады, он с этим не расстался никак. И его смерть, которую он принял как одно из обстоятельств, и не самое важное, она ничего здесь не отменила, то есть в этом смысле ничего не угасло.

Polit.ru
21 апреля 2010

К ВОПРОСУ О ШКОЛЕ Ю.А. ЛЕВАДЫ В РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Собирая воспоминания о Юрии Александровиче я столкнулась с тем, что ближайшие его сотрудники, приобщенные к социологии именно Ю.А., взявшие его имя в качестве бренда своего Аналитического Центра, не считают себя его учениками. В этой связи небезынтересна одна история из нашей с ним жизни.

В 1957 г. я оставила работу. Семейный наш бюджет стал напряженным. И мне, сверх обычных обязанностей домохозяйки, пришлось одевать свою семейку, переделывая вещи собственного и родительского гардероба. А Юра обеспечил информационную поддержку: в доме появилась «Kobieta i Zúcie», самый полезный в моих целях женский журнал, польский. Трудоемкое чтение на незнакомом языке я совмещала с нужными младшему сынишке прогулками. На ближайшем скверике. Там журнал и привлёк внимание других женщин, жительниц окрестных домов. Привлёк внимание и пошёл по рукам.

Каждая читала, как умела. Обсуждая – понимали. Применяли на практике ценные его советы. Быстро и как-то сама собой сложилась группа приверженцев домашнего хозяйства с разными направлениями внутри неё. Кто-то вязал, кто-то шил, кто-то кулинарил. Самодеятельная группа при полной самостоятельности участников не только в использовании информации, но и в способе извлечения её из текста, и в способе взаимного общения.

Когда я рассказала об этом Юре, он отреагировал немедленно: к «Kobietę» присоединилась «Frau fon heute», на немецком. Со временем на смену им пришли чешский, болгарский, украинский журналы. На кириллице и латинице. Каждый со своей спецификой. Их любили, ждали, радовались

разнообразие советов и рецептов, собственноручному их воплощению. Полиглотами никто из нас не стал, но текст, написанный на чужом языке, понимать научились.

В 1966 г. я возобновила преподавательскую работу и отошла от проблем домоводства. Но группа жила. Жизнеспособность была присуща ей органически. Благодаря функционированию в виде обучения/самообучения, благодаря полной свободе от бюрократической формы, благодаря (и это главное!) потребности заинтересованных участников. Была ли это школа? Безусловно. Притом не только по домоводству, но и по работе с информацией, и групповому взаимодействию тоже.

Была ли это школа Левады (ведь именно он запустил поток информации в случайное скопление домохозяек)? Левада ответил бы: «Нет». И эта информация, и эта группа не входили в круг его интересов. Левада просто поддержал закономерность, которую хорошо знал и считал нормальной формой человеческой деятельности, поскольку деятельность эта неотделима от обмена информацией. Но открыта и сформулирована эта закономерность была не им. Использовалась достаточно давно («газета – коллективный пропагандист и коллективный организатор»).

Между тем хозяйственные трудности, которые купировал личный труд домохозяек, носили отнюдь не частный характер. Социально-экономическое состояние страны было далеко от благополучного. Профессионал Левада понимал и аномальность этого состояния и беспомощность отечественных школ обществоведов. Одним из первых он обратился к дополнительной информации, к работам зарубежных авторов. В его секторе переводили и готовили к публикации их труды, взвешивали и сопоставляли разные подходы к исследованию социальной реальности, обсуждали проблему аномии.

А система отечественного обществоведения, утратившая к тому времени способность к развитию, подменившая ответственность перед народом ответственностью граждан пе-

ред ней, эта система ещё господствовала. Она выбила Леваду из своих рядов, разметала его сотрудников по разным учреждениям, уничтожила переводы, подготовленные к печати.

Но группа, члены которой оказались рассредоточены по разным коллективам, не распалась. Создав условия самообучения, на неформальных семинарах, Левада формировал исследовательскую (точнее – поисковую) группу широкого диапазона. Свободную от давления бюрократии, внутринаучной в том числе. Группу, обеспечивающую творческое саморазвитие своим членам.

На семинарах выступали видные отечественные и зарубежные ученые, обсуждались актуальные проблемы.

При первой же возможности Ю.А. со своей группой вновь включился в существующую структуру науки и научной информации. Без такого включения поисковая работа была бы и невозможна, и бесполезна. А при нём (при включении) – давление бюрократизма объединилось с давлением рынка. Тем не менее, Левада поддерживал работоспособность своего подразделения, насколько это было возможным в сложившейся обстановке.

Сотрудники Юрия Александровича, ученики ли они ему? Он искал и не успел найти общие социальные закономерности, позволяющие вывести страну из кризиса. Они исследуют частные связи того же исторического процесса. Исследуют самостоятельно и успешно, включая вопросы, которых он не касался, не был в них специалистом. Но они работают, как и работали прежде, в одной с Левадой парадигме: парадигме свободного научного поиска, всестороннего рассмотрения проблемы.

Захотят ли, смогут ли они стать прямыми преемниками Левады в теории? Устоят ли они под давлением кризиса? Время покажет. Однако практика организации такой структуры, совмещающей исследование с обучением и самообучением, заслуживает самого серьезного внимания. Тем более, что в США довольно давно реализуют её, правда, не в обще-

ствоведении. Обучение там совмещают с исследованиями. При этом корпорация известная под именем «Силиконовой долины», освобождает исследователей и от давления бюрократизма (внутринаучного в том числе), и от давления денег.

Но если такая система продуктивна в решении технических и естественнонаучных задач, она вдвойне нужна для решения задач социально-экономических. Ведь структуры, принятые сегодня в качестве научных школ этого профиля, оказались несостоятельными перед лицом текущего кризиса. И не только в России, – во всём мире. Включая страны, реализовавшие разные модели «экономического чуда».

Т. Левада. VIII. 2010

О Ю.А. ЛЕВАДЕ*

<...> Когда сегодня говорят о Леваде, что он – один из основателей социологии в стране, что он – создатель «Левада-Центра», что он – один из глубочайших аналитиков российской действительности, все это, безусловно, верно. Но это уже стало привычно, общепризнано. За этим нет драматизма, поэтому кажется, что Левада всегда был таким. Или он родился, чтобы стать таким.

Для того, чтобы вспомнить студенческие годы, я хочу сказать, что мы поступили в университет в 1947-м году. Он на год моложе меня: мне было 18 лет, ему, следовательно, семнадцать, но он был уже золотой медалист, и его приняли без экзаменов. Как именно я в первый раз с ним пересекся в памяти не осталось. Наверное, потому, что я со многими тогда пересекался. Один из них был Левада, но он еще не был тем Левадой, которым потом стал для меня.

Был он худой, высокий, был у него завиточек такой, который он крутил, когда думал. Отличался тем, что был очень сосредоточен и самоуглублен. Помню, его избрали членом комсомольского бюро курса. И я присутствовал при разговоре, когда секретарь комсомольского бюро что-то ему выговаривал из-за того, что он как член бюро не сделал. Юра стоит, слушает, потом начинает крутить свой этот завиточек и потихоньку, ничего не говоря, проходит мимо нас, как будто нас нету. Он ушел. Секретарь смотрит на меня удивленно, я на него со смехом. Вот такой он был. Мне кажется, что он тогда совершенно не был способен к какой-то так называемой оргработе. А ведь он стал, извините, директором, и вся эта тяжкая работа руководителя центра, все эти коммерче-

* По материалам Polit.ru. Цикл бесед «Взрослые люди». Автор Любовь Борусьяк. Публикуется с сокращением.

ские, административные дела легли на него. Как он с этим справлялся, это для меня чудо.

Что бы я хотел сказать дальше? На философский факультет его привел интерес к марксистской социологии, к историческому материализму, как это тогда называлось, так же, как и меня. У меня тогда не было никакого сомнения – и, я думаю, у него тоже, – что марксизм является высшим достижением научной мысли. И поэтому надо изучать марксизм, марксизм-ленинизм и через него познавать нашу действительность.

1947-й–52-й годы – не самое лучшее время для изучения философии. Страшнее времени, пожалуй, трудно было бы выдумать, но так уж судьба распорядилась.

1946-й год – постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». В нем говорится, что надо воспитывать молодежь бодрой, веселой и так далее.

1947-й год – ждановское выступление на философской дискуссии, где Жданов говорит: «Меня удивил здесь спор о Гегеле. Вопрос о Гегеле давно решен». Кем он решен, я не знаю, но у нас из курса истории философии изъяли немецкую философию. Это – факт. Те, кто специально занимался историей философии, ее продолжали изучать, но для общего потока изъяли.

1948-й год – биологическая дискуссия. Трофим Денисович Лысенко приходит на философский факультет после дискуссии. Скромный, хорошо одетый мужчина, должен сказать, что с приятным лицом, со звездочкой Героя Социалистического Труда. Он выступает, его встречают и провожают бурными аплодисментами. Аплодировал ли Юра Левада, не знаю, но все аплодировали. Думаю, что и он аплодировал.

1949 год – постановление о космополитизме. Борьба с космополитизмом началась в 48-м году; тогда появилось это выражение – «безродный космополит». В 49-м году у нас было общефакультетское комсомольское собрание о борьбе с космополитизмом, на котором мы, кстати, с Юрой сидели

рядышком. Длилось оно **неделю**.

На этом собрании раздавались жуткие голоса. Мы в 1949-м году еще на втором курсе были. А вот студенты-старшекурсники, выступая, говорили, что профессор такой-то мне, Иванову, поставил «тройку», а какому-то Авербаху – «пятерку». И сделал он это только потому, что я – русский, а он – еврей. Так выступали студенты философского факультета Московского государственного университета. Имени Ломоносова Михаила Васильевича. Мы с Юрой сидели на этом собрании рядом. Ну, может быть, по поводу таких выступлений мы кривились оба, но содержательными впечатлениями не обменивались. Потом вместе пели гимн демократической молодежи в конце. Надо отдать должное, там были пятикурсники, которые выступили с отповедью.

Выступили с отповедью: нельзя превращать борьбу с космополитизмом в антисемитизм. Прямо вот так ими это говорилось. Молодцы! И как-то они сгладили жуткое впечатление от предшествующих дней. Но имен их я, извините, уже не помню.

Дальше. **1950-й год** – Сталинская статья «Марксизм и вопросы языкознания». Обсуждений этих я не помню; по моему, не было обсуждения такого широкого и значимого. Но у нас был общий друг и старший товарищ, фронтовик. Мы же пришли в 47-ом году на факультет, а примерно треть студентов факультета – это были вчерашние фронтовики. Ну, а мы – дети войны, в общем-то. Мне двенадцать лет было, когда началась война, а Юре было одиннадцать, соответственно. Видимо, он пережил войну в эвакуации.

Он тогда занимался каким-то ранним трудом: где-то ящики, как он мне рассказывал, забивал. Наверное, недоедал, судя по худобе. Но, тем не менее, он учился хорошо даже в военные годы.

Так вот. У нас был общий с Юрой авторитет – Олег Викторович Лапшин. Он – бывший фронтовик, поступивший на философский факультет, чтобы получить второе образование.

Одно высшее образование у него уже было. В армии Лапшин был майором; он был старше нас лет на десять. Это был очень интеллигентный человек, не матерившийся, не пивший, не куривший. Он страстно занимался изучением теории Марра, но в 50-м году был сбит с ног Иосифом Виссарионовичем.

Олег был секретарем парторганизации курса. Мы жили в одной комнате на Стромынке.

Я, Левада, Олег, два испанца. И Олег говорил мне и Юре: «Вы не понимаете, в какое время вы живете. Вы слишком легкомысленны и болтливы». По поводу чего это было сказано, точно уже не помню, но это относилось к нам обоим.

Олег этой статьей был сбит с ног, но потом он как-то все-таки защитился. После университета стал преподавать. А закончил он свою жизнь под забором в белой горячке – русский способ самоубийства. Юра ездил в Горький его хоронить. Юра поддерживал с ним отношения.

Ну, и наконец, **1952-й год** – После окончания университета выходит сталинская работа «Экономические проблемы социализма в СССР».

Вот под этим идеологическим артобстрелом и проходила наша учеба. Поэтому Олег – это несчастный случай времени. Что касается нас, то никогда с Юрой мы по этому поводу сомнениями не обменивались. Мы в 52-ом году выходим на майскую демонстрацию, на Красную площадь. Университет шел первым после военного парада, а Иосиф Виссарионович в этот момент уходит с мавзолея куда-то там, не знаю куда. И мы проходим мимо мавзолея в первой колонне, видим всех вождей, но вот Его, Его-то и нету.

Его нет, и мы уже прошли немножко дальше мавзолея, все смотрят на мавзолей, а Его там все нет. И вот, наконец, Он появляется. Мы уже прошли дальше, а его прямой взгляд не к нам обращен. Не сговариваясь, студенты философского факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова закричали: «Ста-

лин! Ста-лин!! Ста-лин!!!» Я тоже кричал. Думаю, что и Левада кричал. Оглянулся Иосиф Виссарионович и помахал нам ручкой. Вот так это было, так это воспринималось.

К чему я все это рассказываю? Все сомнения, которые не могли не возникать в думающих головах – а головы все же были думающие или пытавшиеся думать, – все сомнения, все расхождения, они либо подавлялись вот этим культом сталинским или репрессиями, либо псевдорелигиозным отношением к марксизму-ленинизму. Они подавлялись бесспорностью, бескритичностью Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Если и была какая-то критичность, то только дозволенная Иосифом Виссарионовичем. Это заставляло воспринимать линию партии без всяких сомнений. Вот такими были эти внушения, эти постановления – вот такими были эти времена. Вот в эти годы мы и учились на философском факультете.

Смотрите, а ведь на эти годы можно взглянуть и так:

1946-й год – речь Черчилля о «железном занавесе»;

1947-й год – блокада Западного Берлина советскими войсками, которая чуть ли не на грань войны поставила нашу страну;

1948-й год – перевороты в странах народной демократии, коммунистический переворот в Чехословакии, Готвальд приходит к власти;

1949-й год – Мао Цзэдун господствует над всем континентальным Китаем. Это воспринимается как торжество коммунистической истины, если угодно.

Юра Левада начинает изучать китайский язык, который он и выучил. Он пришел на факультет, зная английский, французский, немецкий. А вот тогда он самостоятельно выучил китайский язык настолько, что мог читать китайские газеты. Он называл мне эту цифру, я боюсь ее перевернуть сейчас – не хочу с китаеводами ссориться, – но для того чтобы читать по-китайски, нужно было знать несколько тысяч иероглифов. «Не так уж много», – говорил мне Юра Левада. Китай

стал темой его дипломной работы, темой его кандидатской диссертации. Он ездил в Китай, но впечатлений о поездке в Китай я не знаю: в это время мы жили врозь и не поддерживали друг с другом связи.

1950-й год – начало корейской войны. То есть мир в ту пору все время подвешен, он существует на грани войны. Это теперь стало известно, а раньше нам не было этого известно. Но, извините, в тех же «Экономических проблемах...» сказано, что угроза войны будет уничтожена только тогда, когда будет покончено с империализмом.

Для меня смерть Сталина и сразу последовавшие за ней прекращение дела врачей и их реабилитация были опровержением всех теоретических догм.

Началось переосмысление того, что же такое «советский строй», что такое «советский социализм». Я знаю, что все в этом случае отсылают к XX съезду, но я вам говорю, что даже у меня это осознание наступило раньше. И несомненно, что у Левады это произошло раньше, еще до съезда. Но XX съезд существен в том отношении, что после него пошла волна реформ, изменений в странах народной демократии. И особенно в Польше. Не помню, кто мне это пересказывал – Левада или кто-то другой, что в Институте философии выступал Назым Хикмет, побывавший тогда в Польше. Он говорил, что у него в Польше сложилось такое впечатление, что XX съезд произошел не в Советском Союзе, а в Польше. Потому что там действительно начали дышать свободно, в отличие от нашей страны.

А здесь через несколько месяцев после XX съезда появилось постановление ЦК КПСС, сотворенное, кажется, Сусловым. В нем растолковывалось, как все надо понимать, подчеркивалось, что культ личности – это вопрос, партией решенный. И, в частности, там говорилось о наказании партийной организации какого-то научного института. Как потом мне стало известно, эту парторганизацию возглавлял Юра Орлов, будущий создатель и руководитель Хельсинской

группы.

Социология началась без меня. Считаю, что наша социология в некотором смысле началась с «Социальной природы религии». Но мне кажется, что это больше, чем социология. Есть у меня такое предположение. Это, по-моему, 1965-й год. Да, эта книга в 1965-м году издана. Он всерьез обратился к проблемам религии. Левада – человек очень способный, очень глубокий и перед собою честный, никогда не говоривший того, чего он не думает, никогда не занимавшийся политиканством. Ни в какие времена. Как ему это удавалось при его притягательности, при его заметности? Я думаю, за счет большого ума.

Тогда Юра начал вести занятия по социологии – и у него одновременно образовался семинар. И вот на этот семинар шли совсем молодые ребята, молодые научные работники, они шли со всех сторон: социологи, философы, психологи – в общем, гуманитарии.

Юрий Александрович из немножко такого странного студента превратился в человека, очень обаятельного внешне, который светился добротой и расположенностью к интересному и честному слову. Левада не был добрячком, он был острый человек. Он мог оборвать, резко поставить на место. Например, когда было обсуждение его лекций, которое проводила Академия общественных наук при ЦК КПСС...

Лекции, которые были изданы в тысяче экземпляров всего лишь, и которых на черном рынке за любые деньги найти было невозможно. Они мгновенно разошлись. А тогда всякие, извините, люди, которые, выступая, кляли Леваду, искали эти лекции для того, чтобы потом самим их читать. Их направляли в какой-нибудь Ирак или еще куда-то в Сирию, якобы по линии Организации Объединенных наций, и она там выступала с чтением этих лекций, выдавая их, естественно, за свои.

Изгнание Левады с факультета журналистики. Он фактически лишился работы, лишился возможности печататься.

Ну, внешне это по нему не было видно. Нет, внешне это не было заметно, но я знаю, что он переживал это очень тяжело. Он мне рассказывал, что ему снилось в это время. В общем, не буду пересказывать.

Он даже собирался, как мне кажется, ехать в Магадан, чтобы преподавать там в пединституте. Seriously собирался поехать туда. Он закрытый человек и не любил рассказывать о себе. Но мне он об этом говорил. Без отчаяния говорил. Без отчаяния. Потому что он не просто противопоставил себя тоталитарному обществу, но осознал свое место в жизни. Глубоко осознав невозможность рая на земле, глубоко осознав невозможность воплощения здесь каких бы то ни было утопий, он сумел стать человеком, очень глубоко убежденным в необходимости сопротивления злу. Кстати, в отличие от многих других, которые, отпав от марксизма, стали просто циниками, Юрий Александрович стал человеком, глубоко убежденным в необходимости отстаивать добро, он верил в высшие ценности человеческие. И это не могло не сказываться в общении с другими людьми.

Он на эти темы не рассуждал вслух. Но уже в последнее время он однажды опубликовал такой прогноз. Он написал, что наша страна станет демократией не раньше, чем через пятьдесят лет. У него было такое выступление, я сейчас точно не помню где. Тогда я ему позвонил и говорю:

– Юра, ты убиваешь меня.

Он мне ответил:

– Это я для печати так говорю, а на самом деле все обстоит гораздо хуже, Володя. Я считаю, что нужно лет двести.

Так он сказал. Я не хочу, чтобы это был научный прогноз. Все такие прогнозы ничего не стоят. Мы думали в брежневские времена, что это будет бесконечно. Я, во всяком случае, так считал. И даже, когда началась перестройка, не верил я Горбачеву. До конца не верил, и не без оснований.

Левада очень сомневался в возможности проведения массовых опросов. Не потому, что не было серьезного опыта. А

потому что было давление. Все еще сохранялась руководящая роль партии. Пусть это горбачевская была партия, но она была та же самая партия по существу. КПСС, извините.

Считалось, во всяком случае, на местах, что, занимаясь проведением каких-то социологических опросов, вы занимаетесь провокацией, вы задаете провокационные вопросы. Вот как на местах реагировали тогда. И наверху примерно то же самое было. Они числились не при ЦК, а при профсоюзах, при ВЦСПС. А профсоюзное начальство в свою очередь обижалось на их опросы. Обижалось, что по этим их данным профсоюзы находятся на последнем месте.

Нет, возможности и перспективы вызывали у Левады большие сомнения, но интерес к этому был большой. Наконец-то наше общество стало видеть себя изнутри. Это, конечно, был великий интерес, великий мотив.

Я хочу сказать еще несколько слов о формировании или о вехах формирования. В 1962-м году я нахожусь в Сибири. Юра присылает мне письмо: «Не пропусти «Один день Ивана Денисовича» Солженицына». А потом я узнал, что покойная ныне Евгения Владимировна Завадская – китаевед, искусствовед, видимо, очень крепко дружившая с Юрой, – она ездила к Солженицыну в Рязань после публикации «Одного дня Ивана Денисовича» для установления каких-то связей с ним. Но это произошло неудачно: Солженицын слишком был закрыт и на контакты не шел. Женя мне об этом рассказывала. Думаю, что это совместное какое-то было действие, так я предполагаю.

У Юры в доме висела гравюра Эйнштейна. Я знаю, что Юра много читал, очень много. «Новый мир» тогда был нашим постоянным чтением. Скажем, для меня, находившегося далеко от Москвы, в Сибири, первым самиздатом было письмо Федора Раскольниковца, которое мне прислал Юра.

Любимым поэтом был Мандельштам, любимой строчкой Юры было:

*«Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной».*

Вот место человека во вселенной – это постоянный поток мыслей Юры. И неважно, выражен он вовне или не выражен. Для него постоянный и главный мотив: как быть в этой вселенной, которая не может быть полностью адекватной человеку. Как быть человеку в нашей действительности, советской или постсоветской. Вот это – круг его мыслей.

Уход Левады – это большая для нас потеря. Левада для меня – как Андрей Дмитриевич Сахаров. Он такого же уровня и такого же значения человек. Уход их, конечно, невосстановим. Они уникальны, такого рода дарования. Степени такого дарования и таланта трудноповторимы. Но то, что от них зажигаются какие-то другие огни, то, что свечи не гаснут в этом мире, на этом и держится мир.

*Polit.ru
19 мая 2010*

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОРОГОМ МЕСТЕ

«Дорогим местом» для меня был сектор теории и методологии в ИКСИ, которым руководил Ю.А. Левада, и тот семинар, который проходил каждую неделю (по вторникам) в этом секторе и потом, после разгона нашего сектора, продолжался «в подполье». Это название я позаимствовала у произведения, хорошо известного каждому образованному человеку не только в нашей стране, но и во всем мире; оно может считаться символом высочайшей ценности – дружбы. Ещё бóльшую ценность имеют отношения «учитель-ученик». Они – там, где вообще возможны истинные учителя, – самое достойное и благородное, что может встретить человек в своей жизни. Мне очень везло с учителями, прямо начиная со школы; учителем математики у нас был мой однофамилец, Любимов Павел Николаевич. Он был, как я сейчас понимаю, личностью, не вписывающейся в стандарт «советского человека». На его уроках было интересно и даже весело. Он научил меня великой и важнейшей способности – пониманию.

Кстати, Л.А. Гордон, будущий известный социолог, тоже был у нас учителем, он преподавал историю. Через много лет я его встретила на конференции по социологии, в тогда еще Ленинграде. В институте (я закончила Московский архитектурный институт) тоже был необычный человек – преподаватель философии, Зозуля Александр Михайлович. Он был интересен для меня тем, что можно было свободно высказывать свои мысли, сколь ни были они чудны или наивны. По крайней мере, от меня не ожидалось, что я буду «долбить» учебники по истмату и диамату. Спасибо этим людям, они не погасили во мне жажду знания, способность свободно мыслить, потому что лучше думать своим умом как сможешь, чем очень хорошо воспроизводить чужие мысли. Как говорят в

Индии, лучше плохо исполненная своя Дхарма, чем хорошо чужая.

Намереваясь рассказать что-то о Юрии Александровиче Леваде, Учителе с большой буквы, я просто не могла не упомянуть и этих замечательных людей, потому что я люблю учиться, и для меня это слово – «учитель» – наполнено большим смыслом. Это не только тот, кто откроет тебе новые знания, но это также немного сталкер, проводник по полю, в котором на каждом шагу можно встретить непредвиденные опасности, ловушки и капканы. Учитель всегда видит дальше тебя, по крайней мере, на несколько шагов. Для меня линия «учителей» не прерывалась, это настоящая парампара, как говорят в Индии, где важнее учителя может быть только один Бог. Не так часто можно встретить настоящего учителя. Таковым я помню Ю.А. Леваду. На берегах моей памяти остался образ благородного, светлого, многостороннего и широкого человека. Это сейчас я – Татьяна Борисовна, а тогда я была Танечка (и Юрий Александрович тоже так меня называл – или иначе, «Татún», как и друзья, сверстники); в отношении же науки я поистине была табула раса. Поступив в аспирантуру, я почти ничего не знала, ведь я была архитектором. У меня были самые общие представления о социологии, а о философии – вообще смутные. Конечно, я и сейчас ничего толком не знаю, но все же не до такой степени.

Чуть дальше я расскажу о секторе и семинаре, а сейчас не могу удержаться, хочу вспомнить – воспоминания так и всплывают из глубины памяти, – как же шло обучение, как из архитектора получился философ. Это чудесное превращение произошло благодаря гениальному дару Учителя, которым обладал Ю.А. Левада. Он, конечно, сразу понял, что у меня нет никаких знаний, зато есть страстное стремление их обрести. Очень ненавязчиво он мне советовал прочесть определенные книги, прежде всего, относящиеся к философской классике (без этой основы и социология не будет понятна). Даже сам приносил книги, если почему-то они были

малодоступны. Каждый вторник мы слушали доклады самых выдающихся специалистов, какие только были в нашей стране, причем специалистов по самым разным дисциплинам, которые могли иметь какое-то отношение к философии, социологии, антропологии. Не буду перечислять имена, но это было по-настоящему *высшее* образование. Выше невозможно себе представить. Каждый вторник я должна была приносить какой-то написанный текст, пусть одну страничку, – ведь у меня не было еще никакого навыка. Надо было меня научить сочинять. Кажется, что в результате это и получилось. Но самое важное, что от Ю.А. никогда никто не слышал никакого порицания или вообще какого-то негативного отзыва. Всегда – только забота о тебе, поддержка, похвала (хоть за самую малую заслугу, мысль, лишь бы она была самостоятельной и была действительно мыслью, а не пересказом). Было такое впечатление, что у нас не сектор, а одна семья, мы все – его дети. Все именно так и чувствовали себя. Были старшие братья – и мы, младшие, молодняк, мы тоже делали доклады, и насколько я помню, очень даже неплохо у всех получалось.

Наше общение в секторе не ограничивалось только научными исследованиями. Я помню, что мы всей компанией ходили в музеи; надо сказать, что у Ю.А. был хороший вкус, в особенности – к живописи, он понимал в ней толк. Я уже не говорю о неформальном общении, о неотменяемых встречах (ритуалы надо соблюдать!) Старого Нового года, а позже и дни памяти Э. Зильбермана в тот день, когда он погиб. Окончившего у нас аспирантуру, написавшего большую книгу об индуизме, которому, разумеется, не дали защититься, как, впрочем, и мне. Каждое заседание нашего сектора и каждая неформальная коллективная встреча что-то открывали не только в смысле научного познания, но и, как это ни банально звучит, в смысле постижения мудрости жизни. Этой мудрости нас тоже учил Ю.А.

Река памяти отражает множество ярких моментов, одним словом, было очень интересно. Кстати, этот критерий «инте-

ресно» был для Ю.А., можно сказать, одним из самых важных. Это о многом говорит. Если тебе интересно, то и с тобой интересно. С Ю.А., в его присутствии всегда было именно интересно.

Понять другого человека нелегко, тем более – как-то оценить или обозначить несколькими словами, но представить себе масштаб личности, оказавшись уже на столь великой дистанции, которая разделяет нас с миром уже ушедших, я думаю, мы можем. Так вот, я не сомневаюсь, что Ю.А. был не просто основатель в нашей стране более или менее частной дисциплины, называемой социологией. Это, пожалуй, маловато будет. Ю.А. был необычным явлением в то время, конца 60-х – начала 70-х годов, когда я поступила в аспирантуру (сначала это был только сектор в ИФ, а потом только был создан ИКСИ). Он был бы необычным явлением, конечно, и сегодня.

Мы привыкли к стенаниям по поводу отсутствия свобод в СССР, железного занавеса и прочих неудобств общественной жизни. И, конечно, это правда. Но нам было интересно познавать, а не только создавать науку социологию. Наш сектор, семинар Ю.А. Левады, был поистине оазисом в смысле свободомыслия, конечно, не только политического. Меня, например, это меньше всего интересовало, поэтому я этого и оценить не могу. Свобода мысли присутствовала здесь в самом возвышенном смысле слова. Мысль всегда свободна, она не может быть другой, или ее вообще не будет никакой. И Ю.А., несмотря на видимую закрытость – он не любил открывничать о своих делах, терпеть не мог пафосности всякого рода... Можно сказать, что это был человек высокого стиля. Не напрасно К.Г. Волконская (моя хорошая знакомая, которая по моей просьбе преподавала ему французский язык) была очень тронута его внимательностью, вежливостью, деликатностью, так что можно было бы подумать, что и он аристократических кровей, хотя, на деле, он таковым не был. Но аристократизм бывает и от Бога.

Значительность, масштабность личности видна сейчас, с этого берега, особенно ясно. В определенном смысле, деятельность Ю.А. Левады (как и других ярких личностей того времени, таких, как Г.П. Щедровицкий, А. Пятигорский, М.К. Мамардашвили и др.) была началом, очагом, из которого распространилось оживление мыслительной, и вообще культурной деятельности в нашей стране. Это было начало настоящей *культурной* революции, а не той карикатуры, которую мы сегодня видим в СМИ. Хотелось бы, чтобы и сейчас появились личности такого масштаба, каким был Ю.А. Левада. Жаль, что великие люди рано нас покидают. Но мы, его воспитанники, коллеги и ученики, я думаю, вспоминаем его не как давно прошедшее, а как если бы он оставался незримо с нами.

2010

ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ ЛЕВАДУ...

Мои воспоминания о Юрии Леваде окрашены в теплые, даже ностальгические тона и проникнуты чувствами искреннего уважения, если не преклонения.

Я, правда, не была его близким другом. По профессиональной специализации (и даже рано начавши осваивать некоторые области социологии, например, социологию науки и познания) я не так часто непосредственно соприкасалась и с «досоциологическими» (философия религии), и с собственно социологическими занятиями Левады. Скорее мой муж Юрий Александрович Замошкин – в период борьбы за само существование социологии в нашей стране, за её формальное, потом институциональное отпочкование от идеологизированного истмата – был среди участников тех же процессов и притом занимал своё место на той же стороне баррикад, где активно боролся, в числе других, его тёзка, тоже Юрий Александрович Левада.

Труднейшие перипетии, связанные с прорывом в отечественную науку и культуру профессиональной социологии, мне знакомы не понаслышке: они были частью повседневной жизни нашей семьи, потому что профессиональную жизнь и работу, дела друг друга мы неизменно принимали очень близко к сердцу.

Здесь я хочу, тем не менее, припомнить какие-то стороны образа Юры Левады, запечатлевшиеся в памяти благодаря общению с ним тогда, когда наши пути так или иначе пересекались.

Применительно к самым разным годам и периодам в памяти всплывает – как во всех смыслах крупная, заметная – фигура Юрия Левады. Правда, на философском факультете МГУ мы, в сущности, разминулись: когда я пришла туда учиться, Юра уже заканчивал факультет.

А вот когда я начала учиться в аспирантуре (с 1959 г.), а потом работать в Институте философии, на Волхонке 14, то (уже не помню, с какого именно времени) мы были то коллегами, то соседями, ибо его институт находился в нашем же здании. Мне всегда был глубоко симпатичен, близок по его социальным, личностным ориентациям этот замечательный человек – спокойный, добрый и доброжелательный, умный, очень хорошо образованный, ироничный. Этого крупного мужчину (всё более увеличивавшегося по своим внешним объёмам) друзья шутливо называли «большая Левада». К чему Юра, щедро наделённый очень ценным тогда чувством юмора, относился просто и весело. А ведь он был «большим» и в каком-то духовном смысле – основательным, надёжным, добротным, что ли, великодушным, потом оказалось, что и очень смелым, нестигаемым.

Хорошо помню, как в 1969 году, когда он издал (скромной книжечкой) свои «Лекции по социологии», то сначала особый гнев тогдашних истматовских надзирателей за обоюболющейся социологией вызвало даже не бесспорно неортодоксальное содержание лекций. Неортодоксальным оно было потому, что официальные идеологи (часто это были прежние кондовые истматчики), потеряв надежду удержать социологию в рамках истмата, спешно сколотили, с позволения сказать, «концепции» и «идеи», всё же простиравшие над социологическими дисциплинами длань идеологического контроля. Лекции Левады во всём противостояли этим устремлениям и надеждам. Хотя под первый обстрел попало и это принципиальное содержательное размежевание, особое внимание и гнев вызвала малюсенькая сносочка, в которой Левада неодобрительно упоминал о наших танках в Праге. Не знаю, был ли поводом для разбирательств заказ соответствующих органов или разгромную инициативу проявили доброхоты-доносчики, но только была быстренько организована очередная процедура идеологического обсуждения, вернее, осуждения – из тех, что в советское время устраива-

лись достаточно часто. Чего не следует забывать сегодня, когда иные антифилософски настроенные геростраты всю вину за идеологические погромы возлагают на философию и философов, хотя первые организованные партийными инстанциями мощные удары, как показывают факты, сыпались на саму философию, даже на историю философии (если вспомнить партийный, общегосударственный разгром III тома вполне добротного учебника, в философской среде именуемого, из-за цвета обложки, «серой лошадью»). Непосредственно же осуждали, громили те, кого ни по какому содержательному критерию, а только по формальным регалиям и званиям ещё можно было относить к философскому цеху.

По такому же сценарию разыграли упомянутый погром, больше всего обрушившийся на Леваду, но предназначенный, конечно же, всем «социологам» и пока ещё не стабилизировавшейся прочно отечественной социологии.

По установившимся партийно-идеологическим правилам Левада должен был «каяться» и «отречься», социологи тоже были обязаны «признавать ошибки». Тогда ещё не знали, что накатывает, и в немалой степени из-за чехословацких событий, волна неосталинизма и что конец 60-х – середина и даже вторая половина 70-х годов пройдут под знаком того, что Л. Митрохин верно назовёт, в противовес оттепели 60-х годов, «новыми заморозками». Однако и в конкретном случае Левады, и в случае других реваншистских наскоков (например, на «Вопросы философии») усилия оживившихся неосталинистов фактически провалились. Главные причины были достаточно просты, и коренились они в поведении, в мыслях и ориентациях тех, на кого те или иные удары обрушивались. А объектами травли были, как оказалось, лучшие силы отечественной философии и социологии – те люди, чьи работы и сегодня не утратили своё теоретическое и практическое значение. Читая сейчас воспоминания, мемуары ряда философов, социологов старших поколений, убеждаешься в том, что почти каждому заметному учёному в то время пред-

назначались какие-то проработки, преследования, запреты. Но те люди продолжали идти своими исследовательскими и личностными путями. Примеров много. Эти события, в частности, подтверждают мою любимую идею о существовании и растущей силе неортодоксального философского, а позднее и социологического сообщества.

Так вот, «проработки» Левады фактически провалились. И сам Юра не думал каяться, отступать, а смело защищал свои идеи, убеждения, теоретические построения, и его коллеги-социологи бросались в бой, горячо и уверенно выступая в его поддержку.

Из выступлений в поддержку я запомнила яркую, смелую, напористую, эмоциональную, как всегда, речь Бориса Грушина. Были, конечно, и обличительные выступления; в авангард обличителей включились, если я правильно помню, «философы» и «социологи» из Академии общественных наук. Но и они, это я тоже запомнила, чувствовали себя как-то не в своей тарелке, ибо благородство, научная и всякая иная смелость Левады и его коллег оттеняли всю неприглядность их поведения.

Преследования не закончились, ибо, как упоминалось, то было только начало целой обличительной кампании, в которой Левада стал лишь одной из важных мишеней. В частности, были состряпаны антилевадовские статьи (например, в партийном журнале «Коммунист», № 1, 1971 г.). Возникла позорная «инициатива» отдельных лиц лишить Леваду учёных званий. (Помню, как совестливая жена одного из профессоров из АОН при ЦК КПСС – она-то работала в Институте философии – пыталась объяснить мне, что не её муж на самом деле проявил инициативу...). Можно сказать, что объективно ни социологию, ни Леваду уже нельзя было остановить на избранном пути. И правда, объективные факторы в этом развитии сыграли немалую роль. Однако ничего не состоялось бы без того, что появились свободные духом, энергичные люди, преданные социологическому делу, что они

объединились в сообщество, всё более влиятельное и самостоятельное.

Это подчас трудно понять сегодняшним молодым поколениям. Однажды я сказала своим студентам, имея в виду первое послевоенное десятилетие, что это было время, когда социологии в нашей стране не существовало. И один из студентов задал недоуменный вопрос: «Как это, как это могло не быть социологии? И кто её, социологию, учредил?».

Отвечая на резонный вопрос, можно сказать так. Когда-то последовали официальные решения – о создании институций, кафедр и т.д. социологии. Но это случилось через годы, если не десятилетия, после того, как целая когорта теперь хорошо известных людей – в трудной борьбе, подвергаясь, подобно Леваде, преследованиям и проработкам – явочным порядком «учреждала», разрабатывала, и в нашей стране реально утвердила в правах социологическое знание, социологические дисциплины. Лишь после этого возникли соответствующие институции. Но и в них «партия» посылала своих людей, так что и там профессиональным социологам разных поколений не было покоя.

Два дополнительных фактора, относящихся к эволюции отечественной социологии, я бы подчеркнула особо, имея в виду также и Леваду.

Во-первых, наши (послевоенные) социологи старших поколений были «родом из философии» – так уж получилось историко-генетически. В этом коренились свои проблемы и трудности, ибо им пришлось специально, по большей части самостоятельно, – при отсутствии соответствующих факультетов, центров в собственной стране – овладевать социологическими профессиями. Но были в философском «происхождении» и несомненные преимущества. Они заметны при сравнении с теми представителями новых поколений социологов, которые осваивают частные социологические специальности и отнюдь не всегда отличаются широтой, новаторством теоретических взглядов и подходов социологов стар-

шего поколения. Прекрасная философская образованность таких наших социологов, как Б. Грушин, И. Кон, В. Ядов, А. Здравомыслов и других (смею упомянуть и моего мужа Ю. Замошкина), вне всякого сомнения, помогало теоретико-методологической основательности, глубине их социологических работ. И тут, кстати, Левада был своего рода образцом. (Вспоминаю, что его и в период социологической работы интересовали обсуждения историко-философских тем).

Во-вторых, в отличие от изоляционизма, преобладавшего в официозных диамате и истмате, отечественная социология, и в пору своей послевоенной «юности», и в периоды созревания и зрелости, постоянно опиралась на тщательное изучение зарубежного опыта, тогда уже богатого и разветвленного. Верю, что в этой книге будет освещен трудный, но принципиально важный и плодотворный путь Ю. Левады от освоения основ социологической области, связанной с исследованиями общественного мнения, к уровню высокопрофессиональной, затребованной уже и государством работы. Путь, который он прошёл так же честно, достойно, как и другие отрезки своей жизненной дороги. В итоге страна имеет его творческое наследие, его идеи и методики, а также прочно этаблированный центр его имени, вставший в один ряд с признанными зарубежными институтами того же назначения, носящие известные всему миру социологические имена Геллапа, Харриса и др. А ведь это имена людей, которым, в отличие от Юрия Александровича Левады, не приходилось в социологии и в институционализировании опросов общественного мнения начинать даже не с нуля, а с величин со знаком «минус».

Хочется надеяться, что имя и дело Левады будет вызывать должное уважение и в науке, культуре, гражданском сознании России, которой он честно служил, и в Центре, который он основал, которому благодаря ему приданы знак качества, престиж и само это славное имя.

Юра Левада, увы, рано ушёл из жизни – как «безвремен-

но», в 60 лет, скончался Мераб Мамардашвили, как в 65 лет из-за неизлечимой болезни умер мой муж Юрий Замошкин.

И ведь не только генетикой, особенностями организма отмерены эти сокращенные сроки жизни. К ним причастны, особенно в случае ответственных умов и сердец, и социальные условия, исторические времена несвободы, утеснений или прямых преследований. А сейчас с тоской убеждаешься, – сколь прав был Булат Окуджава, когда грустно написал: «Умирает мое поколение, собралось у дверей проходной...».

2010

О Ю.А. ЛЕВАДЕ*

<...> Очень давно, когда социология в Советском Союзе только зарождалась после долгих десятилетий, когда она была под запретом, в Академии был создан Институт конкретных социальных исследований. Слова «социология» не должно было быть даже в названии, поэтому он был назван Институтом конкретных социальных – но не социологических исследований. Имелось в виду, что в качестве теории уже есть исторический материализм, но конкретными исследованиями заниматься можно. Сектор, которым руководил Юрий Александрович, с самого начала оказался поперек этой тенденции, поскольку сектор был сугубо теоретическим. И только когда нас разогнали, вернее, уже даже во времена перестройки, основной народ, который в этом секторе работал, стал заниматься во ВЦИОМе совершенно конкретной тематикой – общественным мнением.

А начиналось это все как сугубо теоретическая социология, о которой у нас практически никто ничего не знал. Вообще было непонятно, что это такое. И с политической, и с идеологической точки зрения непонятно было, как это соотносить с тем же самым историческим материализмом. Естественно, что в таких условиях это стало мишенью для самых разных идеологических атак. Но про это потом. А пока я хочу сказать, как я там оказался.

Я окончил МВТУ имени Баумана, работал инженером год с небольшим. Правда, сразу после окончания вуза я поступил в заочную аспирантуру Института истории естествознания и техники на отделение философии. Так что философией я начал заниматься еще будучи студентом: у меня тогда уже бы-

* По материалам Polit.ru. Цикл бесед «Взрослые люди». Автор Любовь Борусяк.

ли одна или две публикации. А потом, проработавши некоторое время инженером, я решил с помощью старших моих коллег, что надо все же переходить в гуманитарную область. Социология тогда только зарождалась. Мой покойный старший брат Эрик Григорьевич Юдин и тоже покойный Игорь Викторович Блауберг были близки с Левадой. Они меня рекомендовали ему, и в начале 1969-го года я стал работать младшим научным сотрудником в Институте конкретных социальных исследований в секторе Юрия Александровича. Мое становление как научного работника происходило именно там. Даже не надо говорить, что это оказало определяющее влияние на то, чем я стал в социологии. Работал я там до начала 1973-го года.

В 1972-ом году, когда начался разгром Института конкретных социальных исследований, туда пришел Михаил Николаевич Руткевич. В институте работала комиссия ЦК, у которой были соответствующие установки, а до этого прошло очень грозное обсуждение в Академии общественных наук. Главным объектом этого обсуждения были лекции Юрия Александровича по социологии, которые для всех нас были чем-то вроде букваря, что ли. Эти лекции он читал на журфаке, они были изданы в виде двух ротапринтных сборничков. После чехословацких событий 1968-го года они стали объектом усилившегося идеологического наката. Это не только социологии коснулось, но если в эту сторону идти, то это будет очень долгий разговор.

Института социологии это коснулось непосредственно, его проверяла комиссия ЦК, работники ЦК приходили на семинар, который существовал у нас в секторе. Это был замечательный семинар, на котором цвет научной мысли, светила наши считали за честь выступить. А тогда, кажется, пленум какой-то прошел или съезд, и вот этот семинар, на который пришли товарищи из ЦК, был странным образом посвящен обсуждению задач, которые встают в связи с этим событием.

Тогда строили или запускали автозавод в Тольятти, и

очень оптимистически воспринималось, что теперь у нас в стране будет свой массовый автомобиль. Помню, Леня Седов там выступил с рассуждениями, насколько будет совместимо с принципами коммунистической морали то, что у людей будут свои автомобили. Нет, серьезно.

Но пришедшим товарищам очень не понравилось наше обсуждение.

И вот после того, как эта комиссия поработала, начался разгром института. Первой мишенью был наш сектор, сектор Левады. После этого всем нам было непросто найти работу. Правда, кто-то попал в ЦЭМИ – там был создан сектор – или лаборатория, не помню, как это называлось. Директором ЦЭМИ тогда был Федоренко. Вместе с Юрием Александровичем туда ушел Долгий.

Я помню, что тоже писал заявление на имя Федоренко, но меня не взяли. В общем, нужно было искать работу, и вот после этого я попал в «Вопросы философии».

Вот почти все время до перехода в «Вопросы философии» я проработал непосредственно под началом Юрия Александровича. Потом я ходил на его семинары и даже один раз делал там доклад, возможно, не очень удачный. Когда я в секторе Левады работал, я стал кандидатом, защитился по философии. Защищался я здесь, в Институте философии. Это было в 1971 году.

Ну, что я могу сказать? До сих пор у меня остаются самые тесные отношения с теми, кто работал вместе со мной. Некоторые люди отпали постепенно, потому что их интересы переместились в другие сферы. А вот какой-то костяк остался, и мы до сих пор остаемся близкими, остаемся друзьями.

Я уже говорил, что моя научная жизнь началась под патронатом Юрия Александровича. Это все во мне, и мне трудно посмотреть со стороны. Я только могу сказать, что Левада – это самый высокий уровень научной взыскательности, научной добросовестности и при этом колоссально доброжелательного отношения. Это такая была действительно

теплая атмосфера – она важна была и в научном, и в чисто человеческом плане.

Я думаю, что с именем Левады связано начало теоретической социологии в стране. Ну, были социологи, например, Ядов или Здравомыслов, но это в большей степени эмпирическая социология. Игорь Семенович Кон – это история социологии. Конечно, все это был один круг, но собственно теоретическая социология, она разрабатывалась у нас в секторе, в секторе Юрия Александровича. В семинаре Левады Парсонс был на первом месте. У нас тогда вышло несколько ротапринтных сборников – переводы по структурному функционализму. Но весь тираж этих ротапринтных изданий оказался арестованным после всех этих обсуждений. Арест этих сборников был странным таким феноменом: книжки все разошлись, но разошлись как-то неофициально.

Официально они находились под арестом. Я не знаю, может быть, до сих пор этого ареста никто не отменял. Наряду с Парсонсом в секторе изучали Мертона и, естественно, Макса Вебера. Понимаете, это была уже более или менее оформившаяся традиция – изучать современную западную философию. В ту пору это называлось «критика современной западной философии». А социология у нас тогда вообще была terra incognita для большинства людей. Нигде, естественно, профессиональных социологов не готовили, и народ в социологию шел из философии или из других сфер гуманитарного знания. Социология тогда вызывала колоссальный интерес и многих привлекала. Особенно большую роль здесь сыграли лекции, которые Юрий Александрович читал на факультете журналистики. Был там, например, Олег Генисаретский – он вообще пришел туда из технических наук. Я думаю, что отблеск того, что сделал Юрий Александрович, все же лежит на нашей социологии, которая сегодня является серьезной наукой. Но я не буду вдаваться в то, какие внутренние взаимоотношения сложились сейчас у социологов.

Я, откровенно говоря, за этим не слежу и даже не очень

хочу за этим следить. Я проработал в институте социологии несколько лет, потом перешел в философию, занимаюсь теперь ею, но какая-то закваска социологическая, тем не менее, осталась. Я стал заниматься философией науки. Сначала занимался этой проблематикой в «Вопросах философии», потом, когда перешел в Институт истории естествознания и техники, и там этой проблематикой занимался. В философии науки есть разные направления. Сейчас большую силу приобрели течения, которые науку рассматривают, прежде всего, как социальный институт, социальное образование. Я тоже себя отношу к этому течению, поскольку осталась вот эта социологическая закваска, осталось и работает «социологическое воображение». Был когда-то такой популярный термин, когда вышла книжка американского социолога Миллса «Социологическое воображение».

Для меня, для всех нас было важно, что открылась такая новая, интересная и привлекательная возможность видеть мир, социальную жизнь через очки социологического знания. Это позволяло и позволяет очень-очень многое увидеть. Сейчас это привычным стало, но тогда впервые появился какой-то свежий взгляд на мир.

Традиция собираться на Старый Новый год, 13 января, очень долго продолжалась. В разных квартирах мы собирались, и это был замечательный обычай. В последние годы этого нет. Леша Левинсон обычно был закоперщиком этих праздников: он готовил сценарии, целые повествования там зачитывал, иногда они оформлялись кое-каким реквизитом. Я помню, он даже дирижабль один раз для этого дела смастерил.

По поводу того, что произошло в жизни каждого из нас за прошедший год, какие там новые напасти на нас свалились, и чего удалось сделать за прошедший год. Мы назначали 11 часов вечера временем наступления Нового Года. Выпивали в этот момент шампанское, естественно, и до этого было празднество, и после этого некоторое время. Тут колоссаль-

ную и основополагающую роль играл Алеша Левинсон, а потом Лева Гудков. Ну, Лева Гудков в несколько ином смысле. Если говорить грубо, то Алеша – это художественная часть, а Лева – он замечательно готовит и любит это дело.

До сих пор эта традиция продолжается, правда, теперь нас меньше осталось. Но появляются молодые ребята из «Левада-Центра». Я помню, когда сорокалетие Юрия Александровича было – сорок лет назад ровно, мы собирались у меня на квартире. Жил я тогда на Рязанском проспекте, и собралась там совершенно замечательная компания, собралась на весь день. Не то чтобы с утра, а так, примерно, часов с двух. Левада был самый старший – ему сорок лет исполнилось, а мы молодые были в ту пору. И тогда Алеша афоризм сочинил: «У нас в отделе все срока́ от двадцати до сорока».

Да, и еще одна традиция была: летние выезды на природу. У нас тогда работал Миша Виткин, Виткин Михаил Абрамович. Миша тоже был философ с таким социально-философским уклоном. Он из Института философии в Институт конкретных социальных исследований перешел. Потом он уехал в Канаду. Вот он любил проводить время на природе. Он нашел то место, куда мы стали ездить постоянно, и при нем, и даже когда он уехал. Это по Павелецкой дороге до станции Шугарово, и еще километра два пройти. Мы приходили туда, разводили костер, принимались дрова собирать, готовить и все такое. Это было обычно в июне. Раза, примерно, два мы собирались в других местах, но в основном там. В июне, когда такая замечательная погода, единственная проблема там – это комары. А так мы рано утром собирались на Павелецком вокзале, садились в электричку – и вперед. Колоссальную роль играл в этом Юрий Алексеевич Гастев, который работал у нас в секторе. Гастев был логиком, он – замечательная личность, царствие ему небесное. Был в 20-е годы такой Алексей Капитонович Гастев, который занимался научной организацией труда. Юрий Алексеевич был его сыном.

Да, он важным человеком был, а потом, естественно, был

репрессирован. И Юрий Алексеевич страдал через это как сын репрессированного. Потом его самого в чем-то обвинили, какие-то там были дурацкие обвинения. Кроме того, была одна совершенно замечательная история.

Гастев защищал кандидатскую диссертацию в 70-е годы, то есть довольно поздно, когда был уже в довольно солидном возрасте. Защищал он ее в Плехановском институте. Диссертация была по логике. Во время защиты, когда по процедуре полагается выражать благодарности, он в числе других благодарит сэра Чейна и сэра Стокса – английских специалистов, которые позволили ему ощутить воздух свободы.

А потом на банкете он рассказал подробно эту историю. В 50-е годы еще молодым пацаном он оказался в ссылке в Эстонии и там заболел. Что-то у него было с легкими, помоему. Лежал он в больнице, палата была на четыре человека. И один больной, который лежал наискосок, у окна, был такой мрачный мужик: он никогда ни с кем не разговаривал. А тут как раз март 1953-го года, начинают читать сообщение знаменитое...

Левитан сообщает, что у Сталина наступило Чейн-Стоксово дыхание. И, значит, мужик, который был у окна, он оживился и сказал, что Чейн-Стокс – это парень надежный: он никого еще не отпускал. Гастева, как самого молодого, естественно, тут же снарядили за водкой в магазин напротив. Магазин был двухэтажный: на первом этаже был собственно магазин, а на втором этаже жил хозяин. Времени пять часов утра – все закрыто. Гастев поднялся на второй этаж, стал стучать и разбудил хозяина. Тот недовольный спустился и спросил, чего ему, собственно, надо? Гастев объяснил ему, что имеется вот такой повод, и хозяин тут же распахнул перед ним двери. Потом, описывая нам этого мужика, который сказал, что «Чейн-Стокс – парень надежный», Гастев произнес: «Я долго жил в убеждении, что это один человек. А потом, в день защиты, моя научная добросовестность заставила меня полезть в энциклопедию, из коей выяснилось, что их –

двое. Один – Чейн, а другой – Стокс».

И потом, когда Гастев на банкете это уже рассказал, там был секретарь ученого совета. Он перепугался и попросил не указывать этого в стенограмме. Было это в стенограмме или нет, я не знаю. Вскоре вышла его книжка в издательстве «Наука», где на первой странице было небольшое, странички на две, предисловие и там... он тоже выразил благодарность этим персонажам.

В издательстве даже возник скандал из-за этого, хотя формально придрасться к этому было нельзя. Но тогда придрались к тому, что он, помимо благодарности Чейну и Стоксу, выразил еще благодарность заведующему редакцией и редактору, который его книжку вел. Придрались к тому, что, мол, это их работа и нечего за это благодарить.

Юрий Александрович Левада на наши неформальные собрания всегда приходил с какой-то новой информацией, которая начинала обсуждаться. Он был вполне активным участником этих мероприятий. Очень часто он был в хорошем расположении духа, шутил, юморил, вместе с нами развлекался.

Polit.ru
13 мая 2010

ВРЕМЕНА С ЛЕВАДОЙ. ЭПИЗОДЫ

В 68 году осенью, промаявшись два с половиной года после окончания МИФИ в «ящике» и потом в отраслевом НИИ, я чудесным стечением обстоятельств (таки, судьба) оказалась в аспирантуре ИКСИ АН СССР в секторе методов и методологии.

Нам, первой горстке «конкретно-социологических» аспирантов, читались несколько курсов лекций. В том числе Ю.А. Левада читал цикл по истории философии. На его лекциях зал в Институте Философии был заполнен до отказа. Помимо нашей компактной аспирантской кучки аудиторию заполняли и переполняли до полной духоты, бородатые особи мужского пола в весьма широком возрастном диапазоне – от 25 до 50 лет.

Первые несколько аспирантских месяцев я вообще НИЧЕГО не понимала: у меня было четкое ощущение, что я оказалась среди людей иной не ведомой мне цивилизации, говорящих на незнакомом мне диалекте русского (возможно!) языка. Нет, я, конечно, понимала отдельные слова – местоимения, глаголы, но постичь смысл произносимого лектором повествования, для меня возможным тогда не представлялось.

Так вот, Левада, единственный, кто рассказывал – нет, не лекции, а нормальные истории, сюжеты (сказы – называла я их тогда для себя) практически обыденным русским языком. Я понимала на его лекциях практически все, несмотря на его плоховатую дикцию. Меня поражало и завораживало необыкновенное лазурное сияние его взгляда, которым он как бы тестировал аудиторию, особенно нашу аспирантскую кучку. И если результаты этого тестирования его хоть в чем то не устраивали, то повторял сюжет в иносказании и, порой, не единожды. Тот же «лазер», несколько лет спустя, снимал

для меня «темноты» докладов на знаменитых семинарах ЮА...

* * *

Значительная часть моей аспирантской жизни проходила в третьем зале «Ленинке» и его окрестностях. Частенько (хотя всякий раз для меня неожиданно) мне встречалась крупная величественная фигура неизменно доброжелательного ЮА, которого я почему-то отчаянно смущалась и стремилась куда-нибудь запрятаться. Вернее смущалась-то я не его самого и не его внимательного светлого взгляда и глуховатого полувопроса – полуприветствия: «Ну, чо...?», а какого-то ощущения собственной неуместности, несуразности... Однако, когда в самом разгаре институтских скандалов и истерик из-за публикации его «Лекций», ЮА как и всегда встречался мне в Ленинке, то я уже преодолела свое (провинциальное) смущение, и теперь уже с гордостью вслушивалась в его почти ритуальное, улыбочное – «Ну, чо...?»...

Где-то в начале семидесятых я уже вполне адаптировалась к гуманитарной среде. Моя диссертация мало-помалу близилась к своему финалу. Пришел день предзащитного семинара, который проводился в ЦЭМИ в секторе Наталии Михайловны Римашевской. На предзащите, помимо сотрудников сектора Римашевской, присутствовали мои друзья по аспирантуре и несколько сотрудников 25 лаборатории Института Проблем Управления (в том числе, неофициальный куратор моей диссертационной работы, которого иначе как благодетелем не назовешь). Я бойко рассказывала про моногорода, социальная структура населения которых сильно отличалась от социальной структуры жителей других городских поселений, что-то рисуя на доске. Вдруг я почувствовала, что аудитория как-то затихла, замерла... Я обернулась, и потеряла дар речи... В дверях стоял улыбающийся ЮА... «Ну, чо...?» Меня будто подхватил какой-то поток энергии. В результатах моих расчетов мне внезапно открылись интри-

гующие нетривиальные закономерности, о которых я раньше не подозревала и которые я тотчас очень эмоционально и поведала аудитории... В общем, моя предзащита прошла на ура. Рецензенты были весьма доброжелательны. Было несколько дельных выступлений участников семинара. Было изящное в своей подытоживающей логике выступление Левады, которое я тогда дословно запомнила и позже компилировала в текст автореферата и диссертации.

Спустя несколько месяцев, наступил день моей защиты в ИКСИ АН СССР. Председательствовал, как и всегда в те годы, М.Н. Руткевич. Но в зале было довольно необычно и многолюдно. Во-первых, почти в полном составе во главе с Э.М. Браверманом присутствовала моя родная 25 лаборатория ИПУ. Во-вторых, присутствовал весь цвет советской социологии, которого уже давно не было видно на Советах под председательством Руткевича. Из Ленинграда приехали В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, О.И. Шкаратан, Б.М. Фирсов, пришли Б.А. Грушин, В.Н. Шубкин и опальный, но все еще член Совета, Ю.А. Левада. Я понимала, что все они появились отнюдь не ради моей диссертации, просто всех их «построил» В.Э. Шляпентох (нежная, верная и преданная дружба которого служит мне поддержкой и жизненной опорой до сих пор). Но тогда меня охватил совершенно звериный страх и ужас. Я поняла, что сейчас я не только не смогу произнести ни единого слова, но и не смогу даже подойти к трибуне, что я сейчас на радость Руткевичу подведу и опозорю всех и, главное, Бравермана и Шляпентоха! И тут я встретилась с взглядом ЮА... «Ну, чо...?» И, я враз вышла из столбняка, и, не ведая как, оказалась на трибуне. Произнесла заученные накануне слова, а, добравшись до содержательных результатов, уже легко и с гордостью рассказывала о них аудитории. Когда же одна из моих оппонентов попыталась упрекнуть меня в каких-то мифических некорректностях, то я с легкостью (на радость 25 лаборатории) убедительно продемонст-

рировала, что оппонент не очень-то понимает то, о чем пытаются рассуждать.

* * *

Когда Шляпентох принял решение уезжать, я частенько встречала ЮА во время почти ежевечерних застолий дома у Шляпентохов. Я была очень признательна (по человечески) ЮА за то, что он как-то незаметно, но очень-очень весомо помогает Володе и Любе пережить сложнейшие времена «от подачи до отъезда».

После отъезда Шляпентоха мне пришлось покинуть ИКСИ. Мне удалось найти работу и более высоко оплачиваемую и более высоко статусную в НИЦ МК СССР, который позднее стал подразделением в институте «Гипротейтр». По-прежнему я много времени проводила в 3-м зале «Ленинки», частенько встречая там ЮА, который расспрашивал меня и внимательно выслушивал рассказы о моем житье-бытье. Как то невзначай мы обменялись телефонами и стали довольно таки регулярно перезваниваться.

Где то весной 1979 года (спустя без малого год, как уехал Шляпентох) ЮА пригласил нас с Т. Ярошенко придти к нему на работу, чтобы обсудить какие-то проблемы по нашей научно-статистической деятельности. Он тогда работал по-прежнему в ЦЭМИ, а его отдел был расположен у метро «Октябрьская» неподалеку от Центрального Дома Художника.

Был ясный солнечный день, и мы с Таней спускались по тротуару Садового кольца от улицы Дмитрова к ЦДХ. Вдруг навстречу и прямо к нам направился молодой негр с букетом тюльпанов. «Это, Вам!». И тюльпаны оказались у меня в руках. Мы решили, что это хороший знак, что это тюльпаны для Левады.

ЮА отнесся к букету очень естественно, быстренько нашел для него банку с водой. Было впечатление, как мы потом смеялись с Таней, что ему каждый день молодые женщины

дарят тюльпаны. Потом мы проговорили с ним часа полтора. Помню, что было очень интересно, но о чем именно мы говорили, вспомнить не могу.

Осенью 79 года свои знаменитые семинары Левада стал проводить в нашем НИЦ МК СССР. В нашу самую большую комнату, вмещающую человек 20-22, набивалось, порой, до 50 человек. Замечу, у ЮА всегда был особый (выделенный специально) стул. Он же все время норовил пристроить на этот стул какого-либо бедолагу-семинариста, а самому подпирать стенку. «Левадовские мальчишки» – его малый, почти интимный круг, в основном «сотрудников сектора» и примкнувших к ним – проявляли невероятную изобретательность, чтобы усадить всех «бедолаг» (хоть по трое на один стул) и отбить стул для Левады.

Докладчики на семинарах никогда не были в дефиците. У меня было впечатление, что ЮА подбирает их в соответствии с какой-то своей программой. Хотя иногда были такие доклады, что мне удавалось улавливать смыслы едва лишь десятой части сказанного. Я уже упоминала, что ЮА взглядом (вновь и вновь это удивительное незабываемое лазурное сияние) считывал мое непонимание. Возможно, я была одной из самых слабо подготовленных участников семинара и ЮА ориентировался на меня как на индикатор необходимости перевода сказанного докладчиком на общедоступный русский, и ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ пересказывал основное содержание и итоговые умозаключения докладчика. А после этого он, как правило, относился к смыслу доклада, либо разделяя, либо опровергая, либо корректируя его. Без прохождения этого левадовского семинарского тренинга, эффективность моих нынешних профессиональных занятий была бы заметно ниже...

...Где-то в конце 1980 года наш НИЦ был преобразован в подразделение «Гипротейтра», поменялось наше начальство и, спустя несколько месяцев весной 1981 года семинар Лева-

ды перебазировался в очень удобный и уютный зал в том здании, где работал ЮА. Помню, как на первом семинаре в этом НОРМАЛЬНОМ зале заседаний светились радостью и гордостью лица «левадовских мальчиков» – они выдержали, они сохранились, они выжили, они победили.

* * *

А вот совсем другой эпизод. Мы с ЮА встретились как-то в доме общих знакомых. Так вышло, что в это время в квартире сломался водопроводный кран. Воду пришлось перекрыть. На следующий день я вновь оказалась в этом доме. Позже пришел и ЮА. Тотчас по приходе он достал из портфеля мешок. Из мешка достал инструменты и отправился в ванну к поломанному крану. Через, ну, самое большое, 20 минут кран отлично работа. Хозяйка потом рассказывала, что этот «левадовский» кран безупречно служил многие годы.

Другой похожий случай произошел на моих глазах уже во ВЦИОМовски времена. Как-то мы, компания новоиспеченных сотрудников ВЦИОМ отправились в командировку (не помню точно куда, но, по моему в Алма-Ата) и с замком моей дорожной сумки чего-то произошло и он не желал открываться. Мои коллеги безуспешно провозились с замком минут сорок. И нам ничего уже не оставалось, как принять решение покупать новую сумку (в те годы это было дело совсем не простое, купить нужную дорожную сумку), а мою разрезать, чтобы освободить мои пожитки. Тут к нам подошел ЮА. Он, буквально, минуты 3-4 поколдовал с помощью моей пилки для ногтей и своих ключей над злополучным замком, и замок открылся! Я ликовала: скольких проблем удалось избежать. А ЮА смеялся: вот, мол, как вас легко порадовать...

* * *

...Весной 1987 года на каком то из семинаров А. Левинсон спросил меня, слыхала ли я какие-либо разговоры про то, что создается новый Центр изучения общественного мнения, что якобы во главе должен бы быть Б. Грушин, но поговаривают, что переедет из Новосибирска Т. Заславская. Я ничего про это не слышала.

«Это видимо опять не про нас...» – с сожалением произнес Алексей. Я с грустью ощутила, что он абсолютно прав. Когда же я стала обсуждать этот сюжет с ЮА, он усмехнулся, что, мол, хуже от этого никому не будет... Осенью этого же года мне позвонил неформальный куратор моей диссертации. Он сказал, что создается новый Центр общественного мнения, что мне предлагается перейти туда работать, что надо связываться с руководством Центра и помогать им, строить нормальную современную организацию.

ЮА отнесся одобрительно и заинтересовано к моему переходу во ВЦИОМ. Так я оказалась в числе первых 5 сотрудников ВЦИОМ. В начале 1988 года нас было уже человек 15. Мой неофициальный шеф активно занимался «подбором кадров». Как-то он спросил меня, а хотела бы я, чтобы Левада пришел во ВЦИОМ, и хорошо ли это было бы для дела, и как я думаю, согласится ли Левада и не обидит ли он своим отказом руководство, если они его пригласят на работу. Когда я рассказала все это ЮА, он только рассмеялся и сказал, что-то типа «люди-человеки», и что он сам попытается на днях переговорить с руководителями ВЦИОМ. Спустя несколько дней, я спросила ЮА, каковы же результаты его переговоров. Он ответил, что результатов нет никаких. Ему подробно рассказали о трудностях и проблемах становления Центра, просили советов, но предложений о работе или просто о сотрудничестве не было. Для меня это было полной неожиданностью.

Разбирая эту ситуацию с инициатором акции, мы пришли к выводу, что Левада до такой степени мощнее всех «осталь-

ных», что даже «лучшие из остальных» его остерегаются, предпочитая не оказываться с ним в одной лодке. И мой собеседник решил сам говорить с руководителем Центра. Он много чего услышал в ответ на его предложение, пригласить Леваду на работу во ВЦИОМ:

...И что у Левады другая специализация (на что парировал: это у руководителя Центра другая (!) специализация, а не у Левады);

...И что это будет, как слон в посудной лавке...

– но, во-первых, Левада не слон, а во-вторых, у Вас – Центр, а не посудная лавка;

...И, вообще, Леваде предлагали, и он отказался...

– но я точно знаю, что предложения не было.

Спустя несколько дней, ЮА со снисходительной улыбкой рассказывал мне, как руководство Центра делало ему предложение (пересказываю рассказ ЮА по памяти, не дословно):

– Конечно, это, Юра, не твое дело, и ты в Центр работать идти не захочешь, да и твои ребята все теоретики, им у нас не место, у нас одна цифирь полевая... Так, что ты ведь не хочешь работать в Центре?

– Ты что, зовешь меня на работу в Центр?

– Ну, зову, но ведь ты же не хочешь этим заниматься?

– Конечно хочу. Спасибо за приглашение. Без теории тебе все равно не обойтись. Делай в Центре отдел теории.

Так во ВЦИОМе появился отдел теории. В Отделе один за одним, постепенно появились «левадовские мальчишки» (А. Голов, Л. Гудков, Б. Дубин, А. Левинсон, Л. Седов) и еще «примкнувшие к ним по жизни» А. Гражданкин и Н. Зоркая. Почти сразу и Левадовские семинары перебазировались во ВЦИОМ. В отделе теории каждый работал как минимум за трех. Как они все при этом сияли, светились, с наслаждением непримиримо спорили друг с другом, всякий раз полувопросительно поглядывая на счастливо улыбающегося ЮА. Правда, явно и не явно постепенно возникала и ощущалась

конфронтация Отдела теории со статусными сотрудниками ВЦИОМ из «новосибирского землячества»...

* * *

В конце года в Литературке была опубликована анкета, созданная отделом Левады. Реакция аудитории ЛГ превзошла все возможные ожидания – ВЦИОМ был завален мешками с письмами читателей, об этом исследовании подробно рассказано в нескольких публикациях Левадовской команды.

Удивительное дело, но помимо круглосуточных штудий со своей командой, ЮА во ВЦИОМе (он частенько называл его Вциомушкой) было дело до всего: до выборки, до найма интервьюеров, не говоря уже о дизайне полевых анкет и процедурах обработки и анализа данных.

Как-то так сложилось, что в декабре, если мне память не изменяет, 1988 года мы с ЮА оказались в командировке в предновогодней Риге, где нам предстояло найти руководителя и организовать Латвийское региональное отделение ВЦИОМ. Мы беседовали («мы» это я слишком много на себя беру, конечно, ЮА беседовал, а я ему, в лучшем случае, ассистировала) с несколькими подобранными местным профсоюзным начальством кандидатами: истматчиками, философами, экономистами, психологами. Буквально через несколько минут становилось ясно, в том числе и самим претендентам, что для работы руководителем республиканского отделения ВЦИОМ они не годятся. Я смеялась за ужином, что ЮА погубил в себе классного начальника отдела кадров, да вот только беда – никого не может подобрать в руководители республиканского отделения. А тут ЮА и говорит, а давайте дадим объявление в газету. Что мы и сделали. Откликнулись на наше объявление человек 8-12, из которых ЮА выбрал молодую женщину, биолога, которая работала заместителем директора зоопарка. Правда, она оказалась очень смышленная и деловая, как то удивительно неспешно, но быстро нашла команду интервьюеров, и через недели две уже

начала проводить опросы в Риге...

А вот еще один эпизод, где опять Левада – не теоретик, а практичный и грамотный управленец. Весной 1992 года трудовой коллектив ВЦИОМ, как и множество других трудовых коллективов России, затеял выборы директора. Из нескольких кандидатур практически единогласно директором ВЦИОМ был избран Левада. Прежний директор получила статус Президента.

Вот, что происходило далее (пересказываю слова моей приятельницы, которая в то время заведовала планово-экономическим отделом ВЦИОМ и фактически контролировала доходно-расходные части вциомовского бюджета). Вот Левада входит в плановый отдел, где заведующая аккуратно разложила на столе документы основных проектов ВЦИОМ, в том числе их планы и стадии реализации. Она рассчитывала, что Левада будет знакомится и разбираться, что в каком проекте делается и как реализация проектов успевает за планами. Каково же было ее удивление и ужас когда Левада, обогнув приготовленный для него стол, направился к «заветной полке», где хранились папки с финансовыми документами по приходно-расходным операциям. Час или два Левада читал документы из «главной папки». Потом сказал, что в начале месяца будет ждать от Заведующей две справки: одну – о ходе выполнения работ по текущим проектам, другую – о выполнении бюджета ВЦИОМ, узких местах и т.п. Сотрудница была потрясена, Левада говорил с ней как, по ее словам, «дошлый плановик». Она сама числилась «дошлым плановиком», но Левада опережал ее по «всем направлениям»...

Эту историю я вспоминала осенью 2003 года, когда было замышлено поменять директора Унитарного Государственного предприятия ВЦИОМ, и когда, все как один, сотрудники ВЦИОМ подали заявление об уходе из ВЦИОМ по собственному желанию и поступили на работу в частную фирму – аналитическую службу «ВЦИОМ-А», которая через несколько месяцев стала носить название «Левада-центр»...

* * *

В конце февраля 1990 года так все сложилось, что я оказалась в составе делегации российских социологов и политологов, которая отправлялась в Гарвард на российско-американскую конференцию. Первоначально участвовать в этой конференции должен был Б. Грушин, но у него, что-то не заладилось. И, поскольку нужен был специалист по методике и выборке, то выбор пал на меня. Вместе со мной летели Клямкин, Левада, Кокошин и еще трое незнакомых мне политологов.

Наши выступления по материалам опросов ВЦИОМ имели бешеный успех. Немудрено, ведь американская аудитория впервые знакомилась с результатами общенациональных российских опросов общественного мнения. Левада свои выступления делал на английском, я же общалась с аудиторией через переводчиков. Нас засыпали вопросами, ответы и обсуждения затягивались на несколько часов. В Гарварде мы повстречались с Димой Шалиным, который пригласил нас в гости. Вечером Дима записал на магнитофон знаменитое Гарвардское интервью с Левадой. Интервью длилось не менее двух часов. Я слушала ЮА как зачарованная, понимая, что он очень серьезно и ответственно относится к происходящему, по сути дела, впервые публикуя свою авторскую интерпретацию событий и героев середины 60-х – 90-х годов XX века.

По завершении гарвардских сессий, ЮА и я отправились в фантастическое турне по американским университетским центрам от Бостона до Сан-Франциско, которое организовал нам и в котором частично принимал участие Володя Шляпентох. Мы разъезжались по разным университетам, потом встречались вместе вновь. В день, порой, у нас бывало по 4-5 выступлений.

Из Калифорнии мы вернулись в Нью-Йорк, а оттуда – в Москву.

* * *

Летом 1993 года ФОМ, (а по сути, полевой и компьютерный отделы ВЦИОМ) после весьма бурных публичных дискуссий, забрав полевые документы запущенных ФОМом опросов и подаренный ФОМу правозащитниками компьютер, покинули помещение ВЦИОМ на улице 25 октября. Расставание, а по сути разрыв, было весьма драматичным. ЮА, судя по всему, воспринимал наши фомовские самостоятельные «шахтерские выходки» как «дезертирство» нелегитимное – пытался образумить, возмущался, горевал, бранился. При встречах либо у общих знакомых, либо на конференциях, круглых столах произносил как бы безадресные речи типа «ноги без головы могут завести» не туда, в миражи, обманки... Я была в отчаянии. Допустить, что ЮА не прав, для меня было невыносимо. При этом я ясно видела, что ФОМ более оперативен, мобилен и технологически более продвинут, чем ВЦИОМ...

Спустя чуть более полгода, в Прощёное воскресенье у меня дома раздался телефонный звонок и голос ЮА произнес «Ну, что...?», а я в ответ бормотала о каких-то пустяках, не помня себя от радости...

Ноябрь 2010

О Ю.А. ЛЕВАДЕ*

В отличие от многих, кто писал воспоминания о Юрии Александровиче в первом сборнике, я познакомился с ним поздно, уже во время перестройки. Это было, когда он первый раз приехал в Париж на большую конференцию. Там были все активно действующие интеллектуалы перестройки. Он тогда заметил, не без иронии, что в Париже организовали смотр «прорабов перестройки». Это было в Сенате, а тема – конечно, что-то о перестройке и будущем Советского Союза. Это был 1988 год, если я не ошибаюсь. Я, конечно, о Леваде тогда уже много слышал. Он был у нас дома, по-моему, с Леонидом Абрамовичем Гордоном.

А потом, когда начались первые опросы старого ВЦИОМа, я захотел с ними ознакомиться. От Леонида Седого, с которым я был давно знаком, я узнал о Борисе Дубине, мы как-то созвонились и он меня позвал во ВЦИОМ, который еще находился в гостинице «Дом Туриста». Я там был только однажды, и у меня сохранились первые бюллетени на такой желтой бумаге – публикации опросов, первые выпуски. Я их даже недавно использовал. Меня тогда сразу поразила деловая, веселая и доброжелательная атмосфера.

Позже, когда я уже приехал работать в Москву в 1994 году, я стал бывать во ВЦИОМе относительно часто, ходил на семинары. И, конечно, был момент, когда я с Левадой стал ближе; я не могу сказать – сдружился, потому что мы с ним как бы в разных категориях, и он человек, который, как многие подчеркивают, всегда держал некую дистанцию.

Как ни странно, я испытывал к нему, можно сказать, нежность. В особенности – под конец. Но одновременно он вы-

* Отрывок из интервью Л. Гудкова с Алексисом Береловичем. Публикуется с сокращениями.

зывал ощущение большой силы, даже просто физической – он занимал много места. Даже когда он просто сидел, ничего не говоря, все равно все притягивалось к нему. И, само собой, – ощущение духовной силы, интеллектуальной. В то же время я ощущал в нем какую-то незащищенность, странная смесь силы и незащищенности. Его мудрость, умение видеть людей «насквозь» сочеталась в то же время с постоянной доброжелательностью. Изначально он все-таки предпочитал отнестись к человеку доброжелательно, только потом могло возникнуть отторжение. Поближе мы сошлись, когда он приезжал читать лекции в «Школе Высших Социальных Исследований». Это, примерно конец 1990-ого года.

Было очень трогательно, как он мобилизовал свой французский язык и как настойчиво читал лекции по-французски. Так как тогда никакого Power Point`а не было, он заранее к каждой лекции рисовал на больших листах ватмана рисунки. Он писал на них цифры, рисовал диаграммы, а потом их комментировал. Это было очень интересно. Я их долго хранил, но при многочисленных переездах, к сожалению, они куда-то затерялись. Он прочел 4 лекции по 2 часа – это норма для таких приглашений.

Две вещи меня тогда поразили очень сильно. Во-первых – его полная непритязательность в быту. Я часто занимался по работе в «Доме наук о человеке» с людьми, приглашенными из Советского Союза, и почти всегда с их стороны были претензии: то не тот квартал, то не та квартира, то не тот этаж, и так далее. Юрию Александровичу тогда нашли маленькую двухкомнатную квартиру в «плохом» районе Парижа, как считается среди приезжающих из Москвы, которые очень сильно реагируют на цвет кожи. Ему это было совершенно безразлично, вернее – даже интересно. Меня очень смущало, что это был 4 или 5 этаж без лифта. Я чувствовал себя из-за этого очень плохо. Но он отринул все мои попытки поискать что-то другое. Это была очень глубокая черта его характера. И она очень интересно связывается с другой его чертой. По-

литически он, конечно, не считал, что все хорошо и надо только приспособиться, конечно, нет. Его позиция была обратная. Но для себя он принимал вещи такими, какие они есть, и считал глупостью тратить силы на какое-то их изменение. Пусть вещи идут своим чередом, важно сохранить свою внутреннюю свободу по отношению к ним. Если забежать вперед, я это полностью ощутил, когда власти закрывали ВЦИОМ. Я тогда затрепыхался, организовал сбор подписей по Интернету и так далее. Ему было решительно все равно. То есть, я думаю, может быть, ему было приятно, что некоторые люди оказали ему поддержку. Но бороться в этой ситуации – это ему казалось, опять-таки, совершенно пустой тратой времени.

Мне кажется, что помимо того, что называется в обиходе «философским» взглядом на жизнь, у Левады было глубокое ощущение несовершенства мира (и людей!) и отсюда для него вытекала не только моральная необходимость действия, но и – в некоторых случаях – понимание их тщетности. То, что я говорил про квартиру, по-моему, связано с его отношением к приватизации государством старого ВЦИОМа. Мне это до конца не понятно, может быть, это мои западные привычки, но все же не только. Юрий Александрович считал тогда подобную реакцию слишком поверхностной, борьбой, которую не стоило заводить. Может быть, конечно, потому что знал, что для него речь шла не о спасении работы, знал, что работу коллектива можно будет продолжить. Видимо, он все-таки это заблаговременно обеспечил, и поэтому остальное ему казалось второстепенным. Мне казалось, что это не второстепенный вопрос – это принцип борьбы с произволом, и поэтому он необходим. Поэтому я был поражен его некоторой отрешенностью. Он достаточно часто считал, что это все слишком мелко, и на это не стоит обращать внимание. И что люди, которые слишком мелки, не заслуживают того внимания и тех усилий, которые нужно было бы потратить, чтобы бороться против них. Тогда меня эта черта поразила.

Вторая черта, которая меня тогда поразила – это политическая страсть. И именно реальная страсть. Его явно всегда интересовала наука, правда, я был лично с ним знаком только в то время, когда эта наука была связана с общественной жизнью – когда уже существовали старый ВЦИОМ, а потом Левада-Центр. Как было до этого – я не знаю. Его интерес к политике – это было не только общественное мнение в Советском Союзе и позже в России. Он из тех людей, которые хорошо знали политическую жизнь во Франции и вообще в мире, он реально ею интересовался. 2005 год – молодежные волнения в пригородах Парижа. Насколько же ему это было интересно, и насколько он сам был информирован! Он читал французскую прессу в Интернете и очень хорошо знал, что там происходило. И этот интерес не был связан с тем, что происходит в России. Вот это меня тогда поразило: его страстность, большой интерес ко всему, что окружало и заслуживало, по его мнению, интереса. И вместе с тем способность не обращать внимания, не интересоваться тем, что, как он считал, этого не заслуживает. ВЦИОМ – это был инструмент для понимания общества. Именно инструмент, который волей случая попался ему в руки. Я думаю, если бы его не было, он бы нашел другие, и работал бы по-другому. Но он смог сделать из этих опросов инструмент, который ему был нужен, чтобы изучать то, что его интересовало. Это – одна сторона дела. Другая заключается в том, что он надеялся (помоему, как раз эта надежда у него с годами ушла) – что ВЦИОМ сможет способствовать созданию общественного мнения, показывая читателям, показывая сообществу результаты опросов. Что это сможет способствовать образованию того, что можно будет назвать общественным мнением. Поэтому он был так заинтересован, чтобы результаты опросов публиковались именно в широкой прессе. В этом смысле для него, как мне представляется, ВЦИОМ был важен не только в деле науки, но и политике. Под конец он меньше в это верил, он констатировал, что общественное мнение в полном

смысле этого слова так и не образовалось.

Мне кажется, в особенности в последние его годы он окончательно решил для себя, что надежды увидеть на своем веку в России что-то демократичное не осталось. Он производил впечатление человека глубоко отчаявшегося, вернее – человека, живущего без надежды. И разуверившегося в возможности создать общественное мнение, его воздействие на происходящее.

Меня очень сильно поразила его замечательная статья «Восстание слабых». Всем – научно, политически, нравственно, эстетически. Она была о протестном движении пенсионеров в 2005 году. Уже само название было этически нагружено. Может быть, те, кто считают, что наука должна «доброе и зло внимать равнодушно», могут и не понять, и не одобрить его позицию. Я же наоборот думаю, что было очень важным сказать, что это был бунт именно слабых, и что катастрофа в том, что он не вызвал отзвука в общественном мнении. И что на него не обратило внимания и интеллектуальное сообщество. Для Левады это была очень глубокая рана. Которую он переживал как шестидесятник. Он сам говорил, что он шестидесятник, понимал, что принадлежит этому поколению. Так вот то, что это поколение (не говоря уже о следующем) не нашло в новой обстановке необходимые нравственные силы, – это глубоко его затрагивало.

Если еще говорить о личных воспоминаниях, то я всегда был от него под очень сильным впечатлением: когда с ним встречался, когда он выступал на семинарах, в любой обстановке, даже в гостях у меня дома. И я чувствовал какую-то чрезмерную необходимость быть умным, что ли. Мне всегда хотелось говорить с ним о вещах важных, а не о кошках, там, или собаках. А может быть, ему надоедало все это?

И еще из личного, очень поразившего меня и в очередной раз очень понравившегося. Мне по долгу службы приходилось несколько раз содействовать разным встречам «больших» людей, приезжавших из Франции в Россию, с Левадой,

поскольку было известно, что я связан с его Центром. Я обычно сопротивлялся, но время от времени приходилось просить Юрия Александровича, не может ли он встретиться с неким «Х». Как-то должен был приехать какой-то очень важный человек – друг нашего президента, председатель какой-то комиссии, я точно не помню, чтобы в очередной раз ознакомиться с российскими проблемами и в том числе – с общественным мнением. Он захотел встретиться с Левадой, чтобы тот ему рассказал про общественное мнение, про ситуацию в России и тому подобное. Это было где-то в 2004 году. Этот человек захотел встретиться в ресторане «Пушкин». Пришли мы в этот «Пушкин», более китчевое место, конечно, трудно найти. И он задал несколько общих, необязательных вопросов: ну как тут у вас сегодня? И дальше в том же роде. Было видно, как Левада закрылся, стал все чаще отвечать только «да», «нет». Слава богу, с нами был Борис Дубин, который поддержал какой-то минимальный разговор. То есть полное нежелание поддерживать банальный разговор, отсутствие всякого интереса к званиям, регалиям, и тому подобному. Или человек его интересовал, или не интересовал. И если не интересовал, то тут, кем бы он ни был... А если интересовал – то поразительно, насколько он мог полностью мобилизоваться и заинтересоваться. Он очень любил разговор, любил, чтобы рассказывали, а когда понимал, что это формально, то выключался.

Другой такой случай был, когда он приезжал в Париж, и один очень известный социолог захотел с ним встретиться. Мы все вместе ужинали. Французский социолог постоянно задавал вопросы и иногда слушал ответы. Юрий Александрович мне говорит – ему главное показать, какой он умный. Помню, это умение Левады сразу понимать такие вещи очень меня тогда поразило. Умение видеть, кто есть кто.

И еще хотелось бы особенно вспомнить его очень большое внимание к Марии, к Елене, ко мне, как он интересовался нашей жизнью.

И еще. Была дискуссия: публичная социология – не публичная социология. Мне кажется, что социология – это все-таки не археология. То есть, если ты занимаешься современным обществом, что все-таки и является предметом социологии, ты не можешь говорить о нем так, как если бы ты говорил о Древнем Риме, это будет неправда. А если ты так говоришь, то ты под покровом научности просто бежишь от своего долга, в том числе – долга ученого. Ведь лишение пенсионеров льгот, расизм, состояние образования, здравоохранения – когда ты это описываешь, ты же не описываешь нравы древних греков, ты описываешь судьбы людей твоего времени. И описывать это так, как будто это тебя совершенно не касается, мне кажется просто безнравственно. Насколько я знаю, великие социологи совсем не были безразличны к социально-политическим вопросам. Можно назвать Мосса, Дюркгейма, Вебера. Социолог должен просто по своей работе часто давать какие-то оценки, высказывать мнения, давать консультации как специалист, и это имеет политические последствия. Причем в некоторых случаях эти высказывания и оценки используются затем совсем не с нейтральной позиции. Естественно, это надо иметь в виду. Я думаю, что внутри своего сообщества, внутри Советского Союза, России Левада вызывал раздражение по двум причинам. То, о чем я говорил – одна из них. Другая самая очевидная причина – незапятнанность, у него, конечно, в этом смысле был авторитет. <...>

2010

В КРУГУ ЮРИЯ ЛЕВАДЫ
Интервью Любовь Борусяк

Мы беседуем с директором «Левада-Центра», доктором философских наук Львом Дмитриевичем Гудковым в его кабинете, в котором много лет работал Юрий Александрович Левада и где он умер. Лев Дмитриевич достал из папки документы почти 40-летней давности – это так называемые «Календари», которые выпускали сотрудники сектора Левады в ИКСИ, практически уже разогнанного. Мы рассматривали эти листочки, рисунки, зачитывали написанные на них тексты. Практически погрузились в атмосферу того, очень печального времени.

Лев Гудков: Для меня отношения с Левадой – это две трети моей жизни.

Любовь Борусяк: Практически вся сознательная жизнь.

Л.Г.: С 1969-го года по 2006-й год. Да и сейчас я все время живу как бы во внутреннем разговоре с Левадой. Он для меня остается внутренним собеседником.

Л.Б.: Здесь, на этой должности, наверное, какие-то советы бывают очень нужны. Ведь, конечно, очень сложно быть директором «Левада-Центра» после Левады?

Л.Г.: Моя роль здесь очень скромная. Я просто хочу, чтобы Центр работал, как при Леваде, продолжал свои исследования, не снижая уровня и диапазона. Потому что мне кажется – и Левада это ясно понимал – роль нашего Центра очень велика. Она эталонна не только в том смысле, что задает определенную планку исследований и уровень интерпретации, но и в плане анализа того, что мы изучаем, понимания процессов, протекающих в обществе, проблем, трудностей, трансформации, неудач. И, конечно, очень важны исследования, которые социология раньше не очень брала, и которые

связаны с советским человеком – главным фактором сопротивления переменам и застойности режима.

Л.Б.: Лёва, а можно такой вопрос задать. Вы были знакомы 40 лет – это огромный срок. Левада менялся, как вам кажется? Какие изменения с ним происходили? Это видно все-таки на очень большом отрезке времени. Каким вы его увидели, когда совсем юношей пришли в сектор, и что изменилось за все это время? Мы с разными людьми разговариваем о Юрии Александровиче. Все, конечно, испытывают очень большое уважение и почтение к этому человеку. Но этот человек, наверное, в течение жизни менялся? Что с ним происходило, как вам кажется?

Л.Г.: Люба, понимаете, мы быстрее менялись в сравнении с ним.

Л.Б.: Когда вы пришли к нему работать, это уже был мэтр?

Л.Г.: Конечно. Ну, я его знал и по лекциям еще, и по встречам в неформальной обстановке. Его интересовала молодежь, и он, скажем, собирал студентов, чтобы поговорить с ними. Это было еще в университете.

У Левады вообще никогда не было признаков какого-либо страха. Он мог что-то недоговаривать, но не потому, что чего-то опасался. Просто его всегда занимала одна вещь: действительный ли это интерес или наигранный. Как только он чувствовал наигранность в любом смысле, он сразу терял интерес и отворачивался. А в том случае, когда он ощущал, что человеку что-то интересно, он включался, заражался и продолжал обсуждать. Как только он чувствовал, что человек соскальзывает на какие-то готовые клише и ходы мысли, он тут же терял к нему и к разговору с ним всякий интерес.

Л.Б.: Лёва, ну, это очень большая требовательность к людям. Постоянно ведь существовало напряжение – мало кому доступно постоянно жить таким образом.

Л.Г.: Было тяжело даже присутствовать при этом. Потому что когда человек такого класса теряет интерес к собесед-

нику, это иногда производило тяжелое впечатление.

Это тот уровень, который Левада задавал. Это действительно было очень трудно. Чего он не выносил, это фальши и лицемерия. Любого, даже с лучшими намерениями.

Л.Б.: Что Вы имеете в виду?

Л.Г.: Ну, когда человек хотел понравиться – или даже представить себя с лучшей стороны.

Л.Б.: Но ведь это вообще свойственно людям.

Л.Г.: Нет, в этом смысле он был очень жесткий человек. Я вам могу рассказать одну историю. Это мне рассказывала покойная Клара Ким.

Тяжелые времена, начало 80-х годов. Отъезд многих людей. Бездна надежд абсолютная. А Клара Ким – это наша знакомая, через которую мы поддерживали очень многие отношения с людьми уехавшими и сидевшими. Скажем, с Сергеем Адамовичем Ковалевым я встретился и познакомился на квартире у Клары, когда он только что вернулся из ссылки. Та что это был такой узелок разного рода отношений с диссидентами, с уехавшими, с эмигрантами. И была действительно очень тяжелая ситуация. Начало 80-х – полный тупик, ощущение того, что люди уходят, людей теряем. Клара говорит, что все время плачет. А Левада стоит лицом к окну, спиной к ней, молча слушает. И вот Клара говорит: «Жить невозможно, души не хватает». А Левада, не оборачиваясь, отвечает: «Значит, душа маленькая».

Вот такое отношение. Оно было для него очень характерно. И меня это всегда поражало. Потому что с такой перспективой жить, конечно, трудно. Вы понимаете это?

Л.Б.: Я даже не представляю, как это можно.

Л.Г.: Нет, он был суровый человек в этом смысле.

Л.Б.: Его окружали совсем молодые люди, когда вы в сектор пришли. Наверное, это была для вас для всех тяжелая школа?

Л.Г.: «Всем по двадцать семь» – была такая пьеса написана.

Л.Б.: А что за пьеса?

Л.Г.: Каждый Старый Новый год, который мы отмечали, сопровождался каким-то театральным действием, театральным представлением. К этому дню сочинялись какие-то тексты, и они разыгрывались. И вот Вика Чаликова, Алексей Левинсон и Таня Любимова написали тогда пьесу «Все по двадцать семь». Это действительно был средний возраст в пьесе, где действовали такие персонажи, как Структура и Функция по двадцать семь, Левада по двадцать семь, Седов по двадцать семь, Левинсон по двадцать семь и разные другие персонажи. Это было в 69-ом году, так что очень молодой был состав.

Л.Б.: Молодые люди, они много чем увлекаются, и не только высокой наукой.

Л.Г.: Вы знаете, очень весело было, честно вам скажу.

Л.Б.: Вы весело жили?

Л.Г.: Очень. Весело было. Вот, скажем, такая ремарка к роли Саши Ковалева в этой пьесе: «Саша Ковалев, замечательный прочтением двадцати пяти томов то ли Леви-Строса, то ли Леви-Брюля и умением отвлеченно мыслить на сексуальные темы». Это была такая абсурдистская, очень симпатичная пьеса. Она у меня до сих пор сохранилась.

Л.Б.: Вы долго готовились к этим праздникам?

Л.Г.: Собирались за пару дней и готовились к этому. Самое большое из такого рода сочинений – это наш «Календарь» знаменитый. Если хотите, можно его поискать и показать вам. Он очень красивый.

Л.Б.: Давайте.

Л.Г.: Он был написан в 1973-м году, весной, когда сектор уже разогнан был. И это была история ухода.

Л.Б.: Исхода.

Л.Г.: Да, исхода. Совершенно точно. И там день за днем был описан, каждая страничка – событие, и уход каждого человека.

Л.Б.: И это тоже пьеса была?

Л.Г.: Да, это пьеса такая была.

Л.Б.: Я думаю, что это скорее были уже слезы, а не веселый смех.

Л.Г.: Надо посмотреть.

Л.Б.: Ну, покажите, пожалуйста. И объясняйте.

Л.Г.: Вот город с открытыми воротами. Вы видите, что всех выпускают за ворота. «L» – это сектор Левады. А это портрет Руткевича.

Л.Б.: Руткевич просто потрясающий, очень похож. Лёва, а кто склеил этот замечательный коллаж?

Л.Г.: Мы делали его с Таней Любимовой. Понимаете, все это надо зачитывать.

Л.Б.: Сейчас мы все это и зачем.

Л.Г.: Вот это – самая первая запись:

22 октября 1970-го года. *Нормальный день в секторе. «Ян Джус сказал, что сто лет – это высший предел продолжительности человеческой жизни. Из тысячи людей даже одному не удастся достичь столетнего возраста. Они напрасно лишаются высших радостей юных лет и не способны почувствовать себя беззаботными на мгновение. Чем же отличается такой человек от колодника в тяжких оковах и путах? В Поднебесной люди глубокой древности знали, что в жизнь постепенно приходят, а в смерть постепенно уходят, и поэтому они действовали, подчиняясь порывам своего сердца. Они не отказывались от удовольствий при жизни, поэтому слава их не вдохновляла. Они не рассчитывали, когда к ним придет известность, и сколько лет они проживут» [3].*

Или еще вот такая запись, посмотрите:

Протокол № 159 заседания сектора изыскательского проекта «Методология исследования социальных процессов».

Повестка дня:

Обсуждение диссертации Голова «Элементы формальной теории организации».

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук.

Постановили: Просить ученый совет ИКСИ принять к защите.

Защиты не было – не допустили.

Л.Б.: Написано, что секретарем был Лев Гудков.

Л.Г.: Здесь, конечно, все перепутано, не сложено. Но вот **13 января** – это наш Новый Год после разгона сектора. Видите?

Л.Б.: Ну, да. Вижу скелет с елочкой.

Л.Г.: Да, этому предшествовала драматическая история. 12 января Седову вернули документы, которые он подавал в ЦЭМИ. Это когда Левада никого не смог взять с собой.

И вот еще одна запись: *«13 января по традиции встречали Старый Новый год у Седова. Присутствовали все».*

А эта страничка от **14 мая 1972-го года.**

Приказ по Институту конкретных социальных исследований № 1

«В соответствии с постановлением Президиума АН СССР считать себя приступившим к выполнению обязанностей».

Директор ИКСИ

Член-корреспондент М.Н. Руткевич

А далее следует:

Устав о свойственном градоправителям добросердечии

1. Всякий градоправитель да будет добросердечен.

2. Посему казнить, расточать или иным образом унич-

тожать обывателя надлежит с осмотрительностью, дабы не умалилась от таких расточений Российская империя, не произошло для казны ущерба.

3. В веселии и пиитии никому препятствий не полагать.

4. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

И вот весь наш календарь построен таким образом.

Л.Б.: Покажите еще, пожалуйста. Ужасно интересно.

Л.Г.: А вот это последнее, 214-е заседание нашего сектора. Оно было **6 июня 1972 года**.

Повестка дня:

Доклад Левады о работе сектора за все пять лет.

Л.Б.: Вы хотите сказать, что за пять лет было 214 заседаний?

Л.Г.: Да. За пять лет было 214 заеданий. Ну, что тут еще посмотреть?

Л.Б.: Вот что-то интересное про «Вопросы философии».

Л.Г.: Ушел Боря Юдин. Осталось всего три человека. Статья Юдина, вышедшая в первом номере «Вопросов философии» подверглась резкой критике товарища Ягодкина. И вот цитата:

«Я бы все запретил, ничего не нужно печатать. Просвещением пользуйся, читай, а не пиши. Книг уже довольно много написано, больше не нужно».

Л.Б.: Прямо плакать хочется.

Л.Г.: Ну, именно.

Л.Б.: Ужасно. Это мы начали говорить о том, как весело было. Покажите еще что-нибудь, пожалуйста.

Л.Г.: **15 февраля 1971-го года**. Протокол № 179. Заседание нашего сектора.

Повестка дня:

«О возможности типологии культурных традиций».
Доклад Зильбермана. Выступают: Шошников, Седов, Левада, Гордон, Стрельцов, Квасов.

Л.Б.: Кто такой Квасов?

Л.Г.: Квасов – это куратор из ЦК, который пришел к нам.

Л.Б.: Понятно, почему фамилия мне не знакома.

Л.Г.: Это было уже накануне разгона. А очень сложная работа была, замечательная по-своему. У Зильбермана диссертация была на 800 страниц. И он там строил типологию по отношению к ценностям, идеям, знаниям в разных типах культуры. Квасов сидел молча, а потом задал один вопрос: «Какое место занимают в вашей схеме революционные традиции рабочего класса?»

Л.Б.: Он ответил?

Л.Г.: Нет. Эдик растерялся полностью. Он потерял дар речи. И Левада что-то начал говорить, спасая и вытаскивая ситуацию.

Л.Б.: Я представляю реакцию окружающих.

Л.Г.: Да.

Л.Б.: А это что за цветочки?

Л.Г.: *«Собрались у Гастева. Присутствуют все».* О, Господи! Говорю я, и у меня просто все перехватывает.

Л.Б.: У меня тоже, Лёва. Я уже сижу почти в слезах. Представляю, каково вам. А покажите, что это? Мне не очень видно.

Л.Г.: Это – начало конкурса. Начала работать конкурсная комиссия, после чего началась чистка. Конкурсная комиссия увольняла одного за другим. Бокарев не проходит на должность завсектором. – Он был заведующим сектором и его не утверждают.

Л.Б.: А Бокарев, это кто?

Л.Г.: Один из сотрудников института. Вечером того же дня на партсобрании Манцеров не проходит в секретари пар-

тийной организации со счетом 60:61. То есть одним голосом. Зачитываю комментарий:

«Будучи коммунистами, все мы без исключения должны работать над собой в вышеуказанном направлении». Лю Шао-ци. «О работе коммуниста над собой». Пекин, Издательство литературы на иностранных языках. Продается по себестоимости для критики.

Л.Б.: А это что?

Л.Г.: Следующая запись: *«Уходит Пациорковский – осталось шесть человек»*. Мы же не могли уйти сразу.

Л.Б.: Почему?

Л.Г.: Некуда было идти. Вот еще одна пометка: *«Осталось семь человек»*. И так далее.

Л.Б.: Это мне напоминает дневник Тани Савичевой: осталась только Таня.

Л.Г.: Вот уходит Гастев – осталось девять человек.

Л.Б.: Он ушел немножко раньше других.

Л.Г.: А вот **13 марта**.

Заявка:

«Сектору изыскательского проекта «Методология исследования социальных процессов» для работы необходимы:

- магнитофон – 1 штука;*
- пленка – 2 тысячи метров;*
- скрепки большие – 4 пачки;*
- кисточки для клея – 5 штук.*

Завсектором

Ю.А. Левада

Это – реальная заявка в еще нормальной ситуации.

Л.Б.: Это еще март 1972 года.

Л.Г.: Это было еще до закрытия сектора. А вот **13 декабря**. День рождения Парсонса – ему исполнилось 70 лет. И

13-го Седов не проходит по конкурсу.

Л.Б.: Хорошую вы фотографию взяли: он сморщил лоб и удивленно приподнял брови. А это что за история?

Л.Г.: Это я хочу, чтобы вы посмотрели, с какой интенсивностью работал сектор. Смотрите.

1971-й год. 15 марта. Протокол № 181.

Обсуждение доклада Давыдова. «Макс Шеллер как социолог науки».

Доклад Наумовой. «Социальная организация и личность».

12 апреля. Протокол № 182.

Доклад Левинсона. «Концепция архаического сознания в книге Фрейденаберг «Поэтика сюжета и жанра».

20 апреля 1971-го года. Тема:

Секторская конференция по аномии.

Была большая конференция по этой проблематике.

Л.Б.: Ваша тема, с которой вы пришли к Леваде, она реализовалась.

Л.Г.: Да, 20-26 апреля 1971-го года.

Л.Б.: Вы там были главный участник?

Л.Г.: Нет. Я просто хочу, чтобы вы увидели, какой насыщенной и плотной была работа в секторе.

Л.Б.: А что дальше?

Л.Г.: *11 мая. Доклад Сигала и Зильбермана «Различия в понимании культуры в социальной и культурной антропологии».* Доклад Домбровича «Динамика личности у Фрейда».

17 мая. Доклад Виткина и Стрельцова «Идеальный тип у Вебера и Парсонса».

24 мая. Доклад Юдина «Анализ науки как социального института».

31 мая. Доклад Гуревича «Культурные формы как категория собственности в средневековье».

1 июня. Доклад Давыдова «Освальд Шпенглер».

Вы видите, насколько насыщенная и интенсивная шла работа почти каждую неделю.

Л.Б.: А это что? Это какой год?

Л.Г.: Это уже 1973-й год. Год разгона.

30 марта. *«Не проходят Наумова, Пригожин и Коржева».*

Л.Б.: А это?

Л.Г.: *215-е заседание. Доклад Левады «Урбанизация как социокультурный процесс».* Это уже доклад в ЦЭМИ, после ухода, когда стал продолжаться семинар. Присутствуют все.

Л.Б.: Как писалось ранее. А это что?

Л.Г.: **14 марта 1973 года.** После разгона. Это мы начали на квартире у Виткина Михаила Абрамовича домашний семинар по Веберу, где просто переводили Вебера, комментировали и разбирали. Виткин был «в подаче». Собирался уезжать.

А это вот идеальный город. На этом все заканчивалось. Ну, что вам еще показать?

Л.Б.: А это что такое?

Л.Г.: **3-го марта 1971-го года.** 27-го февраля состоялось голосование в Академии наук. Руткевич прошел одним голосом. 3-го марта состоялось голосование на общем собрании. Руткевич утвержден директором института.

Господин Б. – Что ж тут такого? Разве не попадаетя гусь и между действительными статскими советниками?

Господин П. – Ну, уж брат, это слишком. Как же может быть гусь действительный статский советник? Ну, пусть еще титулярный. Нет, ты уж слишком.

Л.Б.: Потрясающе!

Л.Г.: Эх!

Л.Б.: Просто документы эпохи.

Л.Г.: **18 марта 1972 года.** Окончился срок аспирантуры у Эдика Зильбермана. Это из его перевода Шанкары «Незаоч-

ное постижение»:

*«Незаочное постижение прочится в средство спасенья,
Мудрым лишь со стараньем, взыскуемое вновь и вновь.
Незримый в форме быванья, все это, собственно, разум.
Пусть мудрый о нем постоянно, как об Атмане, мыслит».*

Это – Эдик. А Эдик не смог закрепиться. Он, вообще говоря, не хотел уезжать.

Л.Б.: Не хотел?

Л.Г.: Нет, не хотел.

Л.Б.: А вот что тут с газетами?

Л.Г.: Начало разгона. Объявление в «Вечерней Москве»:

«Институт конкретных социологических исследований Академии наук СССР объявляет конкурс на замещение вакантных должностей заведующих отделов, заведующих сектором, заведующих лабораторией, старших научных сотрудников, младших научных сотрудников. Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования».

Комментарий из Дюркгейма. «Преступление совершается не только в большинстве обществ какого-либо определенного типа, но во всех обществах всех типов. Не существует обществ, не сталкивающихся с проблемой преступности. Ее формы меняются, однако всегда и повсюду есть люди, которые ведут себя таким образом, что это навлекает на них уголовное наказание. Нет другого феномена, который обладал бы столь бесспорными признаками нормального явления».

Л.Б.: Это, конечно, знаменитые слова.

Л.Г.: О, Господи.

Л.Б.: А это что?

Л.Г.: 15 января 1973-го года. Седов и Левинсон работают в ЦНИЭПе зрелищных и спортивных сооружений – ос-

талось четыре человека. Лева и Таня занимаются картотеками.

Нас тогда посадили на разбор материалов института.

Л.Б.: А что значит «разбор»?

Л.Г.: Были какие-то подвалы, и там мусор всякий в отделе информации. Уволиться нам некуда было, и нас из отдела теории перевели в отдел информации.

Л.Б.: Высококультурное место. А вот это что за текст?

Л.Г.: *«А иные из них сделались ночными сторожами. Они научились теперь трубить в рог, делать ночные обходы и будить прошлое, давно уже уснувшее. Подуй на эти листья скорее, Заратустра, чтобы все поблекшее скорее улетело от тебя».*

3-го мая уходит Виткин – осталось два человека. В этом году больше ничего не произошло.

Л.Б.: А кто эти два человека?

Л.Г.: Таня и я. Это 1973 год. Мы ушли очень скоро после этого.

Л.Б.: В принципе вас и выгнать не имели особого права – как молодых специалистов. Но это – другая история. А это что? Это Бульдозер?

Л.Г.: Да, а это Руткевич обходит институт. При знакомстве с сотрудниками сектора задает вопрос: *«Вы еще не смирились?»*

Л.Б.: Это правда?

Л.Г.: Правда.

Л.Б.: Вы сами это слышали?

Л.Г.: Это просто моя запись. Это правда, он так и говорил.

Л.Б.: Ну, неужели он так прост был?

Л.Г.: Нет, он не очень-то прост. Это садизм такой был.

Л.Б.: Ему нравилось?

Л.Г.: Ему нравилось.

Следующая запись. *Выходят книги Виткина «Восток. Философско-историческая концепция Маркса и Энгельса». – Очень хорошая книжка. И книга Юдина «Понятие целостности и его роль в научном познании».*

Л.Б.: Вышли?

Л.Г.: Да. Они успели. Вот такой календарь велся в секторе Левады.

Л.Б.: Давайте еще что-нибудь покажем, потому что это – бесценный документ эпохи.

Л.Г.: Читайте.

Л.Б.: *4-6 декабря. День рождения Седова, Гудкова.*

6 декабря конкурсная комиссия в отделе Васильева. Райкова спрашивает у Седова: «Не было ли у вас каких-либо проступков?»

Седов: Я был не пьян, а в здоровом уме и трезвой памяти.

Дридзе: Он сам себе все испортил.

«Многими историкам отмечалось, что бывают такие дни, когда все кажется необыкновенно прочно устроенным и удивительно прилаженным одно к другому, а весь ход мировой истории солидным. И напротив, бывают такие дни, когда все решительно валится из рук. Тумба, в которую ударил носком сапога, находясь в дурном настроении, император, внезапно повалилась набок. Кучер на козлах внезапно крикнул от неожиданности. «Где мерзавец Клейнмихель?» – спросил император, в упор глядя на кучера. Но кучер был муштрованный и на государственные вопросы не отвечал». И тут же рядом лежит фотография с дня рождения.

Л.Г.: Ну, а вот это Новый год. Присутствуют все. А вот еще *Приказ № 14 по Институту конкретных социальных исследований от 16 июня 1972-го года:*

«В связи с невыполнением государственных планов науч-

но-исследовательских работ ликвидировать сектор изыскательского проекта «Методология исследования социальных процессов». Сотрудников сектора передать в резерв дирекции.

Комнату у нас отобрали, передали отделу Грушина. Комнату, где был кабинет Левады и Кона, и нашу комнату. Всех выгнали оттуда.

«Из наук преподавать только три. Арифметику как необходимое пособие для взыскания недоимок. Науку о необходимости очищать улицы от навоза. И науку о постепенности мероприятий. В рекреационное время заниматься чтением начальственных предписаний».

Директор ИКСИ АН СССР Член-корреспондент Руткевич

Верно

Начальник отдела кадров

А вот это дата нашей ликвидации.

Л.Б.: 16 июля 1972 года.

Л.Г.: Да.

Л.Б.: А герб ваш кто придумал? Вообще, как вы его разрабатывали?

Л.Г.: Мы с Таней Любимовой.

Л.Б.: И сами нарисовали?

Л.Г.: Нам помогала знакомая художница. Потом он воспроизводился на моей книжке «Метафора и рациональность» [4] (показывает).

Л.Б.: Кроме герба вы в книге и посвящение поместили: «Всем шугаровцам...»

Л.Г.: Шугарово – это станция по Павелецкой дороге – два часа примерно на электричке. Это место было Виткина Михаила Абрамовича, заместителя Левады, где мы провожали

его, когда он уезжал. И с тех пор все наши летние встречи там проходили. Мы собирались на Старый Новый год зимой, а летом там наши встречи отмечали. Это были тоже такие грустно-веселые дни. Веселые, потому что мы все собирались, можно было поговорить, выпить и закусить. Выкупаться можно было, там речка была, лес. А грустно – ну, понятно, почему грустно.

Л.Б.: Лёва, больше, я думаю, ни о чем говорить не надо. И так все понятно. Огромное спасибо.

Л.Г.: Ну, что я мог передать? Я не знаю, передают ли эти картинки атмосферу или нет?

Л.Б.: Вот я уже сижу и плачу. А значит, передают.

Л.Г.: Согласитесь, что мало таких было мест.

Л.Б.: Очень мало, конечно.

Л.Г.: Когда разогнали, и ситуация совсем безнадежная была, у меня возникла идея. Всем уехать.

Л.Б.: Вместе?

Л.Г.: Да.

Л.Б.: Понятно. Собаки – на лежанке, дети – на руках.

Л.Г.: Это было важно для Левады. Мы с Лешкой Левинсоном на Новый год придумали такой сюжет про дирижабль. Помните, как в анекдоте. В колхозе урожай. Собрание. Что делать? Один говорит, мол купим фанеры, построим вот такой дирижабль...

Ну, мы из золотой бумаги его сделали и поставили пьесу. Она кончалась так: в опустевшем, заросшем травой дворе Первой образцовой франкфуртской школы опускается дирижабль. Вот литературную конструкцию Левада принял, а саму идею отъезда он категорически не принимал.

Л.Б.: Лёва, а почему?

Л.Г.: Он считал, что его место здесь. И всякие разговоры об этом не принимал. Хотя он с болью относился к расставаниям с уехавшими: уехал Зильберман, потом Гастева выдавили из страны. ГБ за ним охотилось, и он был поставлен перед выбором: либо сесть еще раз, либо уехать. Ну, и идея

была в том, чтобы воспроизвести на новом месте работу. Вот он категорически не принимал это. Как только заходили об этом разговоры, у него лицо каменело, и он всякие разговоры прекращал. Он считал, что работать надо здесь, наше место здесь. И мы здесь сами должны разбираться со своими проблемами, а не уезжать. И это было в самые тухлые времена. Идея эмиграции просто начисто отвергалась им. Это важно для понимания человеческого характера и отношений.

*Polit.ru. «Взрослые люди»
9 июня 2010*

И. Елисеева, Т. Шайдарова, В. Паниотто

НА СМЕРТЬ Ю.А. ЛЕВАДЫ

Из подборки журнала «Телескоп» С-пб. № 6 – 2006

* * *

С глубоким прискорбием мы узнали о непоправимой утрате. Уход из жизни Юрия Левады – это потеря не только для нашей науки, но и для всех людей, кому дороги те общечеловеческие ценности, которые отстаивал этот большой ученый. Его проект «Homo soveticus» навсегда войдет в отечественную социологию как образец инструмента исключительной точности и чувствительности.

Благодаря ему удалось проследить трансформацию массового сознания россиян в эпоху перемен, выявить противоречия в оценках и ориентациях. Продолжение этого проекта, анализ накопленного материала – долг тех, кто работал вместе с Ю. Левадой, его друзей и единомышленников.

Его идеи и труды всегда будут с нами.

По поручению коллектива Социологического института РАН (Санкт-Петербург).

Ирина Елисеева

* * *

Ушел из жизни Человек. Ушел из жизни Социолог. До последней секунды он служил ей, ее величеству социологии. И погиб на посту. Служба эта была нелегкая, подчас неблагодарная, но можно уверенно утверждать, что для Юрия Александровича она была счастьем и смыслом жизни; она давала ему возможность открывать людям истину, помогать ориентироваться в сложном водовороте российской жизни. Я не встречалась с Юрием Александровичем и знакома только

с его деятельностью, с его работами. Но всегда казалось, что Левада – это величина постоянная – константа! Есть Левада – значит, есть будущее у демократии, у социологии, у гражданского общества. Казалось, нет конца его мужеству, его энергии, его идеям. Есть такой маяк – Левада, по которому сверяют курсы и многие социологи тех далеких 60-х, и молодые – люди нового века. Левада – это имя давно уже стало нарицательным, мерой истины и надежности в социологии. Надеюсь, что и дальше мы, оставшиеся на посту российские социологи, будем измерять истину в «левадах».

Чтобы ему было спокойно...

Татьяна Шайдарова

* * *

Я не уверен, что был достаточно близок с Юрием Александровичем, чтобы мог писать о нём. Но мне кажется, что из отцов-основателей социологии в СССР он больше всех интересовался Украиной и чаще других сюда ездил. И он здесь известен больше, чем другие. Украинские информационные агентства и телевизионные каналы начали сообщать о смерти Левады через несколько часов после того, как это случилось.

Он активно участвовал в проведении экзит-поллов 2004 года, присылал на каждый тур выборов своих сотрудников, а во время «оранжевой революции» сам приехал, мёрз на майдане, даже простудился. У нас была очень сложная ситуация во время выборов и в период этих экзит-поллов. Это была большая радость – видеть его с нами и большая поддержка для нас. На пресс-конференции по результатам экзит-полла он неожиданно для всех нас и для журналистов заговорил на украинском, и довольно неплохо.

Владимир Паниотто

ЮРИЙ ЛЕВАДА СУМЕЛ УМОМ ПОНЯТЬ И НАУЧНО ОБЪЯСНИТЬ РОССИЮ

Про человека, прожившего на свете 76 лет, в любом случае трудно сказать, что он мало успел в жизни. Но Юрий Левада – из тех, кто успел гораздо больше, чем мог бы. Его не раз пытались остановить, а он не останавливался. Не поддаваясь на открытое давление, а порой и травлю со стороны власть предержащих, Левада не раз начинал заново там, где другие сочли бы за благо остановиться. Это счастливое качество. И всякий раз, начиная заново, он продолжал то, что уже сделал, – оставляя наследство своих дел самому себе и вполне востребуя это наследство на благо науке и обществу. И это – качество вдвойне счастливое.

Юрий Александрович Левада родился в 1930 году в Виннице. В 1952-м окончил философский факультет МГУ (знания по социологии, которой он увлекался всю жизнь, в нашей стране тогда можно было получить только там). С 1956 по 1988 год работал в научных институтах Академии Наук СССР. В 1966 году защитил докторскую диссертацию, посвященную социологическим проблемам религии. Являлся одним из инициаторов создания Института конкретных социальных исследований (ИКСИ), в 1967 году возглавил в нем отдел методологии исследования социальных процессов. В конце 60-х Левада уже читал студентам журфака МГУ лекции по социологии, науке, с которой только недавно была снята печать обвинения в буржуазности.

Позднее Левада вспоминал, что уже с конца 1950-х, а точнее, с октября 1956-го, стал подробно следить за событиями в Польше и за польской социологической литературой. Именно Польша, бывшая «самым веселым баракком социалистического лагеря» давала возможность своим ученым-социологам цитировать западных коллег и открыто приме-

нять западные методики. Не имея доступа в 50-60-е непосредственно к источникам из стран Запада, Левада осваивает достижения современной мировой социологии по польским перепечаткам и пересказам. Необходимость в этом ощущалась, ведь тогда в СССР не было своей собственной социологической школы, после эмиграции из страны основателя современной мировой социологии Питирима Сорокина развитие этой науки остановилось у нас на несколько десятилетий. Даже простейшие опросы общественного мнения не проводились, не говоря уже о более глубоких социологических исследованиях.

В условиях, когда научную школу приходилось создавать практически с нуля, Левада естественным образом читал студентам авторский курс социологии, опирающийся на весь объём знаний, полученных им из разных источников, не выверенных партийными функционерами по лекалам идеологических догм. Недостаточная опора на классиков марксизма-ленинизма и послужила предлогом для отстранения Юрия Левады от преподавательской деятельности, что означало тогда и серьезные финансовые потери для него лично, и невозможность продолжать нормальную научную активность, и чреватые увольнением или даже тюремным сроком проблемы по партийной линии. В 1969 г. Левада был не только отстранен от преподавания в МГУ «за идеологические ошибки», не только был лишен профессорского звания, но был уничтожен почти полностью тираж его только что изданных на ротاپринте «Лекций», а дорога к новым публикациям была перекрыта на долгие годы. Отдел Левады в ИКСИ также был фактически ликвидирован.

Будучи почти полностью отлучён от официальной науки, Левада-ученый, последователь Толкотта Парсонса и Питирима Сорокина, представитель структурного функционализма (теория, постулирующая наличие в обществе определенной совокупности функциональных требований и лишь затем выявляющая различные социальные структуры, осуществ-

ляющие эти функции), в течение всех 70-х и 80-х годов вел неформальный методологический семинар, объединявший единомышленников из разных научных сфер. Кроме того, он участвовал во встречах совсем уже закрытого узкого кружка ученых, интересовавшегося «Положением в Польше». Забастовки польских рабочих 1970-го, 1976-го, а особенно 1980-81 гг. изменили многое в Польской Народной Республике и потому вызывали жгучий неформальный научный и политический интерес. По его собственному признанию, Левадой двигала не столько зависть к соседям, не столько стремление повторить что-то подобное в СССР, сколько стремление понять механизмы функционирования просыпающегося общества.

Когда уже в годы перестройки Юрий Левада пришел во вновь созданный академиком Татьяной Заславской Всесоюзный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), он привел в новую структуру тех людей, с которыми работал еще в 60-е и связи с которыми ему удалось сохранить в годы правления последних советских геронтократов. Опыт неформального общения, неофициальных научных семинаров полностью оправдал себя и ВЦИОМ очень быстро стал признанным научным учреждением не только в СССР, но и во всем мире.

Уже тогда, в перестройку, руководство страны пыталось оказать давление на сотрудников ВЦИОМа с тем, чтобы как-то подкорректировать публикуемые ими результаты исследований центра. Но Левада не уступал и вскоре от ученых отстали.

В своих интервью журналистам и публичных выступлениях Левада не раз удивлялся тому, что власти стремились и стремятся исказить результаты, полученные социологами. Он искренне не понимал этого, ведь у руководства страны уже был опыт получения искаженных данных из рук спецслужб, зачем же заводить второе кривое зеркало как раз тогда, когда можно подстраховаться, перепроверить важную

информацию с помощью ученых. Именно необходимостью в таком прямом зеркале и была вызвана временная реабилитация социологии в 60-е годы, но затем власть снова утратила реализм.

Похоже, что-то подобное произошло и три года назад, когда, под предлогом акционирования ВЦИОМа, до того – государственного унитарного предприятия, – Леваду вынудили покинуть пост руководителя Центра, который он бессменно возглавлял с 1992 года. Все сотрудники ВЦИОМ ушли тогда вместе с ним в Аналитическую службу ВЦИОМ (ВЦИОМ-А), а позднее, когда в марте 2004 года компания изменила название, и в Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр).

С начала 90-х годов ВЦИОМ запустил и Левада-Центр сейчас продолжает серию масштабных исследований накануне выборов президента России и депутатов Государственной думы, выборов в законодательные и исполнительные органы власти субъектов федерации. Также с начала 90-х проводится постоянный «Мониторинг экономических и социальных перемен», основанный на результатах шести массовых опросов населения в год. Научная объективность и политическая беспристрастность этих исследований не раз подтверждалась как специалистами, так и политиками различных, в том числе противоположных и соперничающих друг с другом направлений.

Юрий Левада был при этом не только административным, но и научным руководителем проектов, дороже всего ставившим именно скрупулезную обоснованность результатов. Сотрудники Левады пытались понять смысл социальных изменений в нашей стране, не взирая на то, что понятное могло им чисто по-человечески и граждански не понравиться. Об этом Левада немало говорил в своих публичных выступлениях и интервью 2004-2006 годов. Выводы ученых часто оказывались обескураживающими для них самих, но исказить или не замечать их они не могли.

В частности, несмотря на почти всеобщую эйфорию российской гуманитарной интеллигенции и оппозиционных политических кругов после так называемой «оранжевой революции» на Украине, Левада на основании исследований своего центра, не видел в ближайшей перспективе возможности для повторения в России украинского опыта в какой бы то ни было форме. Не видел – и прямо говорил об этом.

Будучи, вероятно, самым опытным российским социологом, знатоком российского общества, процессов, которые в нем протекают, Левада, безусловно, испытывал соблазн активного вмешательства в эти процессы. Но все же стремление понять и объяснить страну по-настоящему превозмогло стремление ее по-быстрому изменить. Возможно, в точности, максимально возможной безусловности этого понимания Левада видел залог основательности будущих перемен, осуществлять которые, он был в этом убежден, должны будут не ученые и не представители уходящих со сцены поколений шестидесятников и семидесятников, а молодежь и люди среднего возраста, входящие или недавно вошедшие в политическую жизнь страны.

До самого последнего дня своей жизни Юрий Левада был активным, бодрым человеком и ученым, не утратившим ясности ума, рабочей формы и гражданской честности. За несколько дней до смерти он, помимо своей основной работы, встречался с журналистами, а непосредственно утром 16 ноября даже ответил по телефону на вопросы одной из студенток, готовившихся сдавать зачет по социологии преподавателю, бывшему некогда учеником Левады. Уже с утра Левада недомогал, но вышел на работу. Днем 16-го ему стало плохо, коллеги вызвали скорую помощь, но в московских пробках медикам потребовалось 40 минут, чтобы добраться к умирающему. Они не успели.

Lenta.ru
30.01.2009

Часть II

Ю.А. Левада. Избранное

ТОЧНЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

1. Мода или тенденция науки?

В последнее время в системе научного знания заметно возрастает роль абстрактных, формальных дисциплин (математических, логических) и – что нас в данном случае особенно интересует – происходит энергичное вторжение методов, приемов, аппаратов этих дисциплин в еще недавно «запретные» для них области исследования. Если более полувека тому назад В.И. Ленин отмечал «завоевание физики духом математики», то сейчас этот «дух» проникает в области, изучаемые биологией, психологией, экономикой, лингвистикой, социологией.

Явным, хотя не всегда строго определенным признаком этого «духа» может служить распространение в социальных областях тех методов исследования, которые принято считать точными. В обиходе «точность» часто смешивается с «истинным», «надежным», «подробным» (как «абстрактное» – с «пустым» или «формальное» – с «поверхностным», «невнимательным», и т.д. и т.п.) Очевидно, что понятие точных методов в научном исследовании имеет иной и значительно более узкий смысл. Формализованные языки науки «точные», поскольку их термины, равно как и правила их применения и интерпретации (перевода), строго определены математически, формально-логически. Образцы таких систем мы находим прежде всего в математике и математической логике.

Математизированное, формализованное знание является точным в том смысле, что оно абстрактно, то есть однозначно соотнесено со «своим» предметом.

Таким образом, мы рассматриваем в данном случае точ-

ность как характерную черту абстрактных дисциплин, имеющих дело с особым предметом исследования – абстрактными структурами, которые выделены развитием науки и практики. Только в этом смысле мы и будем пользоваться терминами «точные методы» или «точное знание». Никакая предметная дисциплина, изучающая определенную область действительности – естественную или социальную, – целиком формализованной быть не может и постольку в рассматриваемом нами смысле не является точной (что, разумеется, говорит о принципиальной ограниченности любых точных методов, хотя еще и не указывает строгих пределов их применения). В конечном счете движение научного знания в любой области опирается на конкретный опыт, предполагает какую-то подвижность определений и постольку не может быть уложено в жесткую формализованную систему. Это справедливо и в отношении самого математического знания (см. Д. Пойа. Математика и правдоподобные рассуждения. М. 1959). Но в то же время во всякой предметной области может складываться как бы жесткий «скелет» абстрактных, строго определенных соотношений, которые находят свое выражение в соответствующих формулах и терминах которые и превращаются в одно из важных вспомогательных средств дальнейшего движения всего «тела» исследования.

Поэтому разработка и применение точных, абстрактных, математических приемов моделирования отдельных сторон социальной действительности не противостоит всему комплексу общих, проверенных опытом средств изучения общества, опирающихся на методологию исторического материализма. Только на основе подлинно научной методологии социального знания возможно плодотворное развитие всех его методов, в том числе и «точных», формализованных.

Иногда высказывается мнение, что, поскольку математика изучает преимущественно количественные отношения действительности, объектом математических методов исследования являются «внешние», «количественные» стороны

явлений. За этим мнением кроется совершенно не обоснованная онтологизация категории количества. Количественный (или структурный, более соответствующий современной математике) анализ означает определенный способ исследования любых явлений и сторон действительности.

Постановка проблемы (или, точнее, возникновение идеала) «точного знания», «математизации» науки отнюдь не нова. Нетрудно заметить, что она сопровождала каждый взлет научной мысли в прошлом (например, античность, Просвещение). Об идеале математизации знания говорил Ф. Бэкон. Эта тенденция проходит через всю историю европейской мысли, в особенности с начала нового времени.

Тот факт, что человеческая мысль с удивительной настойчивостью уже много веков подряд стучится в дверь «точности», подкрепляет нашу уверенность в том, что мы имеем дело не просто с научной модой (с ее поверхностью, претенциозностью и соответствующими контраргументами), а с одной из необходимых тенденций развития научного знания. Но это еще ровно ничего не говорит нам о значении этой тенденции и о ее судьбах (то есть о том, открывается ли заветная «дверь» и сколь вместительно находящееся за ней помещение). Неудача же попыток создания «социальной математики», предпринимавшихся без достаточно развитого логико-математического аппарата, вопреки требованиям научного подхода к общественным процессам, и к тому же претендовавших на исчерпывающее описание этих процессов, не может не служить аргументом против рассмотрения новых возможностей точных методов исследования.

Ныне проблема применения (интерпретации – семантической и эмпирической) зафиксированных каким-либо образом систем знания занимает важнейшее место в методологии науки (см. П. В. Таванец и В. С. Швырев. Некоторые проблемы логики научного познания. «Вопросы философии» № 10, 1962, стр. 20).

Сейчас уже речь идет не о том, чтобы применять или не

применять математические или близкие к ним приемы в изучении общественных явлений, а о том, чтобы попытаться выделить реальное содержание современных изменений в методологии социального знания, отделить необходимость и перспективные тенденции развития науки от поверхностной моды.

Каким же образом используются в социальном знании методы точных наук?

Можно выделить по крайней мере три тесно связанных друг с другом уровня их применения.

Во-первых, «иллюстративный»: математические формулы, графики, логические конструкции используются в качестве добавочного, избыточного изображения или подкрепления определенных положений. С такой операцией мы на каждом шагу встречаемся, например, в популярно-педагогическом изложении науки как «суммы примеров» и т.д. Ее значения нельзя не признать: формализованное выражение определенной закономерности может способствовать большей четкости, наглядности, доходчивости материала. Но какого-либо развития, обогащения знания она не дает.

Во-вторых, «технический»: применение к данному социальному материалу готовой, *внешней*, по отношению к нему математизированной «техники» исследования (включая логическую и электронную технику).

Типичным примером может служить подбор эмпирических формул, пригодных для описания отдельных сторон социальной действительности, или статистическая обработка материалов массовых наблюдений. Об операциях такого типа говорится, например, в статьях П.П. Маслова (см. «Вопросы философии», 1962, № 3 и 1964, № 4). Процессы, которые иногда называют «социальной диффузией» (скажем, распространение каких-то сведений), могут достаточно эффективно изображаться при помощи хорошо известных формул математики, некоторые процессы развития хозяйства уподобляются цепным реакциям и т.д.

Так строятся математические модели, используемые в экономике, демографии, социальных исследованиях. На том же, по существу, принципе основано применение электронно-вычислительных машин для расшифровки каких-либо текстов (для машинного перевода), анализа исторических памятников и т.п. (см., например, подборку статей о применении математических методов историками в журнале «История СССР» № 1, 1964). Во всех этих случаях налицо как будто два не зависимых друг от друга ряда явлений, в которых мы находим определенные соответствия (изоморфизмы).

Дело, однако, в том, что производимая операция в действительности сложнее описанной. Прежде чем «считать» (исчислять, логически и математически моделировать), надо иметь особый предмет «счета». Во многих случаях этот предмет строится интуитивно, неосознанно. Скажем, подсчитывая количество населения в городе, мы редко обращаем внимание на то, что операции сложения, умножения и пр. производятся не над какими-либо конкретными индивидуумами, а над обобщенным, абстрактным предметом – понятием «житель». Различие задач подсчета обуславливает выделение различных «предметов» при одном и том же составе эмпирически данных объектов. При этом в то же время вопросы о том, как и для чего следует рассматривать эту массу – как «потребителей» или как «производителей», «зрителей», «заказчиков» и т.д., – требуют специального рассмотрения. Иначе говоря, «предмет» соответствующей операции должен быть сознательно построен.

В связи с построением предмета математического исследования мы переходим к более высокому, третьему уровню применения математических средств. Так, решение экономических задач предполагает каким-либо образом выделенный абстрактный предмет «счета» (если, скажем, речь идет о ценах в капиталистическом товарном хозяйстве, то в роли механизма обобщающей абстракции выступает и сам рынок; но учет стоимости и тем более потребительной стоимости «по-

лезности» продуктов требует применения теоретических способов построения соответствующих предметов). При машинном переводе (расшифровке) основная трудность состоит в создании формализованных словарей и грамматик, то есть опять-таки в построении абстрактного предмета, к которому применимы универсальные операции исчисления. Таким образом, прежде чем «считать», нужно иметь «что» считать. Нужно построить специальные абстрактные модели исследуемых процессов и явлений. Это уже социологическая, методологическая проблема, это «методологический уровень» применения средств точного знания к изучению социальной действительности.

Следует отметить, что при обсуждении в среде экономистов проблем применения математических методов в народном хозяйстве на первый план выступает вопрос о разработке математических моделей, критериев, оценок экономических процессов. Для успешного применения электронно-вычислительных машин в социалистическом хозяйстве, пишет В.В. Новожилов, «главным условием является *разработка математических моделей* экономических процессов» («Планирование и экономико-математические методы», М, 1964, стр. 317). Аналогичное положение создается и в других науках.

Очевидно, что и философское, общеметодологическое рассмотрение проблемы точных методов в изучении общественных процессов прежде всего требует обсуждения возможностей построения соответствующего предмета исследования, то есть абстрактных моделей таких процессов.

Существует точка зрения, будто имеются какие-то «естественные» различия в отношении тех или иных областей науки к «точному» знанию.

По мнению ряда авторитетных авторов, современные средства логического и математического выражения слишком примитивны и не пригодны для адекватного выражения

столь сложных явлений, как социальные или биологические. «Математический язык и математический образ мышления, которые сложились в основном на базе задач физики, механики, техники, слишком далеки от учета физиологической специфики, не адекватны основным физиологическим явлениям и понятиям физиологической науки», – пишут математики И.М. Гельфанд, В.С. Гурфинкель и М.Л. Цейтлин (сб. «Биологические аспекты кибернетики», Ан СССР, 1962, стр. 66). В том же духе высказывался Н.А. Бернштейн (там же, стр. 57). Наконец, аналогичный момент отмечают Дж. Кемени и Дж. Снелл. Они говорят, что математика, применяемая к социальным наукам, должна быть «более тонкой», а «время для того, чтобы развить нетривиальные модели для социальных наук, может быть значительным даже в наш век быстрого научного прогресса» (J.G. Kemeny, J.L. Snell. *Mathematical Models in the Social Sciences*. Boston, 1962, p. 7). Правда, эти авторы тут же делают чрезвычайно любопытную оговорку: поскольку математика рассматривает любые абстрактные отношения, она «применима к любой хорошо определенной области» (там же, стр. 8). В результате возникает мысль о том, что нет нужды упрекать в «грубости» математику, ибо дело прежде всего в «неопределенности» того предмета, к которому ее стремятся применить. Таким образом, перед нами опять вопрос не столько о том, как «считать», сколько о том, что «считать», то есть как выделить строго определенные абстрактные структуры в соответствующих областях.

«Кажется правильным начинать с реального и конкретного, с действительных предпосылок, следовательно, например в политической экономии, с населения, которое есть основа и субъект всего общественного процесса производства. Между тем при ближайшем рассмотрении это оказывается ошибочным», – пишет Маркс, характеризуя свой метод в политической экономии (Соч., т. 12, стр. 726). Правильным и плодотворным оказывается, по его словам, метод восхождения от

«тощих абстракций» и «простейших определений» к конкретному целому. Научный анализ, по словам Маркса, начинается не с непосредственно данных «живых» отношений общественного целого, а с определенных абстрактных изображений этого целого, его сторон, свойств. Гюйгенс не создал бы теории маятника, если бы он ограничился изучением действительного, «материального» маятника. Мы не имели бы политической экономии Маркса, если бы ее создатель не начал с абстрактных характеристик товара, труда, производства и т.д. Очевидно, существуют различные уровни в процессе создания подобных абстракций.

Между тем характерная черта ряда проектов «математической социологии» (Додд, Рашевский, Саймон) состоит как раз в том, что проблема построения специфического предмета исследования заменяется конструированием формул для выражения «наблюдаемых фактов».

Возможности образования абстрактных моделей реальных процессов существуют в различных областях исследования. Но значением подобных моделей неодинаково в различных областях. Всякое построение абстрактного предмета исследования «оплачивается» ценой потери каких-то особенностей, качественной «индивидуальности» непосредственно данных явлений, процессов, областей действительности. Учесть целесообразность подобного огрубления процессов можно, лишь исходя из логики самой предметной области. Содержание, значение, рамки использования абстрактных моделей в социальном знании – проблема социологическая. Чтобы выделить соответствующую абстрактную структуру и определить ее значение, нужно исходить из «предметной структуры», из содержательной, а не только формальной «логики» данного предмета исследования.

2. О специфике социального моделирования

Нас интересует лишь один, методологический аспект специфики социального моделирования, то есть возможность построения «точных» абстрактных моделей социальных явлений. Имеет широкое распространение возведенное усилиями Риккерта и других в некую догму представление о принципиальной невозможности распространения на социальное знание тех методов анализа явлений и построения теоретических конструкций, которые сложились в других областях. Основой подобных представлений обычно служит часто встречающееся отождествление методологического и предметного плана рассмотрения действительности. Предполагается, что поскольку в социальной жизни фигурируют такие предметы, как люди, их воля и сознание, орудия и продукты производства и т.д., то к ним применимы лишь абсолютно специфические методы исследования. При этом «метод» низводится до зеркального отображения объекта. Между тем сопоставление и взаимосвязь методов исследования различных областей действительности возможны прежде всего потому, что наука (и сознание вообще) имеет право исследовать, «как» происходит движение в той или иной области (то есть ее структуру), отвлекаясь от того, «что» движется, иначе говоря, рассмотрение реального объекта замещается в этом случае рассмотрением одной из его абстрактных моделей.

Взаимная связь и взаимообогащение методов различных областей знания – явление не новое. Скажем, в прошлом веке с его явно выраженной тенденцией к обособлению различных сфер знания получили широкое распространение за пределами своего «места рождения» и приобрели методологическое значение категории «прогресса», «эволюции», «клеточки», «организма» и т.д. (что далеко не тождественно анализу содержания таких категорий!). Существуют, конечно, внутренние пределы для подобных заимствований. Именно о них

говорит В.И. Ленин, разбирая «благонамеренные», по его словам, попытки А.А. Богданова «подогнать» биологические дефиниции «под готовые выводы марксизма», переодевание им «уже раньше добытых этим исследованием результатов в наряд биологической и энергетической терминологии» (Соч., т. 14, стр. 314).

Общеизвестно, что в любом социальном процессе и явлении можно выделить такие стороны или элементы, которые подлежат рассмотрению в рамках биологии, механики или аналогичны процессам, которые изучаются этими дисциплинами. Допустим, проблема потребления пищи может рассматриваться в плане ее калорийности, характер урбанизации может оцениваться скоростью передвижения жителей в городе, научная работа измеряться объемом опубликованных трудов и т.п. В каждом из этих случаев нечто специфическое заведомо, в каких-то специальных целях, рассматривается вне этой специфики, в рамках иной системы (подобным же образом можно, например, факты культурной жизни анализировать с экономической или правовой их стороны). Тот же прием употребляется при построении теоретических моделей, основанных на изоморфизме разнородных явлений, при нахождении эмпирических формул для различных процессов. Фактически такие средства и модели не затрагивают специфики социального, ибо последняя сознательно снимается. Не подлежит сомнению, что определенные моменты социальной действительности могут описываться при помощи тех же моделей, которые были разработаны применительно к другим областям знания. Однако столь же несомненно (и даже тавтологично) утверждение о том, что никакая совокупность «внешних» приемов рассмотрения этих явлений не способна не только охватить их всесторонне, но даже проникнуть в их специфику, в их специфическую структуру, системность.

Но существуют ли вообще средства для того, чтобы проникнуть «внутри» социальной структуры? Можно ли в прин-

ципе построить абстрактные модели внутреннего «механизма» социального движения – причем такие, которые имели бы содержательное значение для развития научной мысли?

Доводы, которые выдвигаются обычно представителями идеалистических направлений в социологии (или могут возникнуть в обыденном сознании) против применения точных приемов знания к изучению социальной жизни, основаны обычно на упоминавшейся тенденции «онтологизировать» специфику «собственно социального», вынести ее за рамки объективного научного исследования вообще. Самое общее из возражений сводится к тому, что социальная действительность «слишком сложна» для строгого научного анализа. При этом показателями сложности считается множественность субъектов, неповторимость ситуации, присутствие «духовного начала», воли и сознания людей, неустранимость элементов субъективности в оценке значения явлений и т.д. Общественная наука и не претендует на теоретическое изображение соответствующей области действительности «во всей ее сложности». Да этого и не требуется. «Сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 Марксов. Самое большее, что открыты *законы* этих изменений, показана в главном и в основном *объективная* логика этих изменений и их исторического развития» (В.И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 311). Частные социальные дисциплины рассматривают «логику» отдельных сторон жизни общества. Социология как наука призвана давать теоретические изображения логики этой жизни как целого (как системы или иерархии систем), но не описание всей совокупности социальных явлений, связей, процессов, систем. Всякая теоретическая модель реальных процессов одностороння, узка, ограничена; причем эта ограниченность едва ли не прямо пропорциональна ее определенности, «точности». В этом смысле всякое абстрактное изображение процесса будет «внешним» по от-

ношению к нему. Вопрос заключается в том, как построить такие абстрактные модели, которые позволяли бы судить о специфических для общественной жизни структурах и процессах.

Множественность социальных субъектов (индивидов) – реальный, зримый факт, из которого исходит фактически вся социология, вдохновляющаяся индивидуалистическими или бихевиористскими установками, следуя которым социолог в основу понимания общества кладет предполагаемое понимание сознания или поведения индивида. Вот вполне последовательное изложение этой точки зрения Г. Карлссоном: «Социология есть изучение функционирования групп и обществ. Группы и общества составлены из индивидуальных лиц. Эти лица взаимодействуют, в противном случае они не составляют группы. Таким образом, социология может быть описана как изучение взаимодействия и поведения двух или более взаимодействующих лиц» (G. Karlsson. *Social Mechanisms* Glencoe. 1958. p. 11). Неудачные попытки создания на этой основе точных систем социологического знания ведут к отказу от построения абстрактных моделей общества во имя «микромоделей», то есть формул и схем, которые должны изображать структуру поведения индивида или малой группы в данных социальных обстоятельствах. Можно сказать, что в подобных социологических теориях (к которым прилегают и упомянутые выше попытки создания «математических социологий») одним и тем же способом «преодолеваются» трудности исследования сложной социальной действительности: выделяется некий набор «простых» индивидуальных актов, оценок, желаний и т.п., которые повторяются в различных конфигурациях.

Иной путь теоретического анализа общества предполагает поиски упорядоченных закономерностей общественной жизни в деятельности масс, классов, общественных систем, то есть организованных и целостных множеств людей. Этот путь предполагается самой методологией исторического ма-

териализма, который, по словам Ленина, в отличие от всех предшествующих социальных теорий охватывает деятельность масс. Эта установка существенно изменяет всю проблему «сложности» общественной жизни. Дело не просто в уменьшении количества социальных объектов при сведении индивидуального к социальному. В последнем сняты, взаимно аннигилированы индивидуальные варианты стремлений, способностей, интересов и пр.; лишь общественно необходимое оказывается здесь значащим. Поэтому в деятельности «социальных субъектов» неизмеримо меньше элементов случайности, меньше степеней свободы системы. Очевидно ведь (для сравнения), что деятельность отдельного солдата в принципе сложнее (информационно богаче), чем деятельность армии, точно так же как движение молекулы «сложнее» движения солнечной системы. Именно последняя в большей мере поддается теоретическому анализу. Эта же мысль содержится в известном афоризме Н. Винера: «Государство глупее, чем большинство его членов» («Кибернетика». М., 1958, стр. 200). Аналогична мысль А.А. Ляпунова о том, что, чем шире группа, «тем меньший и тем более поверхностный объем информации от каждого индивидуума поступает в общий котел» (А.А. Ляпунов. Об управляющих системах живой природы и общем понимании жизненных процессов. Сб. «Проблемы кибернетики», вып. 10, 1963, стр. 188). Тот очевидный факт, что структура «более широкой группы» обуславливает появление новых закономерностей ее поведения и новых каналов передачи информации, не противоречит отмеченному соотношению.

Переход от созерцания поступков «непосредственно зримого» множества индивидов к теоретическому изображению иных компонентов социальной действительности – общественных действий масс, социальных процессов, систем, институтов – позволяет преодолеть и традиционные для старой социологии положения о «неповторимости» ситуаций общественной жизни.

Это не только «гносеологический» прием. Внимание социологической мысли к движению целостных социальных образований и «абстрактных» социальных структур, снимающих информационное многообразие индивидов, определяется тенденциями развития самой социальной действительности. «Абстрактные» социальные структуры столь же реальны, сколь, например, исследованный Марксом «абстрактный труд» (см. Соч., т. 17, стр. 730), и они с такой же очевидностью обнаруживаются в современном обществе. Политэкономом может свести всякий конкретный, индивидуальный и неповторимый акт труда к некоторому количеству абстрактного труда, то есть в конечном счете к отношениям стоимости, лишь потому, что в системе капиталистических отношений труд выступает как создатель стоимости. Аналогичным образом социолог вправе отвлекаться от неповторимой индивидуальности отдельных личностей и отдельных конкретных ситуаций, оперируя «абстрактными» категориями, массовыми явлениями, общественно значимыми практическими результатами мыслительных процессов, ибо именно ими «оперирует» сама история общества. Действия человека могут быть заменены действиями машины (или объяснены таковыми, то есть теоретически заменены) лишь постольку, поскольку они *уже* деиндивидуализированы, механизированы. Аналогии отдельных сторон общественной системы с «машиной» (в кибернетическом смысле: см. У.Р. Эшби. Конструкция мозга, М., 1962, стр. 52) или с «организмом» действительны, поскольку подобное «замещение» имеет место в действительности.

Как выяснил Маркс, лишь извращенно-философскому сознанию этот процесс представляется исторически развивающимся отчуждением «общества», общественной нормы и необходимости от «человека», в то время как на деле здесь лишь выступает тот «костяк», та структура общества, которая доселе была скрыта, завуалирована, зашифрована (см. Соч., т. 3, стр. 69).

3. Некоторые перспективы

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о возможности различных, дополняющих друг друга направлений абстрактного моделирования общества, каждое из которых способно зафиксировать отдельные стороны, моменты, соотношения этого бесконечно сложного, живого целого. Мы остановимся на некоторых из этих направлений, располагая их в порядке возрастания специфичности («социальности») описываемых ими процессов.

Прежде всего социальная действительность служит объектом статистического исследования и воспроизведения. Статистические методы анализа и моделирования изучаемых явлений давно завоевали право гражданства в самых различных областях социального знания: в демографии, экономике, лингвистике, в конкретно-социальных исследованиях и т.д. Социологическое значение статистики, на которое в свое время указывал В.И. Ленин, в настоящее время вряд ли нуждается в доказательстве. «Универсальная» применимость статистических приемов объясняется тем, что в социальной действительности мы повсеместно имеем дело с массовыми процессами и явлениями, которые могут быть выражены с помощью определенного множества величин, притом величин соизмеряемых и не зависящих друг от друга. Это относится и к статистическому моделированию («метод Монте Карло»). И, наоборот, эти приемы теряют свою действительность при изучении «слишком коротких» рядов, при рассмотрении явлений взаимосвязанных, явлений, включенных в определенные структуры. Из того обстоятельства, что «основные величины, действующие на общество... определяются чрезвычайно короткими статистическими рядами», Н. Винер сделал вывод, что «гуманитарные науки – убогое поприще для новых математических методов» («Кибернетика», стр. 40, 41). Это вполне реальное препятствие можно преодолеть, во-первых, путем выделения в многообразии социаль-

ной действительности таких сторон, где действуют «длинные» статистические ряды (например, в языковых нормах), и, во-вторых, путем использования приемов системного анализа соответствующих явлений.

Методологические проблемы изучения систем в последние годы интенсивно обсуждаются в научной и философской литературе (см., например, статью В.А. Лекторского и В.Н. Садовского. О принципах исследования систем. «Вопросы философии», 1960, № 8). При этом определились различные приемы подобного исследования. Например, получили известность разрабатываемые Л. Бергаланфи и его группой приемы математического моделирования различных областей действительности (преимущественно живой природы) как «закрытых», «открытых», «устойчивых», «гармонических» и т.п. систем. Специфическая особенность такого приема состоит в характеристике систем по их связи со «средой», с иными системами, по их способности сохранять свою целостность, без рассмотрения внутреннего механизма, который обеспечивает функционирование данных образований. Подобные методы, получившие распространение в различных дисциплинах (см. В.Н. Беклемишев. Об организации систем живой природы. «Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический», 1964, № 2), находят применение и в изучении некоторых моментов общественной жизни. Например, различные формы общности людей, общественные группы и институты могут характеризоваться по их устойчивости, способам связи с социальной средой. На подобной основе возможна известная систематизация социальных явлений. Очевидно, что здесь перед нами опять-таки не только чисто методологический прием (поскольку определенная «классификация» систем осуществляется самим процессом общественного развития).

Иной тип анализа систем представлен кибернетикой, поскольку последняя конструирует общие модели систем управления, «функциональных систем» или «систем с обрат-

ной связью». В рамках функциональной системы приобретает реальный смысл различие «материальных» и «информационных» процессов, фиксируется зависимость данного состояния процесса от последующего состояния (собственно говоря, функциональная система фиксирует взаимообусловленность фаз процесса, а не их последовательность). Функциональная система по самому своему определению гомеостатична, то есть обладает тенденцией к поддержанию «заданного» состояния. «Нет сомнения, что общественная система является организованным целым, подобно индивидууму; что она скрепляется в целое системой связи; что она обладает динамикой, в которой круговые процессы обратной связи играют важную роль», – констатировал Винер («Кибернетика», стр. 39). Однако сколько-нибудь конкретная кибернетическая интерпретация общественной системы с таких позиций порождает серьезные трудности.

Правомерность оперирования кибернетическими категориями функциональной системы при анализе общества, вообще говоря, обусловлена выявлением в социальной действительности таких систем, которые могут быть уподоблены «социальным организмам». Известно, что научный подход к пониманию общества как организованного целого разработан марксизмом и для характеристики этого целого. Маркс и Ленин неоднократно пользовались понятием социального организма.

Применение определенных понятий кибернетики как общей теории управляющих систем позволяет выделить в социальных организациях «управляющие», «регулятивные» системы. Появляется возможность обобщенного рассмотрения различных социальных институтов, которые осуществляют управление общественным процессом (политических, идеологических, а также «стихийно-статистических» – примером последних может служить капиталистический рынок). Представляется перспективным, например, сопоставление «организованности» различных формаций на основании соотно-

шения их структурных и статистических регуляторов, а также анализ присущей им иерархии относительно автономных саморегулирующихся систем. Такое сопоставление, в частности, позволяет выявить важные специфические черты социалистической организации общества и некоторые проблемы ее дальнейшего развития. В определенном аспекте общесоциологическая проблема соотношения сознательности и стихийности выступает как проблема соотношения различных структурных уровней регуляции общественного процесса (ведь стихийность не просто «беспорядок», а определенный уровень регуляции).

В последнее время наибольшее внимание к кибернетическим моделям общественных явлений проявляют, по понятным причинам, экономисты. При этом вопрос о разработке соответствующих моделей народнохозяйственной системы как целого закономерно ставится именно в нашей экономической науке (см. В.С. Немчинов. Экономико-математические методы и модели. М., 1962, стр. 215 и др.).

В буржуазном же обществе математико-экономическая мысль отдает преимущество кибернетическим моделям отдельных предприятий и фирм как автономных саморегулирующихся систем (см., например, С.Т. Бир. Кибернетика и управление производством. М., 1963, стр. 172, а также статью С. Роум и Б. Роум в сборнике «Computer Applications in the Behavioral Sciences». Englewood Cliffs, 1962). И именно задача разработки моделей саморегулирующейся системы хозяйства (см. В.С. Немчинов. Цит. соч., стр. 52, 54) с необходимостью приводит к выводу о том, что в наших условиях «чисто экономическая» система в весьма ограниченной мере может рассматриваться как замкнутая и саморегулирующаяся. Внеэкономические факторы общественного процесса должны выступать элементами саморегулирующейся системы, а не посторонними ей «толчками» или «помехами». Вопрос об экономических моделях общества перерастает в вопрос о моделях социологических.

Отметим две принципиальные трудности в изображении общественных систем при помощи кибернетических моделей. Во-первых, все сказанное выше по этому поводу пока относится лишь к применению «духа» кибернетического моделирования, как бы системы кибернетических «образов», к характеристике общества. Чтобы от «образов» перейти к «понятиям», нужно научиться каким-то образом измерять количество информации, циркулирующей в той замкнутой системе, при помощи которой изображается общественный организм. Это измерение предполагает, как известно, учет альтернатив поведения данного «организма». Возможности такого подсчета (как бы перечня вероятностных состояний, которые способна принимать подобная система) в настоящее время не разработаны. Другая трудность более существенна. Кибернетическая (функциональная, управляющая) система, по определению, система адаптивная, «вневременная», в то время как в общественной жизни (да и в живой природе) мы имеем дело с развивающимися, изменяющимися во времени системами. Втиснуть их в рамки кибернетики невозможно. Но это показывает нам, что кибернетика универсальна в описании одного из аспектов действительности (у нее, как и у других «точных» дисциплин, свой абстрактный предмет), другие же аспекты требуют иных способов абстрактного изображения, иных моделей.

Существенная черта протекающего во времени общественного процесса состоит в том, что в нем происходит непрерывная смена «субстрата» (людей, поколений, средств производства) при сохранении «формы», то есть системной организованности процесса (в известных пределах, конечно). Социальная система является таким образом «порождающей» («исторической»). Это происходит благодаря тому, что движение общества связано с действием особых структур – особых типов человеческой деятельности, особых институтов, – которые обеспечивают хранение и передачу из поколения в поколение социальной «наследственной информа-

ции». Это, вообще говоря, еще не специфическая черта общественной жизни; порождающие, или «исторические», системы действуют и в живой природе. Но там «наследственная информация» кодируется и передается преимущественно через биологические организмы (через генетический аппарат), и лишь малая ее часть, у высокоорганизованных животных, — через семью и популяцию (обучение). В человеческом же обществе соотношение форм передачи «наследственной информации» совершенно иное (см. В.В. Иванов. Язык в соотношении с другими средствами передачи и хранения информации. Сб. «Математическая лингвистика и машинный перевод». Киев, 1962). Здесь фактически все приобретения социального опыта хранятся и передаются по наследству через многообразные системы специфически социального происхождения и значения. «Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 37. Разрядка моя. — Ю.Л.), составляет, по Марксу, условия, определяющие характер деятельности этого поколения. Формы общения могут рассматриваться нами как формы передачи информации в общественной системе. Совокупность форм общения, характерных для данной системы общества, составляет содержание его культуры.

Конечно, применение столь общего термина, как «формы общения», к весьма широкому кругу явлений и даже целым социальным институтам не означает отрицания их реальной разнокачественности, их диалектической, социальной и классовой противоречивости. Более того, использование общего представления о передаче форм общения помогает выявить некоторые особенности исторически различных типов (или уровней) общения. Различные эпохи общественного развития отличаются друг от друга способами и формами общения, а стало быть, в частности, и тем, как хранится и передается во времени социальная информация.

Можно, например, рассматривать вопрос о том, сколь дифференцированной является культура соответствующего уровня. На «примитивных» уровнях цивилизации наследственная социальная информация, по-видимому, передается такими «блоками», нерасчлененными кусками, которые включают описание среды, субъекта и действия как чего-то цельного. (Эта цельность является одной из основ субъективного, антропоморфного изображения мира; см. Ю.А. Левада. Социологические проблемы критики религии. «Вопросы философии», 1963, № 7, стр. 41-43). Для современных форм общения характерна передача общественного опыта в расчлененном виде, прежде всего как далеко зашедшее разграничение в описании объекта, субъекта и норм человеческой деятельности. Но реально действующая в массах «культурная система» не сводится, видимо, никогда к этому уровню: в ней сохраняются и вновь складываются «привычные» действия, которые закрепляются и передаются именно в целостном, нерасчлененном виде, как «культурные окаменелости», по выражению Л.С. Выготского (см. Л.С. Выготский. Развитие высших психических функций, М., 1960, стр. 137), причем, конечно, конкретное содержание «привычек» изменяется.

В ином плане можно различать типы форм общения по характеру их связи с другими сторонами социальной жизни. «Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни... То же самое относится к духовному производству, как оно проявляется в языке политики, законов, морали, религии, метафизики и т.д. того или другого народа» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 24. Разрядка моя. – Ю.Л.). Очевидно, здесь речь идет не о «лингвистических» (например, обыденных, разговорных, национальных) языках, а о языках культуры, об идеологических системах, рассматриваемых как особые языки. К этим языкам

относится и «язык реальной жизни», то есть практической, например, производственной деятельности, рассматриваемой как средство общения. Выделение из общей массы практической человеческой деятельности особых, господствующих над ней идеологических систем, превращающихся затем в обособленную сферу разделения общественного труда, можно считать одной из тенденций развития общества. Другой тенденцией явится в таком случае закрепление идеологических систем в привычках, потребностях, повседневной деятельности масс – это как бы ликвидация обособленности идеологий, их возвращение к «языку реальной жизни». Различной степени самостоятельности идеологической системы, очевидно, соответствует и различная ее информационная емкость.

Сказанное непосредственно приводит нас к проблемам семиотического анализа «языковых» систем различных обществ. Общая семиотика разработана Моррисом и другими как формальная бихевиористская дисциплина; многими марксистскими авторами она воспринята прежде всего как теоретико-познавательная конструкция (см. G. Klaus. *Semyotik und Erkenntnistheorie*. Berlin, 1963). Между тем существуют вполне реальные возможности для разработки семиотических проблем в социальном плане, то есть в плане коммуникативного значения знаковых систем.

Таковы некоторые направления в создании «точных» моделей определенных аспектов социальной действительности. Возможны и другие пути. В недалеком будущем можно предвидеть усиление внимания к обсуждению этого круга проблем в среде социологов, не говоря уже об экономистах, историках, математиках. Сколь ни очевидна ограниченность, неполнота, узость любых абстрактных срезов «вечного дерева жизни» – общества, те перспективы, которые они открывают или обещают открыть перед познанием общества (а заглядывая в будущее, и в управлении им), все же оказываются слишком заманчивыми.

Язык «точных» моделей и приемов исследования позволяет выразить определенные стороны социальной действительности, обнаружить общность, аналогии, связь и т.д. в таких процессах, где они нередко ускользают от привычного взгляда исследователя. Один из основных стимулов разработки всего комплекса проблем «точного» знания в социальных дисциплинах составляет растущая потребность в управлении общественными процессами. Наконец – и это в настоящее время едва ли не самое важное – разработка этих проблем способствует анализу структуры социального знания в целом, выявлению различных его компонентов.

«Вопросы философии»
№ 9 – 1964 г.

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИИ

Единство научного познания

Современные задачи развития общественных наук в социалистическом обществе – и прежде всего задача повышения научного уровня управления социальными процессами – придают серьезное значение разработке новых методов социологического исследования, изучению наиболее эффективных путей сочетания различных способов социального познания. Важную основу научного руководства развитием общества составляет исторический материализм. Марксистская социология дает научно верную картину общественного процесса во всей его сложности и противоречивости, являясь теоретическим инструментом революционно-практического преобразования действительности.

Ленин неоднократно обращал внимание на недопустимость сведения методологии общественных наук к совокупности раз навсегда заданных формул и категорий. Как и всякая наука, марксистская социология не может развиваться, не обогащая свой методологический арсенал, не осваивая новейшие средства исследования тех или иных сторон действительности. «Могущественный ток к обществоведению от естествознания шел, как известно, не только в эпоху Петти, но и в эпоху Маркса, – отмечал Ленин. – Этот ток не менее, если не более, могущественным остался и для XX века» (Соч., т. 20, стр. 176). Материализм – в том числе и исторический материализм – обогащается новыми методами и категориями с каждым новым крупным открытием и в естествознании.

Критикуя старую историографию, Маркс писал, что она «принимает во внимание естествознание лишь между прочим, как фактор просвещения, полезности, отдельных великих открытий» (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произве-*

дений, стр. 595), не будучи в состоянии усвоить его дух, его материалистические по своей природе методы анализа действительности, с развитием которых связан прогресс науки. В идеалистических течениях философской и социальной мысли закрепилось представление о принципиальной невозможности подходить к общественной жизни со столь же строгими критериями научного анализа, как к природным процессам. Это представление особенно четко выразила неокантианская философия, которая противопоставила друг другу методы «наук о природе» и «наук о культуре». По утверждениям сторонников этой школы, лишь первые в какой-то форме имеют дело с закономерностями действительности, в то время как «науки о культуре» занимаются миром ценностей, свободной деятельностью сознания и воли человека. Ограниченность повседневного опыта выступает в идеалистическом сознании извечной границей познания, а качественные особенности исследования общества – как непроходимая пропасть между двумя типами наук.

Материалистическое понимание общественного развития как «естественноисторического процесса» (*Маркс*) снимает само противопоставление методов познания природы и общества, создает необходимые предпосылки для анализа социальных изменений с «естественно-научной точностью» (*Маркс*). В «Капитале» мы находим яркие образцы плодотворного использования современных методов строгого научного исследования, в частности математического и символического языка науки, для познания социально-экономических процессов.

Характерной чертой современного научного знания является бурное развитие математических методов анализа процессов самой различной природы. Если в начале нашего века Ленин писал о завоевании физики «духом математики», то сейчас этот «дух» глубоко проник в области, изучаемые биологией, психологией, экономикой, лингвистикой, социологией. Сейчас уже стали анахронизмом бытовавшие еще недав-

но представления о том, будто развитие математических абстракций, и в особенности построение формализованных, математических моделей реальных процессов, грозит «отрывом» науки от действительности. Следует отметить, что подобные вульгаризаторские представления нанесли в свое время немалый ущерб развитию некоторых областей биологической науки (например, теоретической генетики), мешали развитию математических методов в экономике.

В условиях современной, все более углубляющейся дифференциации различных областей и методов познания вопрос о способах объединения их результатов приобрел серьезное значение. Прогрессирующая математизация науки представляет собой один из наиболее важных пунктов «встречи», методологического сближения гуманитарных, технических и естественных дисциплин. Две предпосылки теоретического порядка делают возможным и плодотворным такой процесс. Во-первых, это разработка в русле обществоведения методов исследования, которые способствуют выявлению количественных и структурных закономерностей различных общественных явлений. Во-вторых, это – создание в русле математических дисциплин специфического понятийного аппарата, пригодного для описания сложных систем и процессов, с которыми мы встречаемся при изучении различных сторон социальной действительности.

Было бы неверно представлять себе современную тенденцию к математизации различных областей знания лишь как возрастание роли различного рода *вычислительных* операций в процессе познания, как выявление *количественных* характеристик исследуемых процессов. Сколь ни важны такие методы (например, для правильного понимания общественных процессов чрезвычайно важна объективная и полная статистическая информация), они могут играть лишь вспомогательную роль в социологических исследованиях. Как известно, современные успехи математических методов в естествознании (физика, биология, астрономия) и общественных нау-

ках (языкознание, экономика) связаны прежде всего с развитием способов математического моделирования процессов, причем получаемые модели нередко являются весьма абстрактными, связанными с изучаемыми объектами лишь через сложную цепь формальных преобразований. По этому пути идет и проникновение математического мышления в социологию.

Моделирование социальных явлений осуществляется при помощи различных средств современной логики и математики, решает различные задачи. В самом общем виде эти задачи можно разделить на два класса.

К первому относится построение математических формулировок количественных и структурных соотношений в отдельных общественных процессах. В решении таких задач большую роль играет подбор формул, пригодных для изображения взаимной зависимости и изменения некоторых факторов роста населения, его миграции, потребительского спроса и т.д. Плодотворность подобных методов доказана многими исследованиями. Следует заметить, что решение задач такого типа не предполагает особых средств анализа общественных процессов и общественных систем в целом.

Другого рода проблему представляет создание методов логического и математического анализа самой структуры общественных процессов. Здесь требуются средства, позволяющие выразить на языке «точных» наук некоторые стороны *специфики* явлений общественной жизни. Эта проблема значительно более сложна и значительно менее изучена, чем предыдущая. Для ее разработки особенно важны методологические (а не вычислительные) средства современных математических дисциплин. Именно здесь приобретают особое значение методы *кибернетики*.

Кибернетические устройства и разработанные в рамках кибернетики методы исследования (моделирования) действительности – типичное детище научно-технического прогресса, воплощающее в себе наиболее современные его чер-

ты. Как известно, кибернетика развивается на основе синтеза методов целого ряда математических дисциплин (в том числе таких новых, современных средств исследования, как теория информации, математическая логика, теория систем и другие) и находит применение в самых разнообразных областях. Для изучения общественных явлений кибернетические идеи представляют особенно большой интерес, так как они дают некоторые строгие критерии в изучении тех объектов, с которыми имеют дело общественные науки, – целостных и организованных систем, процессов управления и связи, целенаправленных действий. Разработка специфических методов изучения системных объектов является одной из черт современного научного знания, тогда как для науки XIX века было характерно преимущественное внимание к выделению «элементарных» образований и процессов в природе. Марксистская социология уже в период создания «Капитала» широко использовала анализ общественно-экономической формации как целостной системы, структура которой определяет место и значение отдельных ее составляющих. Новым для науки последнего времени стала разработка общих, в том числе математических, методов исследования систем различной природы. Кибернетика вносит важный вклад в эту работу.

Многообразие задач, которые могут рассматриваться с помощью кибернетических методов, объясняется тем, что в явлениях самой различной природы – естественных, социальных, технических – могут быть теоретически выделены их «кибернетические» характеристики, а именно процессы передачи и преобразования информации, процессы управления.

В человеческом обществе по множеству каналов постоянно передаются разнообразные сообщения, сигналы, тексты, коды и т.д. Хорошо известны способы математической обработки этих процессов. Но для того, чтобы перейти к их информационным моделям, нужно определить, какое количество общественно значимой (семантической) информации

содержат те или иные сообщения. Иногда многословное сообщение содержит минимум информации (объявление какого-то факта или его оценку). Иногда же короткий текст способен передавать огромное количество разнообразных и разнопорядковых изменений. Для того, чтобы учесть их разнообразие, необходимо определить, какие единицы информации имеют реальное значение в интересующем нас аспекте общественного процесса.

Разработка кибернетических моделей реальных процессов и явлений предполагает углубление теоретического анализа их содержания, выделение их «кибернетических» аспектов. В разработке способов такого анализа – основная проблема и основная трудность применения методов кибернетики в исследованиях общественных явлений.

Столкновение мнений вокруг вопроса о возможностях и перспективах кибернетики, в частности о ее значении для социологических исследований, вполне понятно; в конечном счете, оно способствует более глубокому пониманию обсуждаемых вопросов. Нельзя, однако, не отметить, что плодотворности обсуждения все еще нередко мешает неудачная постановка самой проблемы спора.

Так, например, при обсуждении вопросов, связанных с использованием методов математических дисциплин в социальных исследованиях, в научной и философской литературе иногда высказываются мнения, что непреодолимым препятствием для такого использования якобы служит невозможность «целиком» формализовать (то есть выразить в строгой системе формул) многообразие общественных действий, творческих актов и т.д. Такая постановка вопроса, на наш взгляд, неправомерна. Ни одна область действительности «целиком» не может быть математически моделирована, и никакая область современной науки подобной задачи перед собой не ставит. Речь может идти лишь о том, чтобы на языке соответствующих формул выразить определенные стороны массовых, устойчивых, повторяющихся отношений и

функций в общественных системах. Любой конкретный метод научного исследования неизбежно ограничен, односторонен, неполон в своих возможностях и тем более в своих конкретных воплощениях. Но все необозримое богатство человеческого знания в конечном счете складывается именно из таких «ограниченных» средств, взаимно дополняющих друг друга.

Иногда кибернетику упрекают в попытке свести высшие формы организации (биологические, социальные) к низшим, «механическим», в игнорировании специфики жизни общества и человека. Подобные упреки справедливы лишь по отношению к вульгарным (к сожалению, бытующим в популярной литературе) толкованиям кибернетических и родственных им методов. Кибернетические модели воссоздают (в виде системы формул или электронных и т.п. устройств) функциональную схему различных процессов, причем специфика их «материала», конечно, не принимается во внимание. Зато выступает на первый план *специфика функционирования* систем различного типа, становится возможным более детальный и строгий анализ их организации. Так, не рассматривая «вещественных» различий между биологическими и социальными системами, кибернетика позволяет выявить специфические для каждой из них особенности процессов управления и связи. При этом как раз использование таких общих, абстрактных категорий, как «управление», «информация», помогает более конкретно раскрыть особенности соответствующих процессов в различных типах общественной организации.

В свое время В.И. Ленин подверг резкой критике «благонмеренные» стремления А. Богданова подогнать «модные» биологические и энергетические категории «под готовые выводы марксизма» (см. Соч., т. 14, стр. 313). Эти замечания сохраняют свое значение и сегодня. Взаимодействие различных областей знания может быть плодотворным лишь при условии правильного использования научных методов (а не

специальных «словечек»), получивших подтверждение в одной области при изучении аналогичных по структуре объектов в иных сферах. Существенно важно, чтобы такое обобщение метода исследования способствовало выявлению новых сторон, новых особенностей изучаемых явлений, которые ранее не могли быть исследованы.

В ходе развития современных средств научного познания применение кибернетических методов становится одним из важнейших путей методологического сближения естественных, технических и социальных дисциплин. Растущее применение этих методов к общественной жизни открывает новые возможности изучения социальных процессов, а следовательно, и более эффективного воздействия на эти процессы.

Система «человек – машина» в общественном процессе

Развитие кибернетических идей и все более широкое распространение техники автоматического регулирования раскрывают некоторые существенные моменты в отношениях человека и машины. Это связано прежде всего с тем, что в кибернетических устройствах на первый план выступает «механизация» некоторых операций, которые мы привыкли считать специфическими для человеческого интеллекта (управление производственными и иными процессами, расшифровка и перевод текстов, автоматическое программирование и другие задачи, сводимые к какому-либо виду исчисления); в свою очередь, это дает основания для новых подходов к самому содержанию интеллектуальных операций.

В большинстве существовавших до последнего времени типов технических устройств первостепенное значение для человека имели процессы преобразования данных природой форм вещества и энергии в формы, полезные человеку. Все эти устройства – механические, химические, энергетические – как бы воспроизводили в искусственно созданных системах

те или иные стороны функционирования человеческого организма и постольку заменяли и восполняли его силы, его способности. Именно такое значение имело вытеснение в производственных процессах ручного труда машинным или физической силы человека энергией пара или электричества. При этом функции явного контроля над осуществлением технологических процессов (равно как и функции организации ряда таких процессов в целостную систему) почти целиком сохранялись за человеком.

В кибернетических же системах решающее значение имеют не преобразования вещества или энергии, а информационные процессы, процессы управления. Здесь машина как бы умножает и восполняет определенные способности человеческого ума. Поэтому приобретают особую актуальность вопросы о соотношении функций человека и автоматического устройства в системах управления. В их числе – вопрос о средствах передачи команд (или сообщений) от человека к машине, от машины к машине, от машины к человеку, а также от человека к человеку через посредство машины. С этим связана обширная отрасль современной лингвистики и логики, разрабатывающая «машинные языки».

Фактически, однако, характерная для кибернетики постановка вопроса о соотношении человека и машины имеет значение, которое гораздо шире рамок уже существующих или проектируемых технических систем автоматического регулирования. Кибернетика дает возможность рассматривать самые разнообразные технические устройства, живые организмы и их сообщества, взаимодействие людей и машин, людей и природных процессов, а также различные системы, сложившиеся в человеческом обществе под углом зрения происходящей в них переработки информации. Очевидно, что научное применение подобного подхода никоим образом не означает стирания качественных особенностей систем столь различной природы. Подобно тому, как при взвешивании тел мы отвлекаемся от их вещественного состава, выде-

ляя подлежащий исследованию общий признак, в данном случае мы делаем предметом изучения одну из характеристик, присущих разнородным процессам, притом такую, которая ранее обычно оставалась вне поля зрения науки.

Соотношение функций человека и машины в системах управления может рассматриваться при помощи понятийного аппарата кибернетики в разных планах, в рамках различных научных дисциплин. Так, в последние годы интенсивно разрабатывается инженерная психология, характеризующая взаимодействие человека-оператора с автоматизированными системами управления (см. «Инженерная психология» под редакцией А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко и Д.Ю. Панова. Изд. МГУ, 1964). Отдельные аспекты деятельности человека в подобных системах рассматриваются в курсах таких дисциплин, как теория операций, системотехника. Как показывают опыты, выбор наиболее эффективного сочетания функций человека и машины, соответствующих способов передачи команд и т.д. играет важную роль в повышении производительности и облегчении труда операторов.

В ином, более широком плане должны рассматриваться системы «человек-машина» в марксистской социологической науке. В пределах отдельного технологического процесса «человек» отождествляется с оператором, а «машина» – с наличным техническим устройством. Социология же изучает деятельность «совокупного» человека, общественного организма, в рамках которого происходит не только эксплуатация готовых технических устройств, но и их создание, появление общественной потребности в данных типах устройств, влияние последних на характер деятельности людей и т.д.

Человек, как отмечал Ф. Энгельс, может господствовать над природой, лишь подчиняясь ее собственным законам. Конечно, технические системы в отличие от природных создаются людьми для удовлетворения своих нужд. Но независимо от того, является ли замысел данного технического устройства продуктом индивидуального или коллективного

творчества, будучи реализованным, оно становится элементом общественного производства и постольку приобретает существование, независимое от воли и планов отдельного изобретателя, конструктора, оператора, потребителя и т.д. Если, скажем, в рамках отдельной технологической системы человек-оператор в принципе всегда может выключить или даже сломать машину, то в современной общественной жизни господство человека над созданными его умом и руками техническими системами столь упрощенно нельзя себе представить. Отношения человеческого общества к совокупности вызванных им к жизни технических систем нельзя уподоблять отношению изобретателя к своему замыслу или оператора к управляемому им устройству.

Заметим, кстати, что столь широко распространенное в буржуазной философской литературе представление о «господстве» над современным человеком его собственных изобретений, продуктов его рук и разума – плод того же противопоставления отдельного человека внешней «машине».

На всех известных нам этапах развития человеческого общества техника и обусловленные ею отношения людей являлись важнейшей составной частью культуры этого общества, которая прямо или косвенно определяла и характер деятельности отдельных людей.

Научную основу для решения проблем техники и человека дают развитые в историческом материализме положения о характере общественного производства и форм общения. Технические средства и целостные системы машин, равно как и средства связи, транспорта, создаваемые людьми, составляют одну из сторон общественного производства. Высказанная Марксом мысль об орудиях труда как «продолжении» человеческих рук и человеческого мозга относится не к изолированно рассматриваемому индивиду, но к человеку общественному, к социальному организму. Поэтому нельзя абстрактно противопоставлять «техническое» «человеческому». Технические устройства – это тоже общественный про-

дукт, это тоже «человеческое», хотя и функционирующее вне организмов, вне сознания и воли отдельных людей. Если, по словам Маркса, природная среда составляет «неорганическое тело» человека, то техническая среда составляет его «сверхорганическое тело». Вот почему характеристика места тех или иных технических устройств в общественной системе необходима для правильного понимания соотношения функций машины и человека.

Это соотношение может рассматриваться в различных планах: энергетическом, экономическом, информационном. Поясним различия между ними.

Важным мерилom технического прогресса общества служат изменения в соотношении различных источников энергии, используемых человеком. За последние десятилетия физическая сила людей, а также энергия животных в огромной степени заменена энергией, вырабатываемой техническими устройствами. В развитых промышленных странах на каждого рабочего приходится энергия, соответствующая физическим силам многих сотен людей.

В политической экономии показатель растущей роли технических систем в производственной деятельности составляет изменение соотношения живого и накопленного труда, которое находит свое выражение в изменении технического строения капитала. Выражением последнего, по словам Маркса, служит «возрастание массы средств производства по сравнению с массой оживляющей их рабочей силы...» (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 636*).

Но вместе с тем средства производства – это не только воплощение затраченных ранее физических сил людей, но и материальное воплощение их опыта, то есть их умения, знаний, навыков (культуры в широком смысле слова). В создаваемых человеком технических системах можно видеть одну из форм хранения и распространения культурных достижений общества. Технические устройства составляют поэтому одну из составных частей «памяти» общества. Человеческое

общество (напомним оговорку относительно того, что мы в данном случае выделяем лишь один из его «срезов» – именно информационный) может представлять собой нечто целостное, способное сохранять и развивать накопленный опыт и знания на протяжении долгого ряда сменяющих друг друга поколений лишь благодаря существованию особых исторически сложившихся систем, которые как бы выполняют функции социальной «памяти». В них хранится информация, необходимая для распространения «вширь» и передачи «по наследству» добытых знаний, опыта и культуры. Системы хранения и передачи общественно необходимой информации (культуры) являются специфическими продуктами социальной жизни, которые не имеют аналогов в развитии органического мира (где передача наследственной информации осуществляется преимущественно при помощи генетических систем, действующих в самих организмах, и лишь в меньшей степени – через процесс обучения).

На различных этапах исторического развития формы хранения и распространения накопленного обществом опыта изменяются не меньше, чем другие стороны общественной практики. Реальную основу человеческой деятельности всегда составляет «та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное...» (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 37*). Структура этих «форм общения», соотношение «живого» и «накопленного», «овеществленного» опыта претерпевают существенные изменения на протяжении исторического развития. В системах научного знания отдельные стороны накопленной обществом информации, равно как и способы ее получения, воспроизводятся теоретически, обособленно от самого процесса человеческой деятельности (с этим связано формирование целого ряда специфических языков науки, то есть специальных знаковых систем, служащих для такого воспроизведения). Благодаря этому гигантски возрастает объем «социальной памяти», воз-

возможности сознательного приобщения человека к богатствам культуры, развития его инициативы и творчества.

В социалистическом обществе, стряхивающем с себя путы отживших традиций и не нуждающемся в мистификации собственных принципов, неуклонно растет роль науки – в том числе общественной науки – в человеческой деятельности.

Одна из особенностей современной науки состоит в том, что ее достижения оказывают воздействие на жизнь людей прежде всего в их «овеществленном» виде – через созданные на основе науки орудия, материалы, методы производства, организацию труда и т.д. В большей степени, чем когда-либо ранее, технические системы выступают в качестве средства хранения и передачи социальной информации.

Благодаря этому важное место в совокупности современных средств общения людей занимает «язык» технических устройств. Его выражением служат формализованные, «машинные» языки, специально разработанные для передачи информации в системах «человек – машина»; развитие подобных средств общения (коммуникации) неизбежно накладывает свой отпечаток и на человеческие отношения. Современные тенденции дальнейшего развития систем автоматического регулирования придают актуальность вопросу о том, какие узлы в системе человеческого общения могут быть моделированы или дополнены при помощи соответствующих автоматических систем.

Человеческая способность мыслить определяется способностью человека включиться в исторически сложившуюся и действующую в данном обществе систему форм общения, оперировать характерными для этой системы категориями. Подчеркивая происхождение сознания из потребностей общения между людьми, Маркс писал, что сознание существует прежде всего «для других» в процессе общения, а потом уже для себя. «Индивидуализация» сознания, то есть развитие инициативы и самостоятельности личности, составляет

одну из сторон развития общественного сознания.

Все богатство выработанных и используемых людьми форм общения находит свое выражение, с одной стороны, в разговорном языке, а с другой – в «языках» культуры, системах категорий науки, философии, морали, права и т.д. Маркс писал, что духовное производство «проявляется в языке политики, законов, морали, религии, метафизики и т.д. того или другого народа» (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 3, стр. 24). Нельзя отождествить закономерности развития различных типов «языковых» систем, как это утверждают, скажем, некоторые течения позитивистской философии. Но сам анализ различия этих систем предполагает выделение некоторых сопоставимых моментов, в частности их информационной емкости. Общие принципы изучения знаковых систем разрабатывает новая научная дисциплина – семиотика.

О возможностях «машинного мышления» следует судить прежде всего на основе того, в какие связи общества, в какие «языковые» системы человеческого общения это последнее может быть включено. Или, что то же самое, каким из «языков» человеческой культуры машина может оперировать. Счетно-решающим системам доступны в принципе те самые схемы логических связей, которые заложены в них конструктором, а также в принципе все те формы знания, которые могут быть выведены из заданных или получены на основе суммирования данных опыта («обучающиеся» машины).

В любой реальной ситуации – как технологической, так и социальной – сопоставление функций человека и машины имеет конкретный смысл. Автоматическое устройство не способно ни воспроизвести, ни заменить деятельности человека в целом, но с известной полнотой может моделировать и заменить функции человека в данной оперативной системе. Живой язык не формализуем полностью, но для определенных, ограниченных нужд его функции с тем же (или даже большим) успехом может выполнить искусственный, «машинный» язык.

Разделение и правильное сочетание функций «человеческого» и «машинного» относится к сфере социологии, а не кибернетики или технологии. Но в изучении некоторых сторон этого явления, а именно вопроса о соотношении различных уровней управления общественными процессами, могут быть полезными и некоторые понятия кибернетики.

Управление в социальных процессах

В.И. Ленин видел историческую заслугу марксизма в том что он положил конец воззрениям на общественные явления как на не связанные друг с другом, материалистически раскрыл объективные, внутренние связи социального процесса. Марксистская теория дает научное представление об обществе как организованном и исторически развивающемся целом. Именно эти представления делают возможным и конкретную разработку проблем управления общественной жизнью.

В марксистской литературе исторически определенные типы общественной организации – социально-экономические формации – неоднократно сопоставляются с живыми организмами или биологическими видами. Подобные сопоставления возможны благодаря тому, что в общественной формации можно обнаружить такие «органические» черты, как целостность структуры, взаимозависимость ее элементов, способность сохранять определенный тип организации в ходе исторического развития, то есть при постоянном обновлении материальной основы этого развития (людей, поколений, средств производства). В общественной жизни многие явления могут рассматриваться с точки зрения их функций в жизни общества. Мы можем с полным правом говорить о том, что общество, общественный класс, социальные институты предъявляют определенные требования к деятельности людей, к их сознанию, потому что все эти социальные явле-

ния обладают внутренней организованностью, системностью.

Попытки изображения общественной жизни как целостной и саморегулирующейся системы неоднократно предпринимались буржуазными социологами, начиная со Спенсера. Однако идеалистический подход к социальным процессам и игнорирование природы классовых антагонизмов, как правило, сводили их исследования к описанию регулирующей деятельности государства, морали, религии. Абстрактным характеристикам «общества вообще» марксистская социология противопоставила анализ движения конкретных общественно-экономических формаций, развития общественного бытия и сознания в условиях классовой борьбы и революционного преобразования общества.

Одним из результатов революционного переворота в социологии, совершенного марксистской теорией, явилась материалистическая постановка проблем управления в общественной жизни.

Изучение проблем регулирования и управления общественными процессами в современных условиях разделено между рядом социальных дисциплин, каждая из которых имеет свой специфический участок и свой план рассмотрения предмета. В последнее время проблемы управления привлекают серьезное внимание экономистов, юристов, социологов. Научная организация труда как в сфере материального производства, так и в сферах учета, управления, обслуживания, в условиях развернутого коммунистического строительства создает большие возможности для плодотворного применения новейших средств машинной обработки информации, выбора наиболее эффективных путей решения организационно-хозяйственных задач при помощи математических методов, для кибернетического моделирования отдельных сторон процессов управления.

При всей важности указанных выше проблем они охватывают лишь весьма ограниченную часть процессов управле-

ния, действующих в жизни общества. От внимания узкоспециализированных областей исследования нередко ускользают связи, взаимозависимости различных форм управления; вне поля рассмотрения нередко остаются также многие скрытые механизмы регулирования общественных отношений. Сплошь и рядом развитие отдельных видов управления в специальном, «узком» смысле слова возможно лишь в связи с развитием других форм регулирования общественных отношений (например, правовых или хозяйственных).

Существует, следовательно, необходимость рассматривать процессы управления в более широком плане – в рамках общественной системы в целом. Современные потребности развития социалистического общества придают особенно актуальное значение такому подходу к проблеме. Совершенствование методов планирования хозяйства, повышение эффективности руководства различными областями общественной жизни, рост организованности и сознательности общественного развития – все эти изменения затрагивают проблему управления общественными системами. При ее рассмотрении оказываются полезными некоторые из развитых кибернетикой общих принципов теоретического воспроизведения процессов управления, которые могут быть выявлены в системах различной природы.

Под управлением в кибернетических системах понимаются все те действия, которые обеспечивают целостность, функционирование, развитие данной системы, подчиняют отдельные ее элементы программе деятельности целого (иначе говоря, управление – это передача целесообразной, полезной для данной системы информации). Деятельность государственных органов, функционирование правовых норм, влияние традиций, воздействие на массы социальных идей, система воспитания подрастающих поколений – все это различные по природе и по характеру своего действия виды управления общественными процессами. Конечно, поставить столь разнородные явления рядом друг с другом вовсе не

значит забыть об их различиях; более того, именно такое сопоставление помогает выявить некоторые новые, ранее ускользавшие от внимания исследователей стороны в таких различиях. Кибернетика подсказывает возможность подойти к ним с новой стороны, именно: различать, *как* воздействуют на общество те или иные «управляющие устройства», *какова* структура их деятельности.

В одних случаях, например, функции управления осуществляются благодаря деятельности особых социальных институтов, особых каналов передачи социальной информации. Так, нормы общественной жизни, специфические для данного строя, закрепляются в особых государственных установлениях; соблюдение социальных норм обеспечивается при помощи деятельности специальных органов государства и т.д.

В то же время в общественных процессах мы встречаем «управляющие устройства» иного типа. Так, в товарном хозяйстве многие экономические показатели регулируются через рынок, через конкурентные соотношения спроса и предложения, без обязательного участия каких-либо особых социальных институтов и законодательно закреплённых норм. Подобного рода «статистические» регуляторы играют заметную роль и в формировании художественных вкусов, структуры покупательного спроса, общественного мнения.

Большое значение имеют и такие показатели управления в общественных процессах, как «дальновидность» его программ, возможности их изменения и совершенствования.

Различные системы социально-экономических отношений характеризуется, в частности, свойственными им механизмами управления. В капиталистическом обществе преобладают стихийные, «статистические» регуляторы конкурентного типа. При социализме же на первый план выступает сознательное, плановое воздействие на общественные отношения, опирающееся на научное их познание. Именно с этим изменением структуры регуляции общественных процессов

связана присущая социализму тенденция превращения этих процессов из стихийных в сознательные.

Характерная черта всякой сознательной деятельности – наличие зафиксированной в общественном сознании программы этой деятельности, то есть заранее заданной последовательности действий, подчиненных осуществлению определенной цели.

Цели и программы человеческой деятельности по-разному находят свое выражение в системах исторически складывающихся или законодательно закрепленных *норм*, охватывающих своим действием значительные периоды, в *планах*, определяющих содержание деятельности людей социальных институтов на определенный отрезок времени, в *операциях*, реализующих нормативные и плановые установки в конкретной ситуации. Каждой из этих форм целесообразной деятельности свойственны не только различные временные рамки, но и разная устойчивость, разная информационная емкость. При этом многообразие задач, возникающих в ходе функционирования столь сложной системы, как общество, приводит к формированию «многоэтажной» (или, как иногда говорят, «иерархической») системы управления. Это означает, что в одном и том же обществе существуют различные типы «управляющих устройств», взаимосвязанных таким образом, что каждый более высокий их уровень приходит в действие лишь после того, как исчерпали себя более элементарные типы управления. Благодаря этому может быть достигнуто эффективное сочетание различных характеристик управления, например, огромного объема хранимой информации с быстродействием, устойчивостью основной программы при изменениях тех или иных форм ее осуществления.

Как известно, противники коммунизма, клеветая на новое общество, нередко заявляют, будто оно стремится к универсальному и мертвящему «централизму» – подчинению всех сторон жизни людей единой схеме. Излюбленной темой

кошмарных фантазий относительно перспектив кибернетики, в обилии появляющихся на книжных рынках капиталистических стран, является создание такого «сверхмозга», который был бы способен концентрировать всю информацию относительно всех членов общества, состояния ресурсов, потребностей и т.д. и тем самым стать средством «абсолютного контроля». Но такая тенденция не только не имеет ничего общего с научным социализмом, не только противоречит всему историческому развитию управления в обществе, но и не соответствует тем закономерностям процессов управления, которые выявлены кибернетикой. Повышение организованности общественных процессов, которое характерно для социалистического развития, предполагает эффективное и гармоничное сочетание различных уровней и различных типов управления этими процессами.

Жизненной необходимостью коммунистического строительства в современных условиях Коммунистическая партия считает развитие инициативы, самостоятельности, творчества трудящихся и их коллективов, предприятий, государственных и общественных органов при условии совершенствования плановых начал руководства обществом. Одна из сторон этой многообразной и сложной проблемы – рациональное сочетание различных средств регулирования социальных процессов.

Так, например, очевидно, что наиболее сознательная форма этого регулирования – научное планирование, опирающееся на глубокий анализ и теоретическое воспроизведение объективных закономерностей общественного развития. Но очевидно также, что все многообразие деятельности общества и отдельных его элементов не может регулироваться только таким образом. В общественной жизни существуют и такие процессы, в управлении которыми значительную роль играют обычаи, традиции, привычки, которые входят в общественное сознание и закрепляются в обиходе.

Существует тенденция превращения осознанного вначале

действия в привычное, например, соблюдение новых общественных норм, становится привычкой, входит в быт людей. Очевидно, что такое закрепление, такая «автоматизация» некоторых сторон общественной жизни не противоречит тенденции к повышению роли сознательных регуляторов в социальных процессах. Не противоречит ей и существование относительно автономных механизмов регуляции в различных секторах и на различных ступенях общественного целого.

В современных условиях потребности дальнейшего развития экономики и культуры в странах социализма ставят в повестку дня творческую разработку путей наиболее рационального взаимодействия прямого (через плановые задания) и косвенного (через систему цен, отчислений и т.д.) воздействия на экономические процессы, сочетания регулирующих функций государственных и общественных органов с деятельностью регуляторов «статистического» типа.

Развитие и совершенствование различных типов управления общественными процессами представляет одну из центральных проблем коммунистического строительства. Здесь существует широкое поле для творческого содружества социологов, экономистов, правоведов, лингвистов, демографов с математиками и другими представителями точных наук.

«Коммунист» № 14.1965 г.

СОЗНАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Жизнь общества – это прежде всего функционирование, изменение, развитие определенных систем социальных отношений, в которых индивиды, группы, институты и т.д. не только взаимодействуют друг с другом, но выступают как элементы некоторого целого. Существенную сторону этой деятельности составляют многообразные процессы управления. Сознательные действия людей и групп, если подходить к ним под углом зрения их общественного значения, можно рассматривать как одну из форм (или как ряд форм) управления социальными процессами.

Особую актуальность анализу процессов управления обществом придают сегодня те насущные задачи дальнейшего развития коммунистического строительства, которым была посвящена работа XXIII съезда КПСС. Важно отметить в этой связи, что эффективное решение конкретных, практических проблем сознательного воздействия на общественные отношения в современных условиях должно опираться на глубокую теоретическую разработку специальных и общих аспектов управления общественными процессами.

На протяжении человеческой истории развивались, дифференцировались, сочетались друг с другом различные механизмы и формы управления социальными процессами – экономические и идеологические, формальные и неформальные; борьба антагонистических сил и интересов (классовых) занимала важное место в этих процессах. Отдельные формы и каналы управления обычно рассматриваются в рамках юридических, экономических, технико-административных дисциплин (в обиходе понятие «управление» обычно относится лишь к административной деятельности в рамках государства или отдельного предприятия, отрасли). Эта узость в рас-

смотрении проблемы управления исторически объяснима: в поле зрения соответствующих дисциплин оказывались лишь те конкретные, «особенные» формы управления, которые предполагали участие правовых институтов, сознательные действия людей. (Этим, кстати, можно объяснить и тот акцент, который сделан в буржуазной социологии начала XX века на одном из элементов управления, а именно на социальном контроле.) Сейчас положение самих форм управления в обществе существенно изменилось. Развитие массовых средств общения (коммуникации), прогрессирующая «технизация» этого общения (технические системы и формализованные, технические языки как посредник в человеческих отношениях), «массификация» культуры, политики и других сфер общественной жизни способствовали выдвигению на первый план проблемы управления в общем виде (в его «всеобщей форме»). В известной мере эти изменения можно сравнить по своему значению с теми процессами генерализации явлений общественного производства и классовой борьбы, которые в свое время ввели в науку понятия абстрактного труда, стоимости, класса, государства, социально-экономической формации и т.д. Если капитализм в период своего утверждения и подъема обнажил экономическую структуру общества, то современная эпоха общественного развития как бы обнажает также и «информационную структуру» общества, то есть прежде всего структуру управления общественными процессами, организованной деятельностью масс. В социалистическом обществе, где непрерывно возрастают роль и масштабы сознательной деятельности масс, эта проблема имеет особенно серьезное значение.

Существует некоторое предубеждение, имеющее свои исторические корни, против постановки проблем управления в общем плане: высказываются, например, опасения относительно того, что это может привести к забвению принципиально разного социального содержания процесса управления в различных социально-политических, классовых, идеологи-

ческих условиях. Такие опасения представляются неоправданными. Конечно, в реальных общественных системах «управление» облечено в конкретные формы действий классов, государств, партий, испытывает влияние рыночной конъюнктуры и т.д., что подлежит конкретному изучению. Но этому отнюдь не противостоит рассмотрение процессов управления под углом зрения их структуры, в известном отвлечении, необходимом как рабочий прием (то есть когда принимается во внимание не «кто действует», а «как делается»). Такой подход, все более характерный для современных методологических дисциплин вообще, в конечном счете способствует и более глубокому пониманию соотношения различных по содержанию форм управления, точно так же как, например, выделение и анализ структуры общих моментов труда, стоимости, класса и т.д. способствуют сопоставлению их качественно различных форм.

1. Сознание и программа деятельности

Существует определенная – и отнюдь не поверхностная – аналогия между структурой индивидуального и общественного сознания, поскольку мы рассматриваем его в интересующем нас плане управления деятельностью людей. Историческую основу для такой аналогии дает, в частности, развитая Л.С. Выготским концепция высших психических функций как «интериоризованных отношений социального порядка» (Л.С. Выготский. Развитие высших психических функций, М., 1960, стр. 198). Так как структура индивидуального сознания воспроизводит некоторую структуру действия общественного сознания (в определенных рамках, вполне достаточных для нас в данном случае), создается возможность для использования знаний относительно одного из этих уровней в качестве модели для объяснения другого уровня. Эту возможность мы и будем использовать в дальнейшем изложении. Напомним, что нас в данном случае за-

нимает не сознание как таковое, но лишь его «социальная действительность», то есть сознательные социальные действия индивидов и групп.

Какие аспекты человеческой деятельности позволяют характеризовать ее как сознательную?

Во-первых, это – наличие определенной согласованности разнородных одновременных актов (подчинение элементов целостной системе), а также согласованной определенным образом последовательности актов (подчинение настоящего будущему, средств – цели). Такая организованность человеческих действий характерна для любой социальной системы и любого ее автономного элемента (это относится, конечно, и к действиям личности и к массовым движениям и т.д.).

Мы можем сказать, что характерным признаком всякой сознательной деятельности (индивидуальной и групповой) является осуществление определенной программы, служащей своего рода моделью будущих действий. Находящая ныне столь широкое применение в точных и технических дисциплинах категория программы пригодна для анализа структур различной природы, в том числе и л анализа ряда социальных процессов. Под «программой» в данном случае мы понимаем, в соответствии с кибернетической интерпретацией термина, зафиксированную каким-либо образом в наличной системе последовательность ее будущих состояний, направленных к достижению определенного результата (цели)¹.

Следует отличать «реальные» программы деятельности, то есть такие, которые заданы самой ситуацией (при этом в

¹ Иногда приблизительно в том же смысле употребляется и термин «план» (см. Д. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам. Планы и структура поведения. М., 1965). Под планом, однако, может пониматься и теоретическая модель будущего состояния (план строящегося здания), программа же непременно предполагает планирование самого действия, соотнесение средств и целей, ближайших и отдаленных результатов, строго учитываемых и вероятностных факторов и т.д.

силу вероятностного характера массовых явлений одно и то же состояние системы может содержать некоторый набор программ), от программ «вербальных», выраженных в каких-либо заявлениях, теориях и т.д. В последних могут лишь отчасти фиксироваться реальные программы соответствующих процессов.

Другой момент социальной деятельности, интересующий нас в данном случае, – это способ осуществления такой организованности, то есть способ фиксации программ.

Ведь поведение животных и их сообществ тоже «организовано», но эта организация обеспечивается преимущественно реализацией наследственной программы, зафиксированной в генетическом коде и в меньшей мере передающейся через обучение. Между тем та организованность общественной жизни, которую можно связывать с сознательностью, достигается благодаря действию иных систем хранения и переработки общественно необходимой информации (систем культуры). Эта информация фиксируется в знаковых моделях, передается благодаря обучению и составляет реальное содержание форм общественного и индивидуального сознания. Подчеркнем, что в качестве программы выступает не просто знаковое отображение, модель наличной ситуации, но непременно модель будущих состояний системы, план ее движения.

Конечно, о «сознательности», организованности, упорядоченности действия правомерно говорить лишь в рамках определенных, ограниченных во времени ситуаций, систем деятельности. Так, оценка организованности действий солдата, техника, исследователя и т.п. в «узких» рамках (отдельное сражение, производственный процесс, лабораторный эксперимент) и в «широких» рамках (например, общественная перспектива) существенно различны. Сознательное поведение у станка еще не предполагает сознательного поведения в обществе и наоборот (на деле, разумеется, эти ситуации не отделены строго друг от друга).

Выделяя программу как основу всякого организованного (в отмеченном выше смысле) процесса, мы получаем возможность сделать следующий шаг в подходе к интересующей нас проблеме: характеризовать функционирование общественных систем, в том числе и поведение индивидов, как управление соответствующими формами деятельности со стороны определенного «программирующего устройства». Компонентами деятельности в таком случае выступают: 1) фиксация социальных программ (в индивидуальном или общественном сознании, в системе культуры, выполняющей функции «социальной памяти»), 2) реализация программы, 3) контроль за реализацией (обратная связь).

Определяющим моментом служит фиксация программ, поскольку их структура содержит и конкретные способы реализации и контроля. При этом всякая реальная программа (да и, как правило, их вербальные выражения) не содержит непосредственных указаний на последовательность отдельных актов поведения, но лишь указания на последовательность типов поведения, то есть состоит из программ, в свою очередь, имеющих иерархическую структуру. Различные типы программ обладают неодинаковой «жесткостью» и, следовательно, допускают различные варианты перехода к программам следующего уровня. Так, например, ситуация опасности включает либо «программу» паники и дезорганизации, либо программу мобилизации сил данной системы; последняя может тоже обладать различной степенью жесткости, осуществляться через разные каналы и т.д. Повышение уровня организованности живых систем предполагает возрастающую гибкость, вариативность программ их деятельности (ср. интересное замечание Винера о жестокости «ума муравья». – Н. Винер. Кибернетика. 1958, стр. 193-194).

Под углом зрения реализации определенных программ могут рассматриваться многие стороны общественной жизни: обучение, воспитание, воздействие искусства, функционирование и развитие экономических систем, изменения со-

циальной структуры и другие. Анализируя особенности различных типов управления этими процессами, мы получаем возможность оценивать и место социальной группы и отдельных индивидов, роль их сознания и воли в соответствующих процессах.

Конечно, никакие реальные процессы, в том числе и социальные, не могут быть описаны полностью с точки зрения реализации заранее определенных программ. В любой деятельности, в любом процессе имеют место случайные, непредвидимые моменты, происходят и определенные новообразования. В этом случае определяющую роль играет содержание программы, от которого зависит способность последней воспринимать «незаданные» изменения. Осознание этого, исключает опасность методологического финализма.

Деятельность общественных личностей можно рассматривать в интересующем нас плане как максимально конкретный (информационно наиболее богатый) этаж в иерархии социальных программ. Место отдельной личности в социальном процессе, реальные возможности индивидуального выбора того или иного варианта действия, более того, значение активности личности в конечном счете определяются типом действующей в данной социальной системе программы. Необходимым моментом развитой, многоуровневой социальной программы служит активная и творческая деятельность самих индивидов.

2. Типы управления социальной деятельностью

Необходимость анализа человеческой деятельности под углом зрения ее сознательности возникает как в социологии, так и в историческом исследовании, в юридической практике. Однако критерии, на основании которых строится такой анализ, не всегда являются достаточно строгими. В правовых дисциплинах принято – в силу практической необходимости – учитывать различные аспекты и различные формы осозна-

ния людьми своих поступков (по таким признакам, как прямой и эвентуальный умысел, неосторожность, учет ближайших и отдаленных последствий и т.д.).

В социологической и исторической литературе для оценки степени сознательности человеческих действий (как индивидуальных, так и групповых) требуются иные показатели.

Во многих ситуациях имеет значение оценка действий по характеру осознания их целей. В шкале такой оценки на нижней ступени окажутся действия, цели которых, заданные обстановкой, вообще не моделируются в общественном сознании, на следующей ступени – действия, ориентируемые «мнимой» фантастической целью, имеющей только стимулирующее значение (примером могут служить религиозные движения, крестовые походы и т.п.), далее – ориентированные реальной, достижимой целью. В качестве подразделений этой ступени выступят в таком случае различные формы «обратной связи» и взаимной корректировки цели и действия. Сколь бы детально ни были разработаны подобные схемы, они предполагают низведение действия до последовательности актов. Представляется поэтому более целесообразным подойти к характеристикам социальной деятельности с иной стороны, обратив внимание прежде всего на то, каким образом фиксируется и реализуется ее программа.

Возьмем прежде всего типы социальных процессов, о которых принято говорить как о «стихийных»: экономические отношения в условиях товарного хозяйства, неорганизованные массовые движения, миграции населения, колебания общественного мнения, изменение художественных и иных вкусов масс. Можно ли считать, что «стихийные» процессы никак не управляемы, абсолютно не упорядочены, лишены какого бы то ни было направления? Отнюдь нет. Как известно, сама «беспорядочная» игра спроса и предложения ведет к установлению определенных пропорций в экономическом развитии (осуществляемых, как писал Маркс, через их постоянное нарушение). С аналогичным положением мы встре-

чаемся и в иных областях: «стихийность» представляет собой одну из форм управления общественным процессом. Упорядочение процесса достигается через сопоставление, конкуренцию, столкновение множества различных и противостоящих друг другу сил. Этот механизм управления имеет статистическую природу, и в этом смысле он в принципе не отличается, скажем, от биологических механизмов регулирования пола организмов или численности популяции; по содержанию же подлежащих регуляции параметров этот механизм является специфически социальным.

В данном случае наиболее существенная для нас особенность такого типа социального управления состоит не в самом статистическом характере его действия (в конечном счете любые процессы передачи информации в социальных системах статистичны). Главное здесь в отсутствии особых управляющих устройств, то есть особых структур, предназначенных для хранения и реализации «моделей будущего», особых каналов и «языков», служащих для их трансляции. Носителем информации о способе деятельности здесь является только сама эта деятельность. Примером такой системы общественного управления может служить рассматриваемая Марксом модель уравнивания различных сфер производства благодаря «прихотливой игре случая и произвола» (см. Соч., т. 23, стр. 368).

Очевидно, что в «стихийных» («статистических») процессах управления – если рассматривать их в «чистом», идеализированном виде – еще не существует разграничения уровней социальной информации. Здесь нет ни проблемы соотношения «индивидуального» и социального в управлении общественной системой, ни проблемы произвольного выбора между возможными вариантами деятельности. Для управления системами такого типа направленность каждого индивидуального выбора просто безразлична, играет роль лишь суммарная тенденция. Лишь система в целом является носи-

телем своей программы, то есть информации о будущем ее состоянии.

В процессе общественного развития формируются (и как бы надстраиваются над «статистическими» механизмами управления) иные типы регуляторов, связанные с наличием специальных управляющих систем, особых каналов связи, специфических «языков» (кодов), предназначенных для передачи соответствующей информации; их можно называть «структурными». В них программа будущей деятельности «задана» системе или отдельным ее компонентам, поскольку она тем или иным образом «записана» (закодирована) в каких-то особых (специфически-информационных, семиотических) элементах этой системы. Два крайних варианта такой записи со всей очевидностью обнаруживаются в «традиционных» и «рациональных» (научных) формах человеческой деятельности.

Под «традиционными» формами деятельности мы в данном случае понимаем все те, в которых основным средством передачи общественного опыта от поколения к поколению, от одной группы к другой и т.д. является следование установленному («традиционному») образцу, причем эта передача обеспечивается благодаря действию особых социальных институтов. Социальная информация здесь не расчленена на информацию о предмете, способе, мотивах, целях и т.д. действия. Программа передается целостными комплексами, в которых не отделены друг от друга (то есть не осознаны, не воспроизведены отдельно в соответствующих знаковых моделях) субъект, объект, процесс и способ деятельности.

Именно так обстоит дело в обычаях – наиболее древней и постоянно воспроизводимой вновь форме культуры. независимо от того, закреплён ли в общественном сознании данный обычай авторитетом мифологических или исторически реальных его основоположников или лишь авторитетом «общепринятости» («все так поступают»), фактически фиксируется необходимость следовать данному образцу. Осоз-

наваться может мнимая, формальная цель деятельности (исполнение воли богов, подчинение старшим и пр.), реальная же его программа, его социальный смысл, остается закодированной в мозаике общественных отношений как целом. Такая программа не подлежит теоретическому моделированию в общественном сознании (точнее, для реализации программы не требуется такое воспроизведение). Действие состоит фактически в реализации фиксированной последовательности средств, лишенных какой-либо осознанной связи с реальными целями и поэтому выступающих в качестве самодовлеющих, абсолютных, священных и т.п. Так, для «традиционных форм» общественного сознания чрезвычайно характерной является установка на следование «заветам предков», то есть как бы ориентация на прошлое. По существу, конечно, действует установка на воспроизведение прошлых отношений в будущем (см. высказывания К. Маркса о «тайне неизменности азиатских обществ», – Соч., т. 23, стр. 371).

Как известно, идеалом социального утопизма служило сведение всех общественных требований к формам, которые воспринимались бы людьми как «естественные», внутренне необходимые для них (вспомним, что еще в Телемской обители у Рабле устав мог состоять из одного правила «делай, что хочешь», так как свободных и просвещенных людей «сама природа наделяет инстинктом и побудительной силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока»). Идея сведения всего регулятивного механизма общества к традиционному уровню, совокупности «привычек» – достояние наивного утопизма. Превращение же в повседневную привычку определенной части этических и других норм общежития необходимо совершается в любой общественной системе, и это естественно.

Характерной чертой «традиционного» (в указанном смысле) управляющего механизма является его простота и устойчивость; с этим связана и основная его вариативная ог-

раниченность, информационная бедность. Всякий обычай, скажем, содержит некоторую раз навсегда установленную последовательность действий (точнее, типов действий, то есть подпрограмм). Вариативность допускаемой обычаем деятельности сравнительно невелика, поэтому характерной чертой всякой «традиционной» программы деятельности является ее стабильность. Традиции скорее ломаются (в условиях резкого изменения обстановки, в период глубоких социальных переворотов), чем изменяются; как правило, формирование и закрепление новых традиций является долгим и сложным процессом. Мы, естественно, рассматриваем в данном случае лишь структуру, механизм «традиционной» деятельности, отвлекаясь от вопросов о ее содержании (какие именно нормы, навыки передаются) и ее социальном значении (кому и для чего данная традиция полезна или вредна). Следует лишь отметить, что форма здесь отнюдь не безразлична по отношению к своему содержанию: содержание, скажем, культовых (религиозно-значимых) норм в принципе не может передаваться иначе, как через механизм традиций, в то время как научные идеи и убеждения с такой формой трансляции несовместимы.

В общественной жизни мы встречаемся и с такими регуляторами человеческой деятельности, как социально-значимые вкусы, склонности, предпочтения и т.п. ценностные ориентиры, в которых характеристики объекта действия неразрывно связаны с субъективным отношением, установкой. Если, скажем, обычай фиксируется как некое непреложное требование в общественном (нравственном, религиозном) сознании, то ценностные ориентации часто вообще не фиксируются специально, то есть не осознаются как таковые. Сама конфигурация частных ориентиров, соотношение разнородных запретов и устремлений определяет общую направленность человеческой деятельности в той или иной ее сфере.

Формирование ценностной ориентации нельзя поэтому

объяснить только тем, что в индивидуальном сознании осваиваются (интернализуются) какие-то требования общественного целого, которые первоначально заданы индивиду извне. Здесь перед нами важная и специфическая черта человеческого познания и человеческой деятельности вообще: целостное «субъективное» восприятие ситуации, вообще говоря, исторически предшествует объективному расчленению на компоненты, выделению функциональных и причинно-следственных цепей. Многочисленные психологические (например, Л.С. Выготского) и этнографические (Б. Малиновского, Р. Турнвальда и др.) данные говорят о существовании такой закономерности в онто- и филогенетическом развитии психики. В конечном счете примат целостной оценки ситуации в отношении теоретического анализа последней выражает тот факт, что субъект различает полезные и вредные воздействия внешней среды до того, как он выделяет отдельные объекты этой среды, их связи и отношения. Разумеется, сами критерии указанного различения зависят от характера и степени развития системы «субъекта» – в данном случае, общественного. Ценностная ориентация в обществе выступает одним из элементов реализации социальных программ и сама зависит от их развития.

«Традиционный» тип управления социальными процессами предполагает подчинение соответствующих действий индивида заданной социальной программе («традиции»). Приобщение индивида к наличной системе культуры выступает как усвоение, интернализация заданной суммы императивных требований. Индивидуальное сознание здесь действует как частица, «винтик», реализующий заданную программу, но не как автономная ступень ее функционирования (структура «традиционного» сознания в принципе исключает индивидуальное новшество, расценивает его как нарушение сложившейся системы отношений).

Специфической чертой рациональной деятельности (примеры которой в изобилии дает современное научное

сознание, научное планирование деятельности) является прежде всего тот факт, что в общественном сознании деятельность фиксируется в расчлененном виде («способ» и «объект» действия выделяются и моделируются отдельно от самого процесса и от субъекта действия). Поэтому реализация программы обеспечивается благодаря соблюдению определенных принципов, методов, деятельности (а не просто благодаря повторению заданных ее образцов). Особенности программирования рациональной деятельности объясняют многие специфические ее черты.

Прежде всего эта деятельность выступает как ориентированная на объект (между тем как «традиционная» деятельность ориентирована на соблюдение заданного образца). В рациональной деятельности на первый план выступают отношения субъект-объект; в «традиционной» же это место принадлежит отношению норма-исполнитель. Во-вторых, рациональная деятельность ориентирована непосредственно своей целью, будущим, в то время как всякая «традиционная» формально обращена назад, к прошлому.

Рациональная программа деятельности предполагает теоретическое вычленение целей и средств, воспроизведение способов подчинения средств целям, обоснование целесообразности (то есть значения) в программе отдельных актов и т.д. Реализация определенной рациональной программы включает индивида в более общую систему общественной деятельности, в сеть соответствующих идеологических отношений.

Такая структура социальной информации в рациональной деятельности (выделение способа деятельности из ее процесса, расчленение деятельности на цель и средства и т.д.) ведет к изменению соотношения между общественным и индивидуальным сознанием. Собственно говоря, именно здесь индивидуальное сознание может обособляться, выступая в качестве необходимого уровня действия регулятивного механизма общества. Индивидуальное сознание оказывается

здесь «правомочным» не только теоретически воспроизводить требование системы, но и выбирать тот или иной вариант их реализации. Причем индивидуальные инновации являются не только допустимыми, но и необходимыми для успешного функционирования системы в целом.

Вместе с тем возникает и проблема соотношения индивидуальных и социальных программ управления (точнее, проблема подчинения «низших» уровней социального управления «высшим»).

В числе разных способов такого подчинения, выработанных историей общества, в качестве крайних типов можно выделить «иерархический» и «референтный».

Для первого характерно наличие некоторой лестницы уровней хранения информации, каждый из которых подчинен вышестоящему. Упрощенной моделью может служить военно-командная система управления: там на каждом уровне управления действует строго ограниченный объем информации, причем значение операций каждой низшей ступени раскрывается лишь на более высокой. (Разумеется, в данном случае нас интересует только структура «военного» сознания; мировоззренческие и этические факторы не входят в поле зрения.) Универсальное правило такого типа информационной структуры сводится к «Слушай мою команду» (а в традиционных действиях оно звучало бы: «Делай, как я»).

Диаметрально противоположный тип такой структуры – назовем его «референтным» – предполагает обращение каждого к равноудаленному от всех резервуару информации. Простейшим примером может быть использование многими людьми какой-то совокупности знаний, норм, правил, зафиксированных в справочном пособии, этической системе, уставе и т.д. Конечно, в чистом виде и этот вариант информационной структуры не существует: в любой реальной ситуации обращение к универсальному источнику информации опосредовано иерархией прошлых знаний, авторитетами толкователей и пр. (поэтому, скажем, Лютерово представление о

свободном толковании каждым христианином Св. писания – фикция).

Не менее существенен и вопрос о том, какими «порциями» упакована социальная информация в той или иной системе ее хранения и передачи. В одних случаях могут быть предписания, носящие характер конкретных правил действия («поступай так-то и так-то»; примеры мы легко обнаружим в древних этических кодексах, технических и т.п. правилах, наставлениях, инструкциях). В других же случаях предписание содержит более или менее общий принцип поведения, который предполагает конкретную интерпретацию («держись правой стороны» – правило, а «соблюдай осторожность на улице» – это почти принцип поведения). Современные этические системы и особенно системы научного знания имеют дело с принципами, то есть с более или менее абстрактными закономерностями деятельности общества и его членов; при этом на долю низших, более конкретных этажей общественного сознания (групп, индивидов) остается решение о способе их реализации в конкретных ситуациях.

Современные перспективы развития человеческого сознания прежде всего связаны с теми изменениями в структуре социальной памяти, которые несет с собой ее «рационализация» (в смысле расширения сферы действия рациональных программ управления по сравнению с традиционными). Современный человек способен хранить неизмеримо больше информации, чем первобытный, не благодаря увеличению «емкости» своего мозга, но благодаря иной структуре самой этой информации. Прогрессирующее «методологическое» расчленение социальной памяти (то есть обособление информации о способе деятельности от информации о ее процессе), выделение науки как особой сферы деятельности общества служит предпосылкой для неограниченного увеличения ее информационного объема. В развитии науки этот же процесс ведет к формированию особых методологических дисциплин (которые, в свою очередь, переживают подобное

расчленение, порождая метанауки разного уровня).

В то же время увеличение объема и усложнение структуры социальной информации создают новые проблемы в процессе реализации этой информации людьми, общественными группами, социальными институтами. В частности, возникает тенденция ко все более узкой специализации «адресатов», к иерархизации (в указанном выше смысле, то есть к увеличению числа «ступенек» в передаче информации) самого процесса освоения социального опыта. С другой стороны, насущные потребности накладывают определенные ограничения на неограниченную в принципе подвижность рациональных способов хранения и передачи социальной информации.

3. О структуре управления социальными процессами

Ни один из отмеченных выше типов социального программирования в чистом виде нигде не встречается. Во всех известных истории реальных общественных системах взаимодействуют и взаимообуславливают друг друга разные схемы механизмов управления. Кстати, в сознании и поведении отдельного человека также нетрудно обнаружить все градации, все формы доступной организму регуляции, составляющие единую систему.

Становление капиталистических отношений в свое время привело к существенным изменениям, в частности и в особенности в средствах регуляции социальных процессов и отношений. Если во всех докапиталистических формациях преобладали традиционные средства (обычай, табу, сословные системы и т.д.) подчинения индивидов социальным требованиям, подкрепляемые идеологическими (религиозными) санкциями, то капитализм выдвигает на первый план стихийную «конкурентную» регуляцию общественных отношений. «...Общественное разделение труда противопоставляет друг другу независимых товаропроизводителей, не при-

знающих никакого иного авторитета, кроме конкуренции, кроме того принуждения, которое является результатом борьбы их взаимных интересов» (К. Маркс. Капитал, 1949, т. I, стр. 364). При этом независимость и разнообразие множества рациональных, то есть сознательно преследующих свои цели, индивидов («разумных эгоистов») считались естественной основой статистического регулирования как экономических, так и политических и идеологических – вплоть до эстетических – отношений. На этой посылке строились классические концепции буржуазной политэкономии и буржуазной демократии. Исторический опыт показал, однако, что сама реализация этих посылок ведет к их отрицанию.

Так, развитие современного производства и государственно-монополистических тенденций накладывает на статистический конкурентный механизм все более жесткие ограничения. В то же время возникающие в этом процессе тенденции к плановому регулированию производства неизбежно оказываются ограниченными. С наибольшей очевидностью эти тенденции выявляются в развитии науки как высшего образца рациональной деятельности, превратившейся в особую социальную силу в условиях современного индустриального буржуазного общества. Научная организация производства, обучения, рекламы и т.д., даже осуществляемая в невиданных ранее общественных масштабах (военно-космические и т.п. проекты), неизбежно оказывается не более как придатком или даже побочным продуктом игры неорганизованных, «иррациональных» сил экономической и международной (в том числе военной) конкуренции. Отмечая существование подобной парадоксальной ситуации, Б. Рассел писал: «В современном мире есть умные в лабораториях и дураки у власти. Умные являются рабами, как джины в «1001 ночи». Человечество коллективно, под руководством дураков и при помощи изобретательности умных рабов занято великим делом подготовки своего собственного уничто-

жения» (В. Russell. History as an art Ashfurd, 1954, p. 21).

Что же касается классических буржуазных концепций политической демократии (равно как и соответствующих концепций идеологического развития), то они оказываются все менее реальными в условиях нивелировки массового политического сознания и развития бюрократического аппарата власти. Как известно, в эпоху империализма всеобщие голосования и плебисциты нередко выступают формой прикрытия диктаторских и бюрократических режимов, отнюдь не свидетельствуя об участии масс в управлении обществом. Райт Миллс с полным основанием говорил о том, что характерное для этой эпохи превращение народа в безликую «массу» является величайшей угрозой демократии (С. Wright Mills. The Sociological Imagination, p. 188).

Стандартизация мнений и запросов, осуществляемая всем аппаратом «массовой» культуры и массового идеологического порабощения индивидов – действительно смертельная опасность для иллюзий, полагавших разнообразие свободных и разумных индивидов «естественной», извечной основой общественной жизни.

По М. Веберу, государственная бюрократия (не в смысле «бумажного руководства» и волокиты, а как специализированный и строго организованный механизм управления) являет собой высший образец рациональной деятельности. Между тем, даже доведенная до «кибернетического совершенства» (с применением ЭВМ и т.д.), техника бюрократического управления остается здесь рациональной в средствах и в частностях и иррациональной в своей общей направленности (эта ситуация великолепно выражена в «Процессе» Ф. Кафки).

В социалистическом обществе развитие управления социальными процессами происходит на принципиально иной основе. Дело здесь не только в ином содержании целей, идеалов, субъектов социальной деятельности, но и в изменении структуры самого механизма управления (не только со-

держание средств определяется содержанием поставленной цели, но и способ подчинения средств – цели зависит от этого содержания). Характерной чертой социального процесса здесь является действие рациональных научно организованных механизмов управления, подчиняющих различные сферы общественной жизни единому плану, определяемому на основе марксистского учения об обществе. Здесь теряют свое значение, устраняются или отодвигаются на второй план старые, свойственные капиталистической системе механизмы статистического «уравновешивания» пропорций и сфер общественной деятельности через борьбу антагонистических сил, интересов, тенденций. Значит ли это, что программирование общественных процессов – по крайней мере в тенденции – может быть сведено к единому уровню, к единой системе научно обоснованных, плановых директив? И практика и теория уже дали отрицательный ответ на этот вопрос.

В реально действующей сейчас структуре общественных отношений социализма находят свое место различные формы рационального планирования, регулятивные механизмы статистического типа, сохраняют определенное значение и традиционные регуляторы (закрепление новых социальных норм в нравственных привычках, соответствующих ценностных ориентирах).

Анализ некоторых социальных процессов в современном социалистическом обществе показывает нередко сложную картину «надстраивания» прямого и косвенного планового регулирования над действием «стихийных» факторов (см., например, анализ соотношения плановой и «стихийной» миграции населения в СССР в исследовании В.И. Переведенцева в сб. «Количественные методы в социологических исследованиях». Новосибирск, 1964, стр. 397). Игнорировать эту «сложность» общественного развития теперь нельзя, как нельзя, ссылаясь на сознательность общественного процесса при социализме, отказываться от изучения его «стихийных» моментов. Вряд ли кто-нибудь возразит сегодня против не-

обходимости анализа таких явлений, как колебания потребительского спроса, движение общественного мнения, изменения рыночной ситуации и т.д.; преодолено недоверие к статистической методологии в общественных науках.

Но не является ли, однако, такая сложность, «многоуровневость» механизма управления общественными процессами чем-то преходящим – наследием былой отсталости, средством преодоления временных трудностей и т.п.?

В научной литературе иногда высказываются мнения о том, что повсеместное внедрение электронно-вычислительной техники и четкая организация информации в народном хозяйстве в конечном счете позволяют избавиться от всякого статистического регулирования в производстве и потреблении, обмене. От этого не так далеко и до предположений об универсальном планировании всей внеэкономической сферы. Однако, сколь ни велики перспективы роста сознательного воздействия человека («общественного человека, государства, общества») на процессы регуляции своей жизнедеятельности, попытка целиком возложить эту регуляцию на «высшие отделы» общественного сознания столь же нереальна, как, предположим, попытка подчинить все поведение человека контролю высших отделов его мозга. Кибернетические исследования показали принципиальную невозможность свести к одному уровню управление всем многообразием процессов, свойственных столь сложной системе, как общественный организм. Эффективное управление сложной системой с необходимостью предполагает наличие разных уровней и типов действия в самом «управляющем устройстве», сочетание быстродействующих и относительно консервативных, структурных и статистических, универсальных и локальных элементов и т.д. (Недаром говорено было в свое время, что «порядок, красота и совершенство мира требуют, чтобы во Вселенной были деятели различного рода: необходимые, свободные и случайные» – Т. Гоббс. Избр. произв., т. I, 1964, стр. 541).

Поэтому прогресс в управлении общественными процессами нельзя представлять себе как универсальное жесткое программирование или как моделирование всей схемы такой универсальной программы в индивидуальном сознании. Рациональное управление здесь должно осуществляться через наиболее эффективное соотношение различных по своей структуре регулирующих механизмов. При этом, если в условиях капитализма плановые, рациональные механизмы управления общественными процессами неизбежно оказываются придатком конкурентного механизма, для социализма характерна принципиально иная зависимость: статистические по своей структуре регуляторы здесь выступают необходимым дополнением к регуляторам рациональным, плановым. Единство основных установок развития общества, определяемых на основе научного анализа его объективных возможностей, с необходимостью восполняется многообразием инициативы, творчества, запросов, потребностей отдельных общественных групп и отдельных личностей. Если, как мы уже отмечали, массовая культура капитализма нивелирует вкусы и потребности, обедняя индивида и лишая действительности механизмы политической демократии и общественного мнения, необходимостью коммунистического прогресса на современном этапе становится формирование богатства и многообразия человеческих потребностей, находящих свое выражение в общественной деятельности и творчестве масс.

Именно в этом направлении наиболее эффективного сочетания различных средств воздействия на общественные процессы работает теоретическая мысль в нашей стране после XXIII съезда партии. Директивами съезда указан путь широкого развития инициативы и самостоятельности предприятий при условии глубоко научной разработки основных, подлежащих непосредственному планированию параметров народного хозяйства. Значение намеченных мероприятий выходит далеко за пределы административно-хозяйственной

или экономической сферы и соответствующих социальных дисциплин. Проблема управления общественными процессами требует многостороннего теоретического анализа, в котором, несомненно, займут свое место и точные, теоретико-информационные методы.

«Вопросы философии» № 5. 1966 г.

АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР – МЫСЛИТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК*

Он человек был
в полном смысле слова.

Шекспир, Гамлет

5 сентября 1965 года из Габона пришло известие, заставившее склонить головы многих друзей мира и гуманизма в разных странах: умер Альберт Швейцер. О его деятельности написаны десятки книг и сложено немало легенд. В Швейцере видели не только мыслителя-гуманиста, но и подвижника, личность которого вызывала в памяти образ Франциска Ассизского, а у иных и образ самого основателя христианства. Сколь ни фантастичны эти сопоставления, однако они свидетельствуют о необычайной для нашего времени славе Швейцера куда убедительнее, чем многочисленные знаки почета (Нобелевская премия в том числе), которыми осыпали его в последние годы правительства разных стран и международные фонды. Эта яркая личность долго будет привлекать внимание как его восторженных поклонников, так и трезвых исследователей целой эпохи, преломившейся в этой долгой жизни, наполненной исканиями.

Альберт Швейцер прожил девяносто лет (его юбилей торжественно отмечался во всем мире в январе 1965 года), и почти шестьдесят лет он пользовался широчайшей известностью. Ромен Роллан в 1905 году отмечал «отлично известное историкам музыки» имя Альберта Швейцера – «директора семинарии св. Фомы, пастора, органиста, профессора Страсбургского университета, автора интересных работ по философии, теологии и книги, отныне уже знаменитой: "Иоганн

* Предисловие к книге *Г. Геттинга* «Встречи с Альбертом Швейцером». М. Наука. 1967.

Себастьян Бах"» (Р. Роллан, *Музыканты наших дней*, – Сочинения, т. XVI, Л., 1935, стр. 389). Когда Р. Роллан писал эти строки, Швейцер уже принял решение, определившее всю его дальнейшую жизнь: отстаивать идеалы добра и красоты путем непосредственного, личного служения людям. Философия и музыка были отодвинуты на второй план. Случайно попавший в его руки миссионерский журнал, где сообщалось, что селению Ламбарене на реке Огове (в Экваториальной Африке) требуется врач, подсказал конкретный путь к достижению этой цели. Последующие семь лет были отданы основательному изучению естественных и медицинских наук в Страсбурге (одновременно с исполнением обязанностей пастора, органиста и профессора теологии).

В марте 1913 года, спустя месяц после получения диплома доктора медицины, Швейцер привез в Ламбарене оборудование для госпиталя. Основную часть его средств составляли тогда гонорары за книгу о Бахе и сборы от органичных концертов. Швейцер потом любил говорить, что первые здания больницы оплачены Иоганном Себастьяном Бахом.

Хотя в течение последующих десятилетий Швейцер неоднократно – иногда и надолго – приезжал в Европу, выступал с концертами и лекциями, издавал и перерабатывал свои философские и теологические сочинения, госпиталь в джунглях оставался центром всей его работы и главной трибуной проповеди его идей. Там пережил он и события второй мировой войны. Широкая известность Швейцера и его антивоенных выступлений последних лет в огромной степени связана с деятельностью в Ламбарене.

На первый взгляд кажется странным: чем больше был известен Альберт Швейцер широкой публике и широкой прессе, тем меньше жаловала его вниманием специальная, «серьезная» литература, к какому бы философскому или теологическому направлению ни принадлежали ее издатели. Прямые или завуалированные намеки на «наивность», «старомодность», «невыдержанность» концепций Швейцера всегда со-

проводились вежливым расшаркиванием перед гуманизмом и благородством этого человека. Дело здесь не только в симпатиях или антипатиях лидеров признанных современным Западом идейных течений. Рассматривая отдельные компоненты воззрений Швейцера, мы ни в одном из них не обнаружим целостной и оригинальной системы. Он проявлял огромную эрудицию и талант во всех областях, в которых работал, но ни в какой отдельно взятой области не открыл новых путей и не поставил новых проблем. В то же время ни в одну из сложившихся схем движения философской мысли взгляды Швейцера не укладываются. Сам Швейцер писал, что не придает значения системе категорий и «техническим выражениям» философского языка, поскольку они «затрудняют естественное развитие мысли так же, как колеи на дорогах мешают движению».

Но не только философия Швейцера уязвима для аналитической критики. Госпиталь в Ламбарене не является первым, единственным, самым крупным или самым современным медицинским учреждением в Экваториальной Африке. Сколь ни значительна заслуга Швейцера в создании лечебного центра, через который за годы его существования прошло до восьмидесяти тысяч жителей Габона, ее нельзя рассматривать отдельно от всего образа мышления «доктора из Ламбарене». Несколько лет назад Швейцер в беседе с Норманом Казенсом так объяснял свое решение работать в Африке: «Я решил сделать свою жизнь своим аргументом. Я должен защищать то, во что верю, защищать принципы жизни, которой живу, и работу, которую выполняю. Я должен попытаться сделать так, чтобы моя жизнь и моя работа говорили о том, во что я верю».

Вот почему нельзя понять сущности Швейцера и значения деятельности этого необыкновенного человека, рассматривая лишь систему его теоретических воззрений. Весь вопрос в соединении различных сторон мышления и практической деятельности, что, собственно, и придает целостность и

неповторимость этой личности. В этом отношении немногие в современной западной философии могут сравниться со Швейцером. «Ни в ком не находил я такого идеального единения доброты и страстного стремления к прекрасному, как в Альберте Швейцере», – говорил Эйнштейн. В столь необычной для людей нашего века цельности личности – главный «секрет» действительной неповторимости и общественного влияния того феномена идейной, нравственной, человеческой жизни, каким был Альберт Швейцер.

Величайшим идеалом мыслителя для него всегда оставался Кант (он сравнивал роль Канта в немецкой философии с ролью Баха в немецкой музыке), а образцом гармонического синтеза познания и этического духа – Гёте. В числе близких себе по духу мыслителей Швейцер называл поздних стоиков, Лао Цзы, апостола Павла, английских рационалистов XVIII века. Наиболее цельной по своим устремлениям в его глазах была философская мысль рационализма и гуманизма XVIII века, превыше всего ставившая идею свободного и этического индивида. Последующее же столетие отмечено нарастанием трагического разрыва между познанием и этикой и порабощением личности обществом. Оправданием этой деградации, по мнению Швейцера, послужила гегелевская формула «Все разумное действительно и все действительно разумно». «В ночь на 25 июля 1820 года, когда эта фраза была написана, начался наш век, век, который дошел до мировой войны и который, возможно, в один прекрасный день закончит с цивилизацией!» Отсюда, утверждал Швейцер, идут все современные попытки отождествить прогресс человечества с ростом познания и техники, увидеть поступательное движение во всяком общественном изменении. «Гегель отважился утверждать, что все служит прогрессу. Страсти правителей и народов – все это слуги прогресса. Можно сказать лишь, что Гегель не знал страстей народных так, как знаем их мы, иначе он не решился бы это написать!» Конечно, Швейцер не вполне справедлив по отношению к Гегелю: он клеймит

прежде всего те формы апологии существующих порядков, которые представляют всякое развитие благом и всякое торжество силы – показателем неодолимого прогресса.

Растущее противоречие между внешним прогрессом буржуазной цивилизации, в том числе и прогрессом познания, и идеалами гуманистической этики, которое тревожило немногие умы в первые годы нашего столетия и которое стало столь очевидным в дальнейшем, в 30–50-е годы, – исходный пункт всего мышления Швейцера. Нет необходимой связи между «внешним» развитием общества (экономика, техника, образование и т.д.) и духовным совершенствованием человека, утверждал он. Национализм, войны, растущее подчинение человека социальным институтам являются признаками нравственного падения XX века по сравнению с XVIII веком. Трагедия «европейской мысли» в том, что она увлечена «внешним» прогрессом и не хочет видеть этого противоречия.

Не будучи в состоянии постичь собственным разумом исполненную тайн и страданий действительность, люди в массе своей оказываются во власти «авторитарных истин», то есть пропагандистских догм, навязываемых им «организованными государственными, социальными и религиозными сообществами». Отсюда, по мнению Швейцера, исходит современное влияние национализма, милитаризма, тоталитарно-фашистских идеологий. Тысячи путей уведут человека от его «естественных связей с реальностью».

«Мое знание пессимистично, но моя воля и моя надежда оптимистичны», – писал Швейцер, подводя итог своим размышлениям. В этой фразе содержится ключ, который должен открыть врата оптимизма: противопоставление «воли и надежды» «знанию». Швейцер говорил, что первично дан не сам по себе факт наличия мысли, но нечто гораздо более конкретное и содержательное – именно факт жизни человека в среде множества иных жизненных форм. «Я жизнь, которая хочет жить в среде жизни, которая хочет жить». Из этих со-

ображений выводится знаменитый тезис, которому Швейцер всегда придавал решающее значение в системе своих взглядов: «благоговение перед жизнью». Стремление сохранить и развить всякую жизнь призвано, по его словам, стать основой этического обновления человечества, противостоящим от холодной рассудочности, скептицизма и бесчеловечности современной цивилизации. Требование «благоговения перед жизнью» у Швейцера выступает как высшее достижение знания.

Швейцер часто называет свою систему взглядов рационалистической, подчеркивая ее прямую связь с концепциями века Просвещения: «В то время, когда все, что так или иначе считается продуктом рационализма и свободомыслия, выглядит смешным, обесцененным, устаревшим и давно преодоленным и когда высмеивается достигнутое в XVIII веке представление о неотъемлемых правах человека, я заявляю о своем доверии к разумной мысли». Но к рационализму в системе Швейцера добавляется эпитет «мистический», что должно означать разум, согретый верой в святость жизни.

Такова в самых общих чертах схема мировоззрения Альберта Швейцера.

Одна из центральных тем его философии – современные судьбы человеческой личности. «Современный человек, – констатирует Швейцер, – потерян в массах в такой степени, которая не имеет прецедента в истории, и это, может быть, самая характерная его черта». Сегодня человек может существовать, «лишь принадлежа душой и телом к множеству, которое контролирует его абсолютно», лишь подчиняясь магическим формулам социальных институтов. Над человеком сегодня нависла не только опасность потерять свою свободу и способность к всестороннему развитию: «перед ним угроза потерять свою человечность...». Здесь мысль Швейцера движется в рамках, заданных старым, добрым рационализмом XVIII века, то есть в рамках противопоставления личности обществу. «Общество – это нечто временное и эфемер-

ное; человек же, однако, всегда человек». Эти слова, произнесенные в 1932 году во Франкфурте, на вечере, посвященном памяти Гёте, в условиях, когда рвущийся к власти фашизм провозглашал ничтожество человека, не казались архаизмом, они звучали как лозунг.

Швейцер не звал к социальным преобразованиям. Его требование – «утвердить человеческую личность в неблагоприятных условиях», отстаивать человечность жизни с помощью «личного действия», самоотдачи на благо других людей – отражение все того же глубокого и обоснованного недоверия к логике общественного процесса в наши дни.

С этим связано и настойчивое стремление Швейцера не принимать непосредственного участия в политических противоречиях, раздиравших современное ему общество. В первые годы столетия Швейцер (вместе с Р. Ролланом и другими видными представителями европейской культуры) разделял иллюзию о возможности спасти европейский мир, обеспечить сближение мыслящей и творческой интеллигенции равно близких ему стран.

Крах своих надежд Швейцер пережил очень тяжело, и это наложило печать на его отношение к социально-политическим проблемам. «Всю жизнь я тщательно избегал публичных заявлений по общественным вопросам, – говорил Швейцер. – Я поступал так не потому, что не интересовался общественными проблемами или политикой. Мой интерес и мое внимание к этим вопросам велики. Но дело в том, что я чувствовал: моя связь с внешним миром должна вырастать из моей работы и моих теорий в области теологии, философии и музыки. Я пытался связать себя с проблемами всего человечества, вместо того чтобы оказаться ввязанным в спор между той или иной группой. Я хотел быть человеком, который говорит с другим человеком».

Швейцер считал, что отрицательное отношение к войне, фашизму и милитаризму он должен выражать проповедью любви к жизни и работой в госпитале, а не участием в поли-

тических манифестациях. И лишь в последнее десятилетие он нарушил это жизненное правило, выступив с антивоенной речью в 1954 году (после получения Нобелевской премии мира), а затем с энергичным призывом к прекращению ядерных испытаний (две речи по радио – «Мир или атомная война» в 1957 и 1958 годах). Швейцер горячо поддержал идею «встречи в верхах», приветствовал Московский договор 1963 года. «Конец дальнейших экспериментов с атомными бомбами должен быть подобен утренним лучам надежды, которой жаждет страдающее человечество», – говорил Швейцер. В последние дни жизни Швейцер поставил свою подпись под совместным обращением лауреатов Нобелевской премии, призывавшим к восстановлению мира во Вьетнаме. К этим выступлениям Швейцера привела сама логика жизни, посвященной служению «всему человечеству» в условиях, когда вопросы войны и мира стали приобретать непосредственную связь с судьбой миллионов людей.

То же стремление к «непосредственному», «личному» служению страдающему человеку привело Швейцера в джунгли Габона. Он писал, что надеется бескорыстной работой на благо местного населения учить добру простых и свободных от низостей цивилизации людей и тем самым в какой-то мере искупить вину европейских колонизаторов, совершивших бесчисленные злодеяния. Он стал свидетелем глубочайших перемен в жизни африканских народов, перемен, которые выводили их сложными, нередко мучительными тропами на путь прогрессивного и независимого развития. Отношение Швейцера к этим процессам определялось его симпатией к местному населению и тревогой за последствия насильственного приобщения этого населения к «прогнившей европейской цивилизации». В его отношении к пациентам, да и во взглядах на судьбы Африки, легко обнаружить влияние распространенных представлений о «свободных детях природы», которых нужно уберечь от порабощения бесчеловечной цивилизацией. С горечью отмечал он гу-

бительное воздействие на африканцев стратегических дорог (через Ламбарене в годы войны прошла трасса Кейптаун – Алжир), торговли, непривычных для них форм труда, фабричной дисциплины. Внутренний протест вызывало у него зарождение тенденций к национальной замкнутости, появление в развивающихся странах оторванной от народа бюрократической прослойки. Деятельность своего госпиталя Швейцер стремился максимально приблизить к условиям жизни и быта окружающего населения (этим объясняется некоторое своеобразие порядков Ламбарене: больные приходили и жили здесь вместе с домочадцами, минимально использовали электричество и т.д.). Сообщения некоторых западных корреспондентов из Ламбарене не раз будоражили европейскую публику толками о старомодности госпиталя и экстравагантных принципах его руководителя. В то же время, по отзывам многих очевидцев, «местные жители доверяли Швейцеру так, как не доверяли раньше ни одному белому в Африке».

Религиозные убеждения и теологические воззрения Швейцера – неотъемлемая часть его личности, и их особенности нельзя сбрасывать со счетов при оценке этого человека. Он был глубоко и честно религиозным – в том смысле, что видел высшую санкцию своего понимания жизни и человека в идеях и образе евангельского Христа. Но его религия весьма далека и от старых церковных канонов и от господствующих сейчас теологических школ. Миссионерское руководство в Париже когда-то долго не решалось доверить работу в Африке человеку, чьи взгляды по библейским вопросам далеко расходились с общепринятыми (Швейцеру разрешили ехать в Ламбарене лишь в качестве врача с тем условием, что он не будет вмешиваться в деятельность тамошней протестантской миссии). В дальнейшем же признанные лидеры протестантской теологии (Барт, Нибур, Фогельзанг) не раз говорили о «небиблейском», наивном, дилетантском характере религиозных взглядов Швейцера, разумеется отдавая

дань его добрым стремлениям и подвижничеству. Для Швейцера основной элемент христианства – общение с богом через любовь к людям, через отдачу им самого себя. Не желая признавать и проводить в жизнь этот принцип, церкви и теологи отвернулись от мира, потеряли влияние на него. «Является ли религия силой в интеллектуальной жизни нашего века? Нет... Доказательство? Война», – писал Швейцер в 1934 году. По его мнению, единственный способ возродить христианство – превратить его в «рациональную» и «пантеистическую» религию преклонения перед жизнью, а главное, подкрепить ее авторитет самоотверженным служением этой жизни.

Геральд Геттинг рассказывает о беседе Швейцера с американским церковным деятелем.

«После обеда доктор слушал рассказ священника об организации и распространении его веры в США. Наконец, прервав гостя, Швейцер сказал:

– Жаль только, что вы совсем не христиане.

Смущенный священник спросил о причине такого мнения о них. Немного помедлив, Швейцер ответил:

– Возможно, я ошибаюсь, но мне неизвестно, что вы и ваша церковь не боретесь против атомной бомбы. К сожалению, это касается многих, называющих себя христианами».

Швейцер был убежден в возможности подлинного возрождения человечества к новой жизни, более того, вопреки всякой очевидности верил в близость этого возрождения. По его словам, если христиане раньше из века в век могли откладывать реализацию «царства божия» (которое, по Швейцеру, равнозначно этическому возрождению), то сейчас настал момент, когда дальнейшее промедление грозит гибелью всей культуре. С горечью писал он о том, что современные теологи не намерены войти в двери, открытые им.

А н д р е а . Несчастлива та страна,
у которой нет героев!
Г а л и л е й . Нет! Несчастлива та страна,
которая нуждается в героях.
Брехт, Жизнь Галилея

Наше время выдвигает деятелей, которые велики своими связями с движением миллионных масс, с революционными переворотами в научном мышлении. Альберт Швейцер не принадлежал ни к тем ни к другим. Его деятельность, его философия, личность в высшей степени не типичны для современного ему общества. Швейцер проповедовал личное благородство в среде, которая признает лишь обезличенную силу. Он искал «рациональный мистицизм» в либеральном христианстве в тот период, когда оно давно вышло из моды. В условиях политического пробуждения Африки он возлагал главные надежды на индивидуальное подвижничество. Восхищались ли им образованные толпы или снисходительно терпели его экстравагантность, он по существу дела всегда оставался одиночкой. Швейцер был типичным исключением из господствующих правил и хорошо знал это. Именно этим он современен своей эпохе: он воплощал в себе то, что было для нее невозможным. Конечно, сохранение позиции на протяжении всей жизни дорого стоило Швейцеру. Многие детали его мышления и стиля жизни, казавшиеся сторонним наблюдателям мелочными причудами, могут быть понятны именно как психологические барьеры, предназначенные для защиты «своего» отношения к миру от разлагающего воздействия чуждой среды, моды, господствующих установок.

«Философия жизни», в той или иной форме противопоставляемая «философии разума», – отнюдь не редкое явление в современной западной идеологии. Но образ жизни и проповеди его сторонников крайне редко соответствуют их учению. Признанные лидеры экзистенциализма, скажем, рассчитывают на ту же кабинетно-логическую аргументацию, на

ту же силу словесного, книжного довода, который пользуются их оппоненты. Швейцер же сделал свою жизнь аргументом в защиту собственных убеждений. Здесь он был абсолютно последователен, и эта последовательность тоже делала его исключением. Вот почему лишен всякого смысла вопрос: а что бы было, если бы многие, если бы все думали и поступали так, как этот удивительный человек? В обширной литературе о Швейцере можно, например, встретить утверждения вроде того, что, будь в Африке сто или тысяча таких людей, нынешнее отношение африканцев к колонизаторам было бы иным. Известный публицист и противник войны Норман Казенс писал, сколь нужны современному американскому обществу «свои Швейцеры». Но в Африке просто не могло быть ни ста, ни десятка Швейцеров, и вряд ли возможны они в сегодняшней Америке. Мы знаем сейчас имена многих благородных борцов за расовое равноправие в США, мужественных противников милитаризма, чьи убеждения (в том числе религиозные) часто близки к идеям Швейцера. Но они – часть все более массового движения, между тем как Альберт Швейцер значителен именно как единичный феномен.

И эту его исключительность опять-таки нельзя объяснить тем, что современники порой не понимают открывателей новых путей мышления. Швейцер к таким открывателям не принадлежал. Ни в одной из областей, в которых он работал, с его именем не связаны какие-либо радикальные новшества. (Восторженные и поверхностные почитатели славы Швейцера, правда, иногда говорят об открытии нового пути спасения человечества, об «эйнштейновском перевороте» в этике). Этот человек, сформировавшийся как мыслитель и как личность в конце прошлого – столь далекого от нас – века, искавший свои идеалы в устремлениях лучших умов позапрошлого века, был удивительно старомоден. Ему сродни скорее героический и трагический образ рыцаря, созданный Сервантесом, чем героический и трагический – на иной лад –

образ Прометея. Это отнюдь не значит, будто Швейцер жил в мире собственной фантазии. Он жил в современном мире, но смотрел на его болезни и судил его с высоты благородных идеалов старого рационализма и гуманизма. Он был старомоден ровно настолько, чтобы напоминать современникам о том, сколь далеко ушла их действительность и их фантазия от этих высот. «Как дерево из года в год приносит одни и те же, но каждый раз новые плоды, так и все идеи, имеющие непреходящую ценность, должны вновь и вновь рождаться в мысли», – писал Швейцер, поясняя необходимость такого напоминания.

Альберт Швейцер – один из последних (если не последний) «могикан» тех представителей классической культуры, чье влияние определялось не силой стоявших за ними масс, а прежде всего масштабом их собственной личности. Измерять наше отношение к Швейцеру расстоянием от его философии до современного научного мировоззрения, до марксизма, было бы невозможно; здесь должны действовать иные меры, и они в конечном счете оказываются связанными с тем же «личностным» масштабом. Жизнь и личность Швейцера – это горький упрек эпохе и обществу, которые не имеют героев и не нуждаются в них. И в то же время эта жизнь – яркий пример человечности, нравственная вершина, на которую долго будут оглядываться люди, какими бы путями они ни шли.

* * *

Книга Г. Геттинга – первая из работ о Швейцере, выходящая на русском языке*. Ее автор – известный общественный и политический деятель ГДР, заместитель председателя Государственного совета, генеральный секретарь Христиан-

* Издательство «Прогрес» готовит к изданию сборник произведений А. Швейцера по философии культуры.

ско-демократического союза ГДР, хорошо знавший Швейцера, дважды посетивший Ламбарене. Советскому исследователю В.А. Петрицкому Швейцер посоветовал (см. письмо в приложении к настоящему изданию): «Если вы хотите подробнее узнать о моей философии и обо мне, вы можете обратиться к господину Геральду Геттингу в ГДР, который меня хорошо знает». Это заставляет нас с тем бóльшим доверием и вниманием отнестись к рассказу Г. Геттинга о Швейцере. Конечно, его книга – не теоретическое исследование, а прежде всего живой рассказ о жизни и личности этого удивительного человека, об обстановке, в которой он работал. Г. Геттинг подчеркивает большое и сочувственное внимание Швейцера к строительству новой жизни в ГДР – немаловажный штрих к характеристике последних лет жизни «доктора из Ламбарене».

Вполне естественно, что Г. Геттинг – прогрессивный религиозный деятель, сторонник активного участия христиан в социалистическом строительстве – уделяет внимание трактовке религиозных позиций Швейцера. О своеобразии этих позиций мы уже говорили, и нужно лишь отметить, что Геттинг выделяет прежде всего гуманизм христианства Швейцера, его связь с отрицанием войны и атомного оружия.

В приложении к настоящему изданию помещено несколько свидетельств о Швейцере, принадлежащих советским людям. Особый интерес представляет письмо А. Швейцера ленинградскому исследователю В.А. Петрицкому, публикуемое с комментариями адресата^{*}.

1967 г.

^{*} См. примечание на с. 289.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (ТЕЗИСЫ)

1. На протяжении последних десятилетий методология структурного анализа (в двух его основных теоретических модификациях – структурно-функциональной и структурно-типологической) явно или неявно играет определяющую роль в развитии социального знания, в особенности, социологического. Имплицитным, нередко неосознанным выражением той же методологии является аппарат современного эмпирического (конкретного) социального исследования. В научной литературе социалистических стран особенности и значение структурных методов обстоятельно рассмотрены.*

В числе факторов, стимулирующих интерес исследователей-марксистов к этим методам (в особенности, научной интерпретации структурно-функционального анализа) – актуальные потребности исследования развитого, «ставшего» социалистического общества как целостного, высоко организованного и функционально интегрированного социального организма.

2. Основной особенностью структурных методов является изображение связей объекта как системы (функциональной или типологической) вневременных отношений. Диахронические (генетические или процессуальные) связи выступают в этой системе представлений лишь в «снятом виде», в виде своих результатов. Условия и способ перехода структуры из одного состояния в другое (структурное изменение или процесс) неизбежно остаются за рамками исследования. Используя очевидное обобщение понятия пространства, можно относить все разновидности структурных моделей социальной

* См. в особенности: *Н. Стефанов*. Методологические проблемы на структурный анализ. София. 1967.

действительности к «пространственным».

3. Именно эта внутренняя ограниченность структурных методов, не зависящая от способа их интерпретации и употребления, позволила преодолеть традиционную монополию традиционно-исторических (или «историцистских», в попперовском смысле) методов рассмотрения общества, построив предмет современного социологического исследования, допускающий все более широкое использование «точного» аппарата анализа. Поэтому преодолением ограниченности указанных методов может быть не возврат к «старому» историзму, но лишь разработка дополнительных по отношению к структурным («пространственным») способам теоретического изображения социальных объектов способов их изображения как процессов (систем изменений «во времени»). Проблемы перехода от структур к процессам интенсивно обсуждаются в западной социологии (Т. Парсонс), в лингвистике (Косериу), а также в общей биологии (И. Шмальгаузен) и др.

4. Принципиальной особенностью социологического представления диахронических структур (по сравнению с традиционно-историческими, мифологическими, утопическими) является отказ от ортогенетических и т.п. ориентаций во имя эмпирического и логического анализа механизмов структурного изменения. Это связано с соответствующим изменением масштабов или «поля зрения». Выход из плоскости «естественной» (и глобальной) истории обществ в сферу многообразия «частичных» социальных процессов означает вместе с тем переоценку соотношений генезиса-структуры*, временных эталонов и т.д.

5. Вся совокупность методологических проблем анализа процессов может быть расчленена на две группы:

а) теоретико-методологическая («онтологическая»), куда относятся проблемы типологии и структуры таких процес-

* См. разработку этих категорий в кн.: *Б. Грушин. Очерки логики исторического исследования*. М. 1961.

сов, и б) логико-методологическая («гносеологическая»), куда относятся проблемы научного языка и логической структуры, применяемой при их анализе.

6. Структурные предпосылки изменений. Известно проводимое Марксом («Капитал», т. 1, гл. 12) сопоставление механизмов регуляции в индийской общине, обеспечивавших «простое воспроизводство» заданной формы общественной жизни, и в капиталистической системе свободной конкуренции, обусловившей высокую мобильность производства и всей системы социальных и культурных ориентаций. В условиях значительно усложнившейся и «кристаллизовавшейся» структуры современного, монополистического и государство-монополистического капитализма весьма актуальным является вопрос о различных «механизмах» социального и культурного «неравновесия», условиях их формирования и воздействия; тем более актуален этот круг проблем для современного социалистического общества. (Его рассмотрение предполагает, кстати, переход от живучего, чисто «статистического» представления социальной структуры как социально-профессионального и т.п. состава населения к анализу функциональной, организационной и динамической структуры^{*}).

7. Типология социальных процессов, в соответствии с изложенным выше, не может быть сведена к указанию их места и направления на некой единой исторической оси, с ее заранее фиксированной ориентацией. Наряду с процессами, которым придается прогрессивное значение в определенном ряду структурных изменений, ведущих к повышению уровня сложности и эффективности данной социальной системы, заслуживают внимания процессы «симплификации» определенных социальных структур (например, «массовой культуры»), инволюции, стагнации и т.д. Основная проблема здесь,

* См. некоторые замечания по этому поводу в сб. «Маркс и социология», М. 1968 (инф. бюллетень ИКСИ, № 3).

очевидно, не в самом по себе усложнении типологии, но в теоретическом анализе тех типов структурных изменений, которые нестрого и неполно характеризуются такими терминами как «модернизация», «урбанизация», «рационализация» и т.д. В частности, весьма важна методологически проблематика «массификации» социальных отношений и ценностей культуры. При рассмотрении способа, которым «задается» определенная ориентация процесса, фиксируется либо цель, либо режим процесса (последний может быть задан и негативно – через запрет нарушения определенных нормативных рамок). В этом плане различаются адаптивные, спонтанные и направленные (или «проективные») – в смысле проектирования результата) процессы.

8. Структура социального процесса является устойчивым соотношением его компонентов, которыми могут быть:

а) соподчиненные «элементарные» процессы (серии изменений), в том числе индивидуальные и групповые действия и социальные «движения», б) «функциональные» элементы процесса, т.е. его организация, система управления, контроля, санкций, интернализации норм и т.д. Вероятно, оправдан наибольший интерес ко второму из названных способов выделения структуры процесса. В тезисе о том, что «порождение новых потребностей» является «первым историческим делом» (Маркс), внимание концентрируется на тех факторах, которые сейчас можно охарактеризовать как культурная ориентация процесса. Призрак «перенасыщенного», «потребительского» общества, о котором столь охотно говорят в буржуазном мире, придает особенно серьезное значение анализу всего механизма формирования «новых потребностей в социальной системе. Другая современная проблема соотношения социального и культурного порядков изменений – так наз. «культурный лаг» (отставание). Ни традиционно-исторические («пережитки»), ни функциональные («институционализированные дисфункции») ее интерпретации нельзя считать достаточными; представляется плодотворным

творным сопоставление различных уровней социального процесса как обладающих собственными временными масштабами.

9. Проблема времени в социальных процессах представляет самостоятельный методологический интерес в связи с отсутствием в социологическом исследовании монопольной диахронической «оси» рассмотрения социальных объектов. Отсюда – плюрализм и неscalaрность действующих масштабов времени (т.е. возможность представления процессов как некоторых пучков траектории).

10. Логический аппарат исследования процессов, предполагающий учет отношений следования, изменения, целеположения, решения (выбора), видимо, еще нуждается в своей разработке.*

11. Как и всякий иной методологический анализ в социологии, рассмотрение очерченной выше группы проблем должно, в конечном счете, вести не только к большей ясности и постановке определенных социальных проблем и внутринаучных проблем, но и к выработке некоторых рекомендаций, способных ориентировать организацию и сам аппарат эмпирического (конкретного) исследования. Можно полагать, что такие «выходы» при дальнейшем развитии указанного направления исследования будут реализованы.

Симпозиум в Кяярйку
26 – 29.09.1968

* См. *Е. Никитин*. Следование и исследование. «Вопросы философии» № 8, 1968, а также соображения *Э. Беркли* о «логике событий» в его кн. «Символическая логика и разумные машины». М., 1965 (пер. с англ.).

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И НАУЧНЫЙ МЕТОД

Почти столь же старая, как само историческое познание, методологическая дискуссия о характере его научности, о степени строгости, сопоставимости, обязательности его результатов не только не прекращается, но, видимо, имеет шансы на расширение. Относительно недавний пример – дискуссия на страницах «Международного журнала социальных наук», издаваемого ЮНЕСКО, о различии между «социальными» и «гуманитарными» дисциплинами. Участники ее отмечали неопределенность научного характера социальных и гуманитарных дисциплин и, как следствие этого, нескончаемость и безрезультатность дискуссии о том, что на самом деле является «наукой», а что – нет¹. Расходясь в определении самого понятия «научности», большинство участников этой дискуссии (равно как и множества подобных ей) стоит на той точке зрения, что философия, литературоведение, историография не могут относиться к социальным наукам и имеют право лишь на причисление к довольно неопределенной категории «гуманитарных дисциплин» (humanities).

Следует сразу же обратить внимание на два момента, существенно осложняющих ход и оценку дискуссии о научности исторического знания.

Во-первых, неоднозначность самого термина «наука», в особенности, в том случае, когда он применяется к различным областям социальной мысли; тем более относится это к современной науке. Так, Ю. Хохфельд отмечал в качестве широко признаваемых показателей «растущей научности» в социальных дисциплинах: 1) развитие точной техники наблюдений, 2) применение математики, статистики и различных типов моделей, 3) сотрудничество с биологией и други-

¹ См. «International Social Sciences Journal», 1964, vol. XVI, № 4, p. 479.

ми естественнонаучными дисциплинами, 4) развитие кибернетики и теории информации². При всей его «общепризнанности» такой подход к научности весьма спорен и, в конечном счете, ведет к профанации проблемы. Использование современных технических средств исследования не дает никакой гарантии научности и современности самого движения исследовательской мысли, так что оценка научной мысли по ее внешним атрибутам вдвойне нежелательна и опасна именно вследствие своей способности стать «ходячей» (здесь перед нами одна из сторон вопроса об иллюзорном престиже науки и научности, – с ним мы встретимся несколько позже). Кроме того, «статичная» характеристика научности знания (при помощи заданного набора требований) неплодотворна, поскольку оставляет вне поля зрения сам характер движения познания – в данном случае, исторического познания. Гораздо надежнее и полезнее анализировать тенденции, особенности, формы этого движения, чем конструировать границы.

Вторая оговорка связана с существующим ныне и доходящим до суеверия в обыденном сознании престижем науки как деятельности (в сущности, это тоже область иллюзорного престижа науки и научности). Выражением этого феномена служит – нередко подсознательное – отнесение всего, что не признается наукой в строгом смысле слова (хотя этот смысл и не очень ясен), за пределы важного, достойного; соответственно на всю дискуссию о характере научности истории накладывается фальшивая печать этической оценки, – что опять-таки отнюдь не способствует научному подходу к проблеме. Феномен этот далеко не случаен, имеет широкое распространение³ и составляет один из интереснейших объектов

² См. «International Social Sciences Journal», 1964, vol. XVI, № 4, p. 481.

³ Любопытное тому свидетельство мы находим в знаменитых лекциях Нобелевского лауреата Р. Фейнмана: «Кстати, не все то, что не наука, обязательно плохо. Любовь, например, тоже не наука. Словом, когда какую-то вещь называют не наукой, это не значит, что с нею что-то неладно: просто не наука она, и все» (Р. Фейнман и др. Фейнмановские лекции

социологии науки. Конечно, сложившаяся (и не только у нас) система научно-организационных отношений, ученых званий и пр., уравнивающая различные формы теоретической деятельности по безличному, бюрократическому критерию «науки», также создает некоторый барьер на пути анализа интересующего нас вопроса (подчас даже психологический барьер, чувство недооценки, принижения, причем плохая и вредная наука оказывается «все-таки наукой», т.е. чем-то более высоким по сравнению с гениальным дилетантизмом, эстетическим откровением и пр.). Преодолеть этот барьер можно лишь осознанием его иллюзорности. Не вопрос о «престиже», но лишь вопрос о структуре знания и способах его движения имеет реальное значение, когда ставится интересующая нас проблема научности этого знания.

И именно поэтому само по себе наличие в руках исследователя сколь угодно глубоко разработанной марксистской философско-социологической методологии не избавляет его ни от необходимости критического рассмотрения современного характера истории как дисциплины, ни от необходимости соответствующего строго научного самоанализа.

Но почему возникает сегодня необходимость в таком анализе? Наиболее зримый аргумент – доносящиеся с разных, даже противоположных сторон выражения неудовлетворенности современным состоянием исторического знания. Насколько, однако, обоснованы эти мнения, точнее, насколько глубоки их основания?

Э. Трёльч еще в начале века писал, что «если в области теоретического исследования не может быть и речи о настоящем кризисе... то зато имеется кризис в сфере общих философских основ и элементов исторического мышления, в трактовке исторических ценностей»⁴. Эти слова вполне могли бы быть произнесены и сегодня. Почти то же мы читаем в

по физике, вып. 1. М., 1967, стр. 55). Кстати, по Фейнману, и математика – не наука.

⁴ *E. Troeltsch. Der Historismus und seine Problemen. Tübingen, 1922, S. 4.*

современных рассуждениях относительно «тупика, в который зашла историческая наука»⁵.

Правда, ситуация кризиса признается не всеми даже на Западе и, прежде всего, его не хотят знать «историки-практики» вроде Э. Карра. Предлагаемый ими путь дальнейшего движения исторических дисциплин фактически сводится к пожеланию «сочетать» традиционные методы с новыми, исторические – с социологическими и на такой основе профессионально-добропорядочного эклектизма продолжать идти проторенной прошлыми поколениями дорогой. Этот путь весьма выразительно охарактеризовал недавно Холлоуэй: «Если мы не решаемся мыслить, существует только один путь создания иллюзии того, что мы выполняем какую-то полезную функцию: придерживаться течения непрерывно изменчивого исследования... Это защитит нас от острого неудобства столкновения с фундаментальными проблемами жизни общества»⁶.

Изложенные выше предварительные замечания позволяют нам в дальнейшем сосредоточить внимание на наиболее существенных с методологической точки зрения моментах движения и противоречиях современного исторического знания, сознательно отвлекаясь от многообразия реально существующих внешних по отношению к нему и кратковременных обстоятельств социально-политического или социально-этического порядка.

Видимо, можно выделить две взаимосвязанные группы факторов, лежащих в основе современных противоречий исторического знания: 1) историография не оправдала некоторых из возлагавшихся на нее надежд, 2) изменились и меняются сами требования, предъявляемые обществом к системам исторического знания. Эти факторы можно обнаружить

⁵ *O.F. Anderle. A Plea for Theoretical History.* – «History and Theory», 1964, vol. IV, № 1, p. 27.

⁶ *S.W. Holloway. Sociology and History.* – «History», 1963, June, vol. 48, № 163, p. 179, 180.

– в неодинаковой форме – в разных по своим мировоззренческим установкам течениях современной исторической мысли.

Прежде всего (и очевиднее всего) расхождение между реальностью социальной жизни и ожиданиями, которые вольно или невольно создавала историческая мысль прошлого, – точнее мысль XIX в. Вряд ли можно считать достаточно глубокими объяснения этого явления лишь «страхом» реакционных сил перед реальностью исторического движения общества или, скажем, «разочарованием» иных прогрессистов, смущенных сложностью и непредвиденностью путей желаемого прогресса и размером платы за него. Как неизменно подчеркивал В.И. Ленин, действительность всегда оказывается сложнее, чем представляют ее самые умные и дальновидные теоретики и политики. И тем не менее, на каждом своем этапе историческая реальность содействовала возникновению определенных оценок, ожиданий, надежд, расчетов, – а в дальнейшем ставила их под сомнение. Отсюда как будто вполне логичен вывод: не было достаточных оснований для таких именно (в той или иной степени детализации) расчетов; переходящее стечение обстоятельств изображалось универсальным законом или же, наоборот, общая тенденция движения принималась чуть ли не за железнодорожное расписание, где указаны минуты остановок. Достаточно банальные сами по себе, эти напоминания нужны нам в данном случае лишь для того, чтобы подчеркнуть значение вопроса о характере «претензий», предъявляемых обществом к историческим дисциплинам. Претензии могут быть фантастическими, неразумными, нелепыми, анализ этих претензий должен быть научным, а значит, раскрывающим их внутреннюю логику, их обоснованность.

Отсюда – второе, не столь заметное, но, видимо, наиболее существенное сейчас обстоятельство: изменение характера самих требований, которые предъявляет общество к истори-

ческому знанию и вообще к социальному знанию⁷. Древнейшая историография говорила о религиозной и моральной ценности исторического знания, классическая – о культурной и философской ценности (это относится и ко всякому «гуманитарному» знанию). По сути дела, это знание всегда строилось в соответствии с явно идеологическими запросами, выступавшими в форме моральных, религиозных и т.д.; практически-научных задач традиционная историография не ставила и не решала. Гегель писал «о моральных рефлексиях и о моральном поучении... для которого история часто излагалась... Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее»⁸. Между тем, в сочинениях современных критиков историзма мы встречаем как раз призывы поставить историю, наряду с иными социальными дисциплинами, на службу практическим потребностям общества, воссоздать картину мира, адекватную действительности, и тем самым заложить основу для правильных решений, принимаемых человеком⁹. Притом речь идет не об извлечениях из истории тех философских выводов, о которых говорил и Гегель, и не об ориентации общественной деятельности по компасу «прогресса» – в соответствии с тем или иным его пониманием¹⁰, – но именно о конкретно-практическом использовании ее уроков.

⁷ «История никогда не является просто историей чего-то, но всегда историей для чего-то» (С. Lévi-Strauss. *La pensée sauvage*. Paris, 1962, p. 340-341).

⁸ Гегель. Сочинения, т. VIII. М. – Л., 1935, стр. 7-8.

⁹ См., например: O.F. Anderle. *A Pley for Theoretical History*. – «History and Theory», 1964, vol. IV, № 1, p. 29.

¹⁰ Ср. у Ключевского: «На что может пригодиться изучение исторических сочетаний и положений, когда-то и для чего-то сложившихся в той или другой стране, нигде более не повторяемых и не предвидимых?.. Мы хотим исполнить заповедь древнего оракула – познать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь» (В.О. Ключевский. Сочинения, т. 1. М., 1956, стр. 17-18).

Каковы бы ни были частные мотивы формулировки такой задачи тем или иным исследователем, теоретиком, критиком – задача эта реально существует и ее содержание нам предстоит рассмотреть более внимательно.

Имеется еще один, не относящийся специально к социальным дисциплинам, но характерный для современной науки в целом момент – речь идет о процессе «методологического расчленения» научного знания. Рост объема научных знаний, наряду с растущими требованиями строгости научного мышления, закономерно привел к превращению методологии научного познания в особый предмет исследования, к формированию (и дальнейшему расчленению) целой системы методологических дисциплин, т.е. областей знания, рассматривающих методы движения самого этого знания. До конца XIX в. этот процесс был сравнительно мало заметен (или происходил внутри определенных, отграниченных друг от друга дисциплин). Не лишенный противоречий и собственных тупиков, процесс этот в дальнейшем своем развитии, видимо, должен создать условия для рационального разделения труда и плодотворного обмена деятельностью между методологическими и «содержательными» дисциплинами разного уровня (включая логико-философские, формальные и т.д.). Пока же он с неизбежностью шаг за шагом приводит к выявлению секретов скрытого ранее движения научной мысли и ее предпосылок. Процесс этот бывает болезненным, поскольку он вскрывает и механизм «возвышающего обмана», представляя в холодном свете рассудка интимные тайны движения привычных исторических иллюзий; возникающая ситуация порой напоминает психоаналитическую. Тем не менее, по существу дела, вся проблема научности исторического исследования в конечном счете сводится не к совокупности отдельных приемов и технических средств, но именно к эксплицированию, расчленению, анализу самой логики движения исследования, что является необходимым условием современного развития этого сознания в направлении к

большой строгости результатов.

Историческое сознание и его трансформации

Постановка вопроса об изменении требований, которые предъявляет общество к знаниям о своем прошлом, подводит нас к весьма интересному, но не часто рассматриваемому в нашей научной литературе понятию исторического сознания общества. Этим понятием охватывается все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает (воспроизводит и оценивает) свое прошлое, точнее – в которых общество воспроизводит свое движение во времени.

В каждую данную эпоху историческое сознание представляет собой определенную систему взаимодействия «практических» и «теоретических» форм социальной памяти, народных преданий, мифологических представлений и научных данных (последние, разумеется, выступают лишь с момента появления науки на общественной сцене). Во всяком случае, научное знание об истории выступает лишь одним из моментов (правда – все более важным) в этой системе.

Следует подчеркнуть, что речь идет об историчности как атрибуте, присущем прежде всего сознанию общества и тем самым определяющем рамки движения всякого типичного индивидуального сознания данного общества. В этом отношении историческое сознание может быть сопоставлено с такими широко известными формами общественного сознания, как правовая, нравственная, национальная и т.д., но не поставлено в один ряд с ними. Если каждая из этих форм представляет собой одну из плоскостей человеческого отношения к наличной действительности, историческое сознание вводит в эти отношения дополнительное измерение – время. Причем способ введения этого «четвертого измерения» бытия неодинаков в различных типах и в различные периоды развития общественного сознания.

Очевидно, что всякая общественная система должна располагать какими-либо способами фиксации (отображения, моделирования) своих прошлых состояний; без этого невозможно было бы продолжение ее жизнедеятельности, не говоря уже о ее развитии. Различия же между этими способами состоят, во-первых, в предмете отображения и, во-вторых, в способе осуществления этой процедуры.

Вообще говоря, объектом отображения в историческом сознании всегда служат определенные моменты прошлых состояний общественной системы. Меняется прежде всего сама протяженность событий, которые запечатлеваются в сознании общества. Это могут быть ближайшие прошлые состояния общественной системы, которые непосредственно воспроизводятся в ближайшем будущем. В том же качестве могут выступать и сравнительно длительные – охватывающие десятки и даже сотни лет – периоды, на протяжении которых сохраняются относительно стабильными некоторые параметры деятельности общественной системы (нравственные, правовые, культовые). В обоих случаях здесь перед нами не только «короткая» (т.е. охватывающая непосредственное прошлое) память общества, но память, обеспечивающая лишь воспроизводство сложившегося типа общественных отношений или определенных сторон этих отношений, так сказать, память, обеспечивающая функционирование «заведенного» общественного механизма.

Когда же фактом общественного сознания в той или иной форме становится отдаленное прошлое, т.е. то прошлое, которое уже не может воспроизводиться, отношения которого к настоящему (а под «настоящим», как известно, обычно имеется в виду некоторая протяженность прошлых и будущих состояний системы, функционирующей в каких-то стабильных рамках) опосредованы рядом иных состояний, – изменяются сами функции исторического сознания: либо оно выступает как осознание процесса развития общества во времени, либо оно фиксирует противопоставление «ны-

нешнего» состояния – «прошлому» (возможен целый ряд таких противопоставлений); эта последняя операция внутренне присуща многим нравственным и религиозным системам. Опосредованная, долговременная социальная память по самой уже протяженности своей не может служить интересам непосредственного продолжения запечатленного (закодированного) в ее структуре типа деятельности.

Таким образом, оказывается, что даже само по себе изменение протяженности «памяти» общественного сознания связано с переоценкой ее предмета, перестройкой ее структуры и ее функций.

Под «структурой» исторического сознания мы в данном случае имеем в виду способ (или, лучше, взаимосвязь способов) фиксации в нем своего предмета, т.е. подлежащих отображению моментов общественных процессов. Сюда относится все многообразие вариантов «сознательного» и «бессознательного», «теоретического» и «практического», «научного» и «мифологического» и т.п. вариантов запоминания обществом своего прошлого.

Аналогия между историческим сознанием и памятью, которой нам уже приходилось пользоваться, имеет немало оправданий. Как писал Ч. Райт Миллс, «историк представляет организованную память человечества, и эта память в виде писаной истории чрезвычайно подвержена искажениям»¹¹. Память всякого организма, как теперь хорошо известно психологам, физиологам, кибернетикам, – система весьма сложная, действующая по-разному на различных уровнях; сам характер «ошибок» разных типов памяти представляет предмет специального изучения. Разумеется, это относится и к «социальной памяти», причем, анализируя историческое сознание как один из элементов «памяти» общества (социального организма), мы получаем возможность видеть определенные закономерности в самом соотношении разных типов этого

¹¹ C. Wright Mills. *The Sociological Imagination*. N. Y., 1959, p. 144.

сознания, а в грубых и как будто случайных «ошибках» – разглядеть неизбежные или даже функционально необходимые для определенных фаз общественного развития или для определенных состояний общественной системы и иллюзии.

Рассмотрение исторического сознания под углом зрения исторического развития его функций позволит подойти к непосредственно интересующей нас проблеме научности в этом сознании.

Первый очевидный тезис: наличие строго определенного разнообразия форм исторического сознания на различных этапах его развития.

Для *непосредственной социальной памяти* (в том смысле, как мы о ней говорили ранее) характерна ясно выраженная практичность. Это означает, во-первых, что накопленная социальная информация обслуживает ближайшие, повседневные практические потребности (потребности повседневного функционирования общественного организма), а во-вторых, что эта информация хранится и передается преимущественно «практически», в самом процессе практической деятельности. Поскольку всякая «сегодняшняя» деятельность (в этих исторических условиях) является прямым продолжением и повторением «вчерашней», необходимый для ее осуществления прошлый опыт выступает в виде практических навыков, привычек и т.д.; примерно так можно представить и способ существования непосредственной социальной памяти¹². (Здесь, видимо, вполне правомерно отождествление «памяти» с «опытом», поскольку память сводится к практически используемым сведениям; понятие же «исторического

¹² «Единственной формой письменности у скандинавов до конца XI в. оставались древнегерманские знаки – руны, которые вырезали на камне, кости, дереве, оружии. Они имели преимущественно магическое значение, и законов ими не записывали. Поэтому к памяти предъявляли очень большие требования. В памяти приходилось хранить все, что требовалось сообщить следующему поколению» (А.Я. Гуревич. Походы викингов. М., 1966, стр. 22).

опыта», отнесенное к более сложным формам социальной памяти, в значительной мере метафорично.) К этой форме могут быть отнесены данные Марксом и Энгельсом характеристики первобытно-практического сознания, которое «вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни»¹³.

В наиболее «чистом» виде с непосредственно-практической формой хранения социальной информации мы встретимся, видимо, лишь на теоретически реконструируемых этапах примитивного сознания. В знакомых же нам формах общественной жизни о непосредственно-практических способах хранения и передачи социального опыта можно судить по тем формам культуры, которые находят свое выражение в народных обычаях и традициях. (При этом следует заметить, что сами по себе зафиксированные в общественном сознании обычаи охватывают лишь отдельные моменты этого опыта и скорее служат средством его санкционирования, чем записи; основное содержание непосредственно-практической памяти не осознается, поскольку в этом нет необходимости.)

Элементами этой формы хранения социальной информации служат стандартные отрезки человеческой деятельности, которые должны быть воспроизведены на последующих ее фазах. Поскольку принципом деятельности социальной системы является простое повторение «вчерашнего» (непосредственно-прошлого) состояния, не существует необходимости в выделении каких-то отдельных параметров деятельности (норм, принципов, критериев и т.д.) из общего ее потока, тем более, нет условий для фиксации в общественном сознании оценок прошлой деятельности (по самой природе своей эти оценки могут относиться лишь к отдельным элементам прошлой деятельности). Единственным «принципом» работы всего механизма непосредственно-практической социальной памяти является воспроизводство в целостности и сохранности

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 24.

нерасчлененных прошлых состояний общества.

Разумеется, эта форма социальной памяти должна быть максимально точной в смысле адекватного воспроизведения «деталей» общественного состояния. В ней попросту нет места для «социально-необходимых» искажений (всякое искажение оказывается помехой, которая терпима лишь статистически, т.е. поскольку ее действие перекрывается действием множества «правильных» ячеек памяти).

Конечно, мы рассматриваем заведомо упрощенную, идеализированную картину отношений, которые в чистом виде не существуют.

Но рассмотрение идеализированной ситуации (лучше бы сказать – модели) в науке оправдано постольку, поскольку оно дает некоторый ключ к пониманию проблемы.

Какое, однако, отношение к интересующей нас проблеме исторического сознания имеет рассмотрение модели действия непосредственной социальной памяти, которая – по всем ходячим и общепринятым критериям – явно *неисторична*? Возможно, такой вопрос не раз уже возникал перед читателем при знакомстве с изложенными выше соображениями. Но «ходячие критерии» – плохая основа для научного анализа именно потому, что в них иллюзия «общепринятости» (это всегда иллюзия!) прикрывает неопределенность или бессодержательность употребляемых категорий. Непосредственно-практический опыт имеет дело лишь с функционированием, но не с развитием; основное его содержание вообще не осознается. Можно сказать, что реальная история общества выступает здесь лишь в своем «снятом виде» – как результат, требующий повторения. Тем не менее, с этой примитивнейшей формой существования социальной памяти, различными ее модификациями мы встречаемся на самых разных этапах движения исторического сознания; выделить ее нужно хотя бы для того, чтобы отграничить от иных форм фиксации прошлого.

Существенно иную структуру и, соответственно, иные

общественные функции найдем мы у того довольно обширного и многообразного класса идеологических форм, которые можно отнести к *мифологическому сознанию*. В данном случае оно интересует нас лишь как одна из форм исторического сознания; мифологизм может рассматриваться в разных планах и прежде всего, конечно, как момент культовой (религиозной) системы отношений. Это предпочтение вполне закономерно, поскольку мифологическое сознание рождается в культовом комплексе и переносит культовые отношения (характерный для культа способ иллюзорного снятия реальных противоречий) на иные, обособившиеся или независимые от культового комплекса сферы отношений – моральных, познавательных и других. Именно в культовом комплексе мифологическое сознание, выражаясь на языке изысканной гегельянщины, находит свое «у-себя-бытие». Тем не менее, широта сферы воздействия этого типа сознания, прямо или косвенно наложившей свой отпечаток на множество философских, социально-политических, этических, эстетических и, разумеется, исторических концепций, не имеющих прямого отношения к признанным культовым системам, создает возможность рассматривать мифологизм вне связи с другими элементами культа.

Что представляет собой мифологическое сознание как форма сознания исторического?

Очевидно, что в религиозных и сказочных преданиях, былинном эпосе, исторических притчах и т.д. (мы берем пока наиболее зримые формы) в том или ином виде воспроизводятся и оцениваются определенные ситуации, действительно имевшие место в прошлом. Очевидно, далее, что они воспроизводятся «искаженно», «извращенно», «не так, как на самом деле» (т.е., по сути дела, не так как они были бы воспроизведены в практически-непосредственной или в рационально-научной социальной памяти). На этой достаточно банальной констатации останавливается обычно всякое вульгарное обличение мифологии. Для науки же эта (как и всякая

иная) очевидность служит лишь предпосылкой исследования, которое, в принципе, может идти по двум путям: 1) дешифровки и перевода на рациональный язык тех исторических сведений, которые скрыты в мифологических ситуациях¹⁴, 2) анализа самого способа «шифровки», его внутренних связей, его обусловленности и т.д. В данном случае нас интересует второй путь, или, уже, один из вариантов этого второго пути: анализ особенностей мифологической «обработки» исторической реальности.

Анализ этот с самого начала вынуждает нас признать, что мифологическое сознание не просто представляет собой «извращение» реальности, но какую-то весьма устойчивую, сравнительно мало и медленно (в зримых исторических и географических пределах) вырвирующую систему «извращений», последняя же сохраняется в ходе исторического развития, поскольку оказывается социально необходимой, удовлетворяющей определенным общественным потребностям, или, следуя терминологии Маркса, «восполняющей» действительность. Специфическую особенность мифологического сознания составляет способ иллюзорного преодоления реально-значимых противоречий: конструируются такие ситуации и персонажи, в описании которых низкое оказывается высоким, смертное – бессмертным, конечное – бесконечным и т.д. Такое преодоление реальных (для соответствующей эпохи) оппозиций происходит и в иных компонентах культового комплекса, для чего служат свойственные им категории ритуального («литургического», как иногда говорят) времени и пространства, обозначающие особые, исключительные условия, в которых происходит (разумеется, иллюзорно, т.е. социально-психологически) снятие реальных противоречий. В мифологическом сознании имеются свои аналоги этим исключительным, священным условиям: свои категории вре-

¹⁴ См., например, В. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.

мени, пространства, действий и деятелей, которые выполняют те же функции.

Под мифологическим временем обычно понимается свойственное религиозному миру, сказке, притче представление о некотором периоде, когда не существовало смерти, болезней, страданий, различий между человеком и животными, половых табу и т.д.; это время может быть отнесено к прошлому («точно» датированному, как, скажем, грехопадение в библейской литературе, или связанному с неопределенно-отдаленной эпохой, «давным-давно», «когда звери говорили» и т.п.) или также к будущему (рай, «тысячелетнее царство» и пр.). Соответственно под мифологическим пространством понимается то «тридцатое царство», в котором оказываются возможными действия, неосуществимые в действительности. В качестве мифологических персонажей выступают люди, животные, фантастические существа, наделенные способностью преодолевать непреодолимые барьеры между жизнью и смертью, «землей» и «небом»¹⁵.

К мифологическому типу исторического сознания, исходя из сказанного, мы можем отнести все те способы воспроизведения прошлого, которые служат «восполнению» действительности, иллюзорно решая ее оппозиции, создавая картины мифологического времени («золотого века») и выводя на сцену мифологических персонажей. Очевидно, что нас в данном случае интересуют характеристики исторического сознания, обусловленные самой его структурой, а не убеждения и намерения отдельных историографов или их отношения к каким-либо признанным культовым системам.

Если, как мы уже говорили, непосредственно-практическое сознание должно с неизбежностью стремиться к макси-

¹⁵ См. *Е.М. Мелетинский*. Происхождение героического эпоса. (Ранние формы и архаические памятники.) М., 1963, а также дискуссию об этой работе в журнале «Советская этнография» (1965 – № 5, 1966 – № 1, 2, 3, 6) и в других журналах.

мально строгому, детальному воспроизведению реальной ситуации, то в сознании мифологическом такая установка принципиально невозможна. Последнее моделирует реальность вовсе не для ее дублирования, но для воспроизводства *иной* реальности, оно, следовательно, заведомо необъективно (и не нуждается для своего успеха в том, чтобы быть или выглядеть объективным). Так, известный переднеазиатский (библейский, вавилонский) миф о сотворении мира служит, конечно же, не для воспроизведения этого акта, но для иных целей – оправдания определенных установлений, санкционируемых божественной волей, и т.д. Точно так же рассказ о страданиях Христа важен христианской мифологии прежде всего как источник моральных и теологических выводов, но не как источник исторических сведений о I в. н.э. (Другое дело, что в апологетике достоверность деталей мифа иногда – не обязательно, впрочем – превращается в критерий священности рассказа; богословская позиция в данном случае меняет местами концы каузальной цепи: достоверным кажется в этом сознании то, что свято, во что верят, что выполняет свои функции, – но не наоборот!)¹⁶

Из этой особенности мифологического сознания вытекает далее, что мифологический текст не может (и не призван) служить в качестве инструкции или образца действия, которое должно быть воспроизведено. «Жить» мифом нельзя, как нельзя и объяснять при помощи мифа историческую действительность. Задача мифа в ином – санкционировать, навязать, распространить определенные типы социальных и социально-психологических отношений.

Мифологическое сознание, следовательно, выполняет свою социальную функцию иначе, чем непосредственно-практическое: путем заведомой трансформации исторического материала, приводящей к его актуализации, т.е.

¹⁶ «Тот факт, что это истина, не важен; но в это верят люди – вот в чем дело, черт побери!» (Г.К. Лихтенберг. Афоризмы. М., 1965, стр. 65).

заведомо подчинения прошлого сегодняшним – притом, мифологическим – оценкам, требованиям, нуждам. Это не значит, что такая операция сознается отдельными ее участниками в настоящем виде; более того, обычно она выступает в «перевернутом» виде – как подчинение настоящего стандартам некоторого идеального прошлого (или будущего), – в то время как на деле происходит лишь трансформация исторического материала в угоду некоторым текущим иллюзиям.

Широкое поле исследования – проблема народности мифологического типа исторического сознания, т.е. его связи с массовым сознанием и такими традиционными его формами, как эпос, обычай и т.д. Широко распространенные в нашей литературе тенденции противопоставления этих форм мифологии, как правило, строятся на заведомо узком или даже просто неверном отождествлении мифологического сознания с одним из наиболее известных (точнее, предполагаемом таковым) типов религиозной идеологии. Между тем, есть основания полагать, что массовое сознание никогда в принципе не совпадает с какой-либо формой установленной, «специализированной» культовой идеологии. В то же время сам способ воспроизводства и оценки прошлого, характерный для традиционного массового сознания, бесспорно, мифологичен. Героизация, морализация, символизация и т.п. превращения, которые являются необходимым условием хранения исторической информации в «народной памяти» – атрибуты мифологического сознания.

Видимо, не будет излишним – особенно для дальнейшего хода рассуждений – подчеркнуть вновь, что нас интересует вовсе не «обличение» мифологического сознания как такового или его воздействия на историческую мысль. Поверхностное обличение, сколь бы резким оно ни было, еще не выводит нас за пределы самого мифологического сознания, оно способно лишь перевернуть присущую ему шкалу ценностей. Эта ситуация вполне аналогична соотношению между легендой и сплетней: «Легенда и сплетня – антиподы. Но они ан-

типоды одного ряда, одной системы. Сплетня – изнанка легенды... легенда и сплетня дополняют друг друга»¹⁷.

Функция науки – не в «обличении» легенд, а в объяснении общественных потребностей, которые привели к формированию и господству именно таких продуктов мифологического сознания, в анализе условий, которые приводят или могут привести к переоценке мифов.

Способы мифологической трансформации истории сравнительно немногочисленны и, как показано рядом исследований, повторяются в культурах различных эпох и народов. Отметим четыре из них: 1) прошлое рисуется как адекватное настоящему; время снимается и «сегодняшний» миф выступает извечным; 2) конструируется картина мифологического времени, прямо противоположного нынешнему; апология настоящего происходит через иллюзорное его отрицание (сюда относятся и представления о рае, золотом веке и т.п.); 3) настоящее выступает неким исключением из хода событий (хаос, упадок, гибель), которое существует благодаря вмешательству исключительных факторов – культурных героев и сил; 4) настоящее выступает результатом всех предшествующих состояний общества. В тех или иных вариантах или сочетаниях мы найдем следы этих типов мифологической трансформации истории и в легендах индейских племен, и в гегелевской концепции мирового процесса.

Тень немецкого философа потревожена не случайно. В его грандиозной конструкции всемирно-исторического процесса, содержащей немало рациональных подходов к истории и гениальных соображений, открывших новые возможности движения исторической мысли, – помимо всего этого (и надо всем этим) виден лик доброго старого мифологизма. Правда, Гегель упорно воевал с ним, стремясь преодолеть богословский разрыв между богом, творящим историю, и историей, им творимой. Но получалось у него то, что, по сло-

¹⁷ А. Лебедев. Чаадаев. М., 1965, стр. 7, 8.

вам Маркса, Лютер проделал с попами: он превратил попов в мирян, сделав самих мирян попами. Гегель же превратил священную историю в светскую, придав последней священный смысл. Не лишено интереса то обстоятельство, что для подкрепления своей основной идеи о шестивии разума в истории («единственной мыслью, которую привносит с собой философия, является та простая мысль разума, что разум господствует в мире»¹⁸) он прямо ссылаясь на авторитет Библии и ставил в упрек своим противникам (Канту) отход от ее учения¹⁹. Гегелевская философия истории мифологична по своим истокам и по своему значению, ибо история в ней подчинена схеме исторической апологетики, а диалектика духа в истории по существу оказывается лишь «инобытием» одного из вариантов христианской концепции преодоления греховности мира.

Однако в данной связи нас интересует не столько сама гегелевская философия истории, сколько один из ее предшественников, противников и в то же время ее наследников. Речь идет об утопизме, который вырос на корнях просветительского рационализма и который пережил гегелевскую критику.

Идею о восстановлении «первоначального» счастливого состояния человека, которой пытались придать рациональную форму многие просветители XVIII в. (Морелли, Руссо), Гегель критиковал резко и верно: «Ведь состояние невинности, это райское состояние, есть животное состояние. Рай есть парк, в котором могут оставаться только звери, а не люди... Грехопадение есть вечный миф человека, именно благодаря ему он становится человеком»²⁰. Конечно, ни эта, ни последующая критика (и самокритика) *утопического сознания* не прекратила его существования.

По своим истокам и по своему содержанию утопическое

¹⁸ Гегель. Сочинения, т. VIII, стр. 10.

¹⁹ См. там же, стр. 14.

²⁰ Там же, стр. 304.

сознание является одним из вариантов сознания мифологического (здесь мифологическое время как бы «социализировано», опрокинуто вперед, т.е. «золотой век» усматривается в будущем). Конечно, утопизм в таком понимании значительно шире категории утопического социализма; с другой стороны, идеи общественного прогресса и социального переустройства лишь тогда могут быть отнесены к утопическому сознанию, когда они исходят из утопической схемы исторического движения.

Обратим внимание на некоторые характерные черты утопического сознания:

1) исторический процесс выступает как направленный, ориентированный своей целью, как ортогенез. Все предшествующие состояния общества рассматриваются как ступеньки восходящей к цели лестницы;

2) относимое к мифологическому будущему состояние цельности бытия, свободного от противоречий, выступает в качестве «подлинной» человеческой истории, снимающей все предшествующие ей «неподлинны» этапы, смысл каждого из которых состоит лишь в приготовлении почвы для своего преемника;

3) незаметно входящее в эту схему убеждение о том, что цель (бога и человечества) оправдывает средства; это убеждение естественно вырастает из самого уже «линейного» расположения этапов восхождения к финалу, где каждое предыдущее состояние оказывается средством достижения следующего и т.д.;

4) отношение к человеческой личности как элементу, средству реализации общественной программы, поскольку реализация утопического идеала считается средством решения всех человеческих проблем.

Эта характеристика утопического сознания отнюдь не предрешает вопрос об исторической роли тех или иных его форм: неизбежность и прогрессивность целого ряда из них достаточно хорошо известны. Другое дело, что консерватив-

ность самого типа мифологического сознания вполне присуща любым утопическим представлениям (поскольку история подчинена наперед заданной схеме, вольно или невольно происходит «подгонка» исторических представлений под наличную схему; здесь объективная основа тенденции к стабильности схемы, а значит, и катастрофического преодоления последней). Поэтому оправданная и полезная в одних условиях, утопическая схема оказывается неоправданной и вредной в изменившейся ситуации, но изменяться вместе с ситуацией она не способна. В этом, кстати, одно из отличий мифологического сознания от научного.

Вряд ли можно, однако, сформулировать характеристики *научного сознания истории* через серию подобных отрицаний. Формирование научного подхода к исторической действительности – процесс долгий и противоречивый, так что гораздо важнее выявить его тенденцию, а не какой бы то ни было изолированный признак.

Предпосылкой развития научного подхода к истории служит изменение места исторического сознания в обществе. Скажем, такие элементарные (по современным нам понятиям) факты, как изменения формы хранения исторической информации, связанные с переходом ее в ведение профессиональных хронистов, пользовавшихся записью, создали серьезнейшую предпосылку для изменения самой структуры зафиксированного знания. По всей видимости, именно здесь появилась та «клеточка» исторического исследования, которая и сейчас составляет основное его содержание, она же составляет центр всей методологической дискуссии вокруг исторического знания: речь идет об «историческом», подлежащем объективной регистрации факте. Стремление фиксировать объективные факты в их хронологической последовательности – независимо от того, сколь полно оно могло реализоваться – задало новый «тон» движению исторической мысли, резко противопоставив его «тону» мифологического сознания. Это не значит, что историческое сознание в этой

его форме сразу же выступает неким антиподом сознания мифологического. Скорее наоборот: исторические сочинения, объективные на «низшем» уровне, т.е. детально и подробно описывающие факты в их хронологической последовательности, оказывались заведомо субъективными в своих установках, подчиняя описание фактов той или иной мифологической, моралистической, утопической схеме исторического сознания. (Потребовались десятки веков, чтобы стала ясной обусловленность самого понятия «факта» общей установкой описания.)

Как известно, наша «Повесть временных лет» составлялась с ясно выраженной целью: дать оправдание определенным социально-политическим и нравственно-религиозным идеям (противопоставление христианского мира варварскому, единство славян и др.). Современный исследователь «Повести» Д.С. Лихачев усматривает в ней «осмысление политической действительности», отмечает «героическое и учительное» значение исторической хроники²¹. Он связывает эти особенности древних памятников исторической литературы с «особым характером народной памяти», с влиянием «народно-поэтического отношения к миру»²². По сути же дела, речь идет именно о тех явлениях, которые служат атрибутами мифологического сознания.

С той же картиной встретимся мы и в «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, которую отделяют от нас всего полтора столетия. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»²³. И эту программу прославленный осно-

²¹ См. «Повесть временных лет», ч. II. М.–Л., 1950, стр. 6, 25.

²² См. там же, стр. 24, 29.

²³ *Н.М. Карамзин*. История Государства Российского (в трех книгах), кн. I. СПб., 1842, стр. IX.

воположник отечественной историографии последовательно реализует.

Отметим, что еще во времена Карамзина в историю входила едва ли не вся совокупность социальных знаний. Дальнейшее движение исторической мысли связано с двумя принципиально важными процессами: 1) обособлением дисциплин, рассматривающих определенные аспекты функционирования общества как системы (политическая экономия, социология); 2) десакрализацией, демифологизацией самого исторического сознания, связанной с изменением его функций в обществе (продуктами этого процесса – как бы продуктами «полураспада» мифологизма – выступают многообразные варианты утопического сознания, этического, эстетического, короче говоря, ценностного отношения к исторической реальности). Рассмотрение этих процессов неизбежно приводит нас к вопросу о характере и судьбах *историзма* как важнейшего явления исторического сознания, сложившегося непосредственно после его избавления от мифологических концепций.

Метод и концепция историзма

Крупнейшим явлением научной мысли XIX в. было формирование и торжество историзма, выступившего в качестве метода исследования как в сфере естественнонаучной, так и в сфере социального знания. Принципы историзма за последние сто лет столь прочно вошли в научный обиход, приобретая признаки очевидности, что – как это, впрочем, всегда бывает с обиходными категориями – их реальное содержание не часто привлекает специальное внимание. Эта мнимая очевидность служит источником многих методологических ошибок.

Так, прежде всего возникает вопрос, правомерно ли считать, что исторический метод применяется в таком «жанре» исторического исследования, как *хроника*, т.е. расположении

реальных событий на шкале времени. Мы отнюдь не собираемся дезавуировать хронику как способ фиксации исторического материала. Хроника – исторически первый способ объективного (точнее, стремящегося быть объективным) отношения человечества к своему прошлому. В то же время это вновь и вновь повторяющаяся в движении исследования фаза «собираательства». С хронологизмом, однако, связаны по крайней мере две чрезвычайно распространенные иллюзии. Во-первых, иллюзия относительно того, что хроника служит «началом» всякой историографии и потому свободна от всякого мифологизма (и идеологизма вообще). На деле же сама фиксация фактов предполагает какие-то предварительные, большей частью неосознанные способы выделения и классификации этих фактов, и уже благодаря этому последовательность их расположения в той или иной форме содержит некоторую схему их взаимосвязи, направленности этой взаимосвязи²⁴. Вторая же иллюзия состоит в том, что хронологизму приписывается некая концепция «исторического процесса» (в частности и в особенности – концепция историзма). Последовательность фактов объявляется закономерностью, благодаря чему донаучные (по крайней мере предшествующие какому-либо определенному исследованию) предпосылки отбора и оценки «фактов» выступают в качестве «научных выводов». Эта иллюзия, носящая характер профессиональной болезни хронистов всех времен (и подкрепляемая упомянутым ранее фактором иллюзорного общественного престижа научного знания и его суррогатов), в немалой

²⁴ Риккерт был прав, утверждая, что «еще до того, как наука приступает к своей работе, уже повсюду находит она сама собой возникшее до нее образование понятий, и продукты этого донаучного образования понятий, а не свободная от всякого понимания действительность, являются, собственно, материалом науки» (*Г. Риккерт. Философия истории*. СПб., 1908, стр. 18). Заметим лишь, что стихийно сложившиеся предпосылки воздействуют и на хронику, а также что само формирование этих предпосылок может быть не только зафиксировано, но и исследуемо.

мере способствует разрушительной работе кантианской и позитивистской критики историзма.

В самом общем виде историзм как метод исследования может быть охарактеризован как: а) рассмотрение явлений действительности как процессов, протекающих во времени, и б) признание обусловленности данного состояния процесса его предшествующим состоянием. От хроники историческое рассмотрение отличается тем, что оно берет не столько последовательность, сколько детерминацию явлений; от мифологического (утопического и т.п.) подхода к прошлому историзм принципиально отличен, как каузальность от финализма, т.е. как объяснение «почему» от объяснения «для чего».

Но что такое переход от хронологизма к историзму? Обиходное представление о том, что внимательное наблюдение достаточно большого числа фактов, при наличии соответствующего интереса, «ведет» исследователя к обнаружению связей между фактами или к построению теории, охватывающей целый класс таких связей, неверно и являет собой распространенный пример логической ошибки «post hoc, ergo propter hoc». В действительности обращение к фактам обеспечивает проверку, браковку, отбор концепций, которые, конечно, не априорны, не извечны, но которые сложились в каком-то ином процессе, на ином уровне. Так обстоит дело и с историзмом. Отсюда следует, что, собственно, происходит переход от явного или скрытого мифологизма, утопизма к историческому рассмотрению прошлого, которое подчиняет себе хронику и определяет ее движение, – подобно тому как до этого хроника подчинялась иным методам.

Для формирования историзма как универсального метода исследования в общественных науках решающее значение имели философские концепции прогресса (Гердер, Гегель) и, в особенности, эволюционные идеи в естествознании (биологии, геологии, космологии), серьезно повлиявшие на все мировоззрение своего времени. Р. Виппер справедливо отмечал,

что Гердер «находился под обаянием прежде всего естественнонаучных открытий. Фундамент его истории человечества – это история солнечной системы, история образования земной коры, история развития растительных и животных видов»²⁵.

Нет нужды доказывать, как повлияли на распространение исторического подхода к обществу успехи дарвинизма. Общеизвестна та высокая оценка роли эволюционной теории в формировании диалектико-материалистического метода, которая дана в классической марксистской литературе; в то же время эта теория оказала огромное влияние и на немарксистскую общественную мысль. «Всепроникающая концепция истории в своем приложении не только к человеческим действиям, но к самой природе обязана, как я полагаю, в основном Дарвину»²⁶, – писал С. Александер.

Марксистская теория выступила как последовательное применение исторических принципов к общественной жизни. «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории», – писали Маркс и Энгельс²⁷. (Очевидно, что здесь речь идет именно о методе исторического рассмотрения действительности, а не об истории как особой дисциплине.) Излишне напоминать, что марксистский историзм базируется на понимании роли материального производства и материальных отношений в общественном процессе, в то время как иные исторические концепции, как правило, выделяли культурные факторы движения общества. В данном случае представляется целесообразным сосредоточить внимание на судьбе самого принципа историзма, поскольку от той или иной его трактовки зависит и выбор «факторов».

²⁵ *P. Bunnep*. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX веков в связи с общественным движением на Западе. СПб., 1900, стр. 83.

²⁶ *S. Alexander*. The Historicity of Things. – In: *Philosophy and History*. Essays presented to E. Cassirer. Ed. by R. Klibansky and H. Paton. N. Y. – Evanston – London, 1963, p. 11.

²⁷ *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Сочинения, т. 3, стр. 16.

К концу XIX в. историзм стал универсальной модой. Хорошим выражением ситуации можно считать известный тезис Бернгейма о «трех стадиях исторической науки» (повествовательной, поучительной, генетической)²⁸; представлялось, что «генетическая история» (т.е. историзм) окончательно одержала верх над хроникой, мифологизмом и морализированием. Тому же автору принадлежит характерное определение истории как «науки, которая изучает и излагает в каузальной связи факты развития людей как социальных существ во всех видах их действий (индивидуальных, равно как типических и коллективных)»²⁹. И именно универсальная «мода» на историзм позволила выявить существенные его изъяны и слабости. В.И. Ленин отмечал, что принцип развития получил широкое распространение в своем опошленном, вульгаризированном виде; для общественных наук справедливость этого замечания особенно очевидна.

Прежде всего вульгарно интерпретировался сам принцип каузальности в историческом процессе. Не умея подойти к определению «механизма» этого процесса, либерально-пошлые разносчики историзма и их вульгарные оппоненты попытались зримую, наглядную (во второй половине прошлого века) картину общественных изменений выдать за универсальный закон. С этим связана та концепция вульгарного «прогрессизма», которая с легкостью обернулась концепцией универсального отчаяния и паники, столкнувшись с двумя мировыми войнами, фашизмом и тому подобными проявлениями противоречий современного общественного развития. Немалый ущерб нанесло вульгарно понятому прогрессизму и обнаружение многообразия общественных систем, которые не укладывались в схему «линейного» восхождения человечества.

«Внешние» удары стимулировали и вывели на поверх-

²⁸ См. *Г. Шпет*. История как проблема логики, ч. I. М., 1916, стр. 25.

²⁹ См. «Philosophy and History» (ed. by R. Klibansky and H. Paton), p. 1.

ность давно назревавший внутренний кризис вульгарного историзма. Так, например, стала ясна вся противоречивость понятия «исторического факта», которое примитивный историзм принимал за нечто незыблемое; вместе с этим оказалась подорванной и наивная достоверность «фактологической» историографии. Брошенный в свое время Л. Ранке лозунг «в простом и чистом виде раскрыть, как это было»³⁰, который как будто соответствовал наивно реалистической трактовке историзма, обнаружил свою бессодержательность при первом же столкновении с анализом исторического исследования. В конечном счете, этот лозунг не отличается от поучения Цицерона историкам: «первый закон истории – не сметь говорить неправды, второй – говорить всю правду»³¹. «Факт» в вульгарном историзме оказался функцией концепции, исторической схемы, – причем именно в силу того, что наложение концептуальной системы на фактологию произошло неосознанно, в роли такой системы выступила некоторая трансформация известного нам мифологизма и утопизма. Прогрессизм, претендовавший на объективное, «идеологически нейтральное» выражение реальности процесса, был уличен как переодетый финализм, конструирующий схему всеобщего движения к предзаданному всеобщему «happy end».

Смешение разнородных процессов функционирования и развития, а также разных типов каузальной обусловленности явлений (динамической и статистической) в значительной мере способствовало изображению всего исторического движения в виде этакого поступательного восхождения, а исторического прошлого – апологией данного настоящего.

Лапласов тезис о возможности вывести все события мирового развития из формулы, обозначающей «первоначальное» состояние мира, у Фихте звучал так: «Все, что действительно существует, существует с безусловною необходимо-

³⁰ См. «L'histoire et ses méthodes». Paris, 1961, p. 1268.

³¹ Cicero. De oratore, II, XV, 62. – См.: «L'histoire et ses méthodes», p. 1523.

стью и с безусловной необходимостью существует именно так, как существует; оно не могло бы существовать или быть иным, чем оно есть»³². То же самое – но теперь уже просто вульгарное (ибо атрибуты божества всегда банальны без своего носителя) понимание исторического детерминизма мы находим и у Конта: «Учение, которое удовлетворительно объяснило бы прошлое в целом, неизбежно получило бы, вследствие одного этого достижения, духовную власть над будущим»³³. Из этих методологических позиций – сознательно или нет – исходят все те разновидности описаний «закономерного прогресса» истории, в которых трактовка направленности этого прогресса непосредственно зависит от «точки отсчета», т.е. от места облюбованной историком точки зрения на «линии» воображаемого прогресса.

Изъяны историзма в том виде, в каком он получил широкое распространение, были отмечены и подвергались критике задолго до начала «критического похода» против историзма, предпринятого в последние десятилетия историками и логиками, этнографами и философами, главным образом, связанными с современными вариантами кантианских, позитивистских, экзистенциалистских теорий. На пошлость вульгарного прогрессизма в его буржуазных и мелкобуржуазных разновидностях не раз указывали классики марксизма. Специальное и усиленное внимание к ней было, однако, привлечено именно в период «критического похода».

Социально-политические предпосылки этого явления уже неоднократно получали оценку в советской философско-исторической литературе³⁴, что избавляет нас от необходимости возвращаться к этой, наиболее очевидной, стороне во-

³² И.Г. Фихте. Основные черты современной эпохи. СПб., 1906, стр. 116.

³³ См. «L'histoire et ses méthodes», p. 1477.

³⁴ См. В.Ф. Асмус. Маркс и буржуазный историзм. М.–Л., 1933;

И.С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли (Критические очерки философии истории эпохи империализма). М., 1959.

проса. Важно отметить некоторые моменты логики «критического похода» (или «походов»), поскольку они объясняются логикой самого историзма.

Одной из особенностей «критического похода» был (и есть) намеренный или ненамеренный оттенок «разоблачительства», присущий самой критике историзма XIX в. В этом нет ничего удивительного, причем дело опять-таки не столько в намерениях и интересах «критиков» (от Риккерта до Поппера), сколько в характере критикуемых концепций и в методе подхода к ним. Научные теории, гипотезы, выводы подлежат критике, сомнению, дополнению, пересмотру, опровержению и т.д. – но *не* подлежат разоблачению; этой последней операции просто нет, не должно быть в научном исследовании. Объектом разоблачения может быть лишь *миф, легенда*, т.е. нечто *иллюзорное*, облаченное в священные одежды. (Не факт отсутствия нового платья у короля, но миф о наличии этого платья был развенчан мальчишеским возгласом.) Либеральный прогрессизм подлежал разоблачению и опасался разоблачения, поскольку был трансформацией и продолжением мифологического восприятия истории.

Основным пунктом неокантинской критики историзма (Риккерт) было, как известно, противопоставление двух способов образования понятий – естественнонаучного (натурализма) и культурно-исторического (ценностного). Кантово различие «естественного» порядка природы и «морально-го» порядка человеческой жизни у Риккерта превратилось в различие способов построения знания, причем один и тот же объект (явления общественной жизни) может рассматриваться в разных планах, при помощи «исторических» (индивидуализирующих) и «натуралистических» (генерализирующих) методов в зависимости от того, интересуется ли исследователя неповторимость данного конкретного события или какая-либо общая закономерность (социология при такой трактовке противопоставлялась истории как один из образцов «генерализирующего» подхода). Требуя строгого разгра-

ничения указанных методов, Риккерт резко ополчался против «историзма как мировоззрения»³⁵.

Было бы неверно, однако, утверждать, что неокантианцы отрицали возможность истории как науки. По словам того же Риккерта, именно история является «подлинной наукой о действительности»³⁶, поскольку она и только она имеет дело с реальными, единичными фактами, в то время как «натурализм» оперирует с «общими понятиями». В этом отношении неокантианство резко отличается от «философии жизни», скажем, О. Шпенглера: «Природу должно трактовать научным образом; напротив, история должна быть предметом поэтического творчества»³⁷. То же у Ортега-и-Гассета: «Физико-математический разум, то ли в грубой форме натурализма, то ли в возвышенной форме спиритуализма, не был в состоянии справиться с человеческими проблемами... Человек – не вещь, но драма: его жизнь – чистый и универсальный случай, который случается с каждым из нас и в котором каждый является не чем иным, как случаем»³⁸. В противоположность «философии жизни» у Риккерта есть такое понятие, как «система безусловных ценностей»³⁹, которая призвана служить некой мерой для индивидуальных событий (высшая ценность – свободная, автономная личность).

Категорическое противопоставление генерализации и индивидуализации при описании исторической реальности подвергается критике давно и с разных сторон. (Хотя противопоставление это, как мы уже видели, касается методов познания, а не областей знания, различие характера самих по-

³⁵ Г. Риккерт. *Философия истории*. СПб., 1908, стр. 13.

³⁶ Г. Риккерт. *Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки*. СПб., 1903, стр. 223.

³⁷ О. Spengler. *Der Untergang des Abendlandes*, Bd. I. München, 1923, S. 139.

³⁸ J. Ortega y Gasset. *History as a System*. – In: *Philosophy and History* (ed. by R. Klibansky and H. Paton), p. 302-303.

³⁹ Г. Риккерт. *Философия истории*, стр. 136.

знавательных интересов при изучении общества и природы с неизбежностью приводит к тому, что именно история общества как сфера действия интереса к «индивидуальному» отграничивается от «области науки».)⁴⁰ Наиболее часто повторяемое возражение состоит в том, что в любом конкретно взятом историческом исследовании мы встречаемся и с генерализацией, и с индивидуализацией, и с частными разновидностями (или побочными продуктами) этих процессов, вроде типизации, сравнения и т.д. Эмпирически очевидная такого рода критика нередко выражается в виде общих рекомендаций «конкретно», «творчески», «диалектически» сочетать различные приемы исследования⁴¹. Подобного типа «обобщения» никоим образом не добавляют строгости к наличному арсеналу приемов, используемых историком, и не опровергают пресловутой дилеммы (если историк пользуется разными, даже взаимоисключаемыми методами исследования, это говорит не об их совместимости, но о характере самой исторической дисциплины, в которой различные подходы соединяются при помощи чутья, интуиции, интересов исследования). Видимо, независимо от мотивов и формы ее постановки (Риккертом или Аристотелем) дилемма «истории»

⁴⁰ В дискуссиях вокруг той же дилеммы не раз делались попытки снять ее простым напоминанием о том, что и в физике изучаемые явления индивидуальны (см.: *Ph. Bagby. Culture and History. Berkeley, 1963, p. 52*), и о том, что объекты физического знания тоже «субъективны» (*E. Wind. Some Points of Contact Between History and Natural Science. – In: Philosophy and History (ed. by R. Klibansky and H. Paton), p. 255*). Но этими попытками отвергается не сама Риккертова дилемма науки, но лишь неточная, хотя и распространенная, ее трактовка.

⁴¹ В этом духе построены, кстати, почти все статьи в недавнем сборнике, изданном в США под редакцией Л. Готшока (*Generalization in the Wrihting of History. Ed. by L. Gottschalk. Chicago, 1963*), и в материалах симпозиума почти на ту же тему, проведенного С. Хуком (*Philosophy and History. A Symposium. N. Y., 1963*). Впрочем, почти весь набор приводимых там доводов можно встретить в значительно более старых работах; см., например, *Д.М. Петрушевский. К вопросу о логическом стиле исторической науки. Пг., 1915, стр. 13, 15, 17 и др.*

и «закона» не столь проста, хотя практически она решается ежедневно и ежечасно.

Хорошей моделью интересующей нас ситуации может служить одно рассуждение Л.Н. Толстого: «Доктора ездили к Наташе и отдельно и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек, ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т.д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов»⁴². Этот пример удобен потому, что ситуация медика (при диагнозе), пожалуй, более подобна ситуации историка, чем, скажем, ситуации физика, ботаника или любого другого естествоиспытателя. И, конечно же, это пример, показывающий практическую несостоятельность рассуждения о «неповторимости» исторического события. Успехи медицины говорят о том, что болезни при всем их своеобразии с достаточно большой степенью уверенности могут быть отнесены к каким-то (вовсе не «бесчисленным») вариантам и излечимы при помощи определенного (тоже не бесконечного) набора приемов и средств; именно принципиальная возможность сосчитать эти варианты вызывает к жизни и «машинную диагностику», да и саму медицинскую науку как науку. Но так же поступает практически всякий историк, когда он типизирует и обобщает исторический материал, отвлекаясь от некоторых несущественных индивидуальных под-

⁴² *Л.Н. Толстой*. Война и мир, т. III, ч. 1, гл. XVI. – Собрание сочинений в двадцати томах, т. VI. М., 1962, стр. 78-79.

робностей. Весь вопрос, следовательно, в возможности «отвлекаться» от деталей и сосредоточивать внимание на «существенном».

Еще одной иллюстрацией нашей дилеммы может служить следующая мысль К.А. Тимирязева: «Всякое же возможно полное изучение конкретного явления неизменно приводит к изучению его истории. Для изучения законов равновесия и падения *тел* довольно данных экспериментального метода и вычисления; для объяснения же, почему именно развалился дом на Кузнецком мосту, нужна его история»⁴³.

«Практический» выход и здесь, очевидно, прост: выбор необходимого угла зрения. Теоретическая же проблема состоит в том, чтобы выяснить возможности, условия, «цену» такого выбора. И это опять приводит нас к понятию интересов, определяющих выбор историка.

Марксистская концепция исторического развития как «естественноисторического процесса» (*Маркс*), как процесса, происходящего с «естественноисторической необходимостью», как процесса, который «можно констатировать с естественнонаучной точностью» (*Ленин*), предполагает совершенно сознательное выделение определяющей тенденции этого развития и, соответственно, сознательное отвлечение от несущественного, от конкретных деталей. Именно это дает реальную основу соединению различных исследовательских приемов в марксистской историографии. Конечно, этот механизм действует, поскольку сохраняет свое значение принятая концепция. Что же касается интересов историка, то здесь марксистская позиция, как известно, состоит в анализе их как общественно-необходимых, объективно-обусловленных и т.д. (это, конечно относится и к ценностям). Названная дилемма перестает быть делом произвольного выбора отдельного исследователя, а вместе с этим она перестает

⁴³ К.А. Тимирязев. Исторический метод в биологии. – Сочинения, т. VI. М., 1939, стр. 57.

быть и дилеммой научной мысли. Реально-значимой оказывается проблема множественности путей движения исторического сознания.

Самая резкая критика всего развития этого сознания исходила за последнее время от К. Поппера, известного логика-позитивиста. В своей «Логике исследования», а затем особенно в «Нищете историзма» и «Открытом обществе» критика историзма (или «историцизма», как называет его Поппер) является излюбленным коньком автора. Характеристика взглядов Поппера как антиисторических стала в нашей литературе почти общепринятой. Однако такую характеристику нельзя считать достаточно содержательной: абстрактное противопоставление «историзма» и «антиисторизма», которое нередко встречается у самих участников «критического похода», вряд ли следует принимать за отражение реального положения дел. О значении их разрушительной работы следует судить не столько по явным или тайным намерениям, сколько по результатам, по тем целям, в которые не только метят, но и попадают критические стрелы.

В действительности объект критики Поппера существенно отличается от предполагаемого. Рассчитывая, по-видимому, попасть в «яблочко» историзма, он задевает по существу лишь побочные или пережиточные его трансформации (мифологизм и утопизм в историческом сознании), хотя эти трансформации вполне реальны. Ведь, по Попперу, историзм – это «вера в историческую судьбу»⁴⁴, вера в непреложные законы, однозначно определяющие будущее, это стремление насильственно разрушить существующий порядок во имя некой социальной утопии и т.д. Создав подобную картину историзма (которая, очевидно, не имеет ничего общего с Марксовым пониманием «естественноисторического процесса»), Поппер весьма легко ее разрушает. Для этого ему достаточно упоминания о том, что будущее непредсказуемо, по-

⁴⁴ K.R. Popper. The Poverty of Historicism. London, 1960, p. VII.

скольку непредсказуем рост такой важной составляющей процесса, как наука, что история знает лишь «тенденции», но не нормативные «законы» и т.д. На таких посылах строится и решающий вывод о том, что «нищета историзма... это нищета воображения»⁴⁵.

Альтернативой «историцизму» Поппер считает «частичную социальную инженерию», т.е. сознательное развитие ближайших тенденций общества. Сколь ни резко противостоит эта умеренно-реформистская точка зрения утопической, она тоже предполагает некоторое, пусть недалекое, проектирование будущего. Сама эта идея противоречит тезису Поппера о неприменимости научного метода к процессам, развертывающимся во времени («даже если бы обычные методы физики были применимы к обществу, они никогда не были бы применимы к его наиболее важным чертам: его делению на периоды и появлению нового»⁴⁶). Из этого затруднения Поппер выходит чисто логическим путем. Теории общественного процесса, по его мнению, не могут быть доказаны, но могут быть опровергнуты в сопоставлении с данными («принцип фальсифицируемости»). Отсюда следует, что лишен всякого смысла вопрос о том, откуда взялась та или иная теория, важно лишь, как она проверена⁴⁷. Между тем, неважное или случайное для отдельно взятого исследователя знание об источниках его концепций важно и закономерно для общества, а происхождение такого-то именно комплекса теорий подлежит научному анализу.

Другой аспект воззрений на исторический метод стал предметом резкой критики со стороны функционалистских, а затем и наследующих им структуралистских течений в социологии и этнографии. Помимо целого ряда внешних и случайных для научного исследования мотивов, в этой критике есть и содержательная сторона: речь идет о соотношении

⁴⁵ Там же, стр. 130.

⁴⁶ *K.R. Popper*. *The Poverty of Historicism*. London, 1960, стр. 11.

⁴⁷ См. там же, стр. 135.

структуры и процесса. Если историзм первоначально представил общественную жизнь как ряд процессов, то следующий за этим шаг неизбежно должен был состоять в объяснении «организованности» этих процессов, их взаимообусловленности в рамках определенных систем отношений. Серьезнейшее методологическое значение провозглашенного функционализмом принципа соответствия общественных явлений определенным потребностям⁴⁸ состоит в том, что он перенес центр внимания с «исторических рядов» на «исторические системы» (точнее – на системность общества, рассматриваемого вне истории).

Как мы видим, длящиеся уже несколько десятилетий дискуссии вокруг проблемы историзма практически не изменяют самого характера исторического исследования. Оно остается столь же комплексным, методологически столь же многоголиким, как пятьдесят или сто лет назад (повторяем: мы говорим о структуре, а не об общефилософской основе исследования). Методологический спор не изменил историографии, но и не исчерпал себя, поскольку сохранились породившие его реальные противоречия исторического метода.

Число и структура в истории: новые соблазны или новые возможности?

После того как выявился ряд реальных и глубоких противоречий, разъедающих исторический метод в тех формах, в которых он получил широкое распространение, реакция на эти противоречия приобрела немаловажное значение в определении дальнейших судеб историзма.

Реакция эта может быть троякой.

⁴⁸ Например, «постулат социологии» у Э. Дюркгейма: «Ни один человеческий институт не мог быть построен на ошибке и вымысле... Если бы он не основывался на самой природе вещей, он встретил бы в них сопротивление, которого он не мог бы преодолеть» (*E. Durkheim. Les forms élémentaires de la vie religieuse. Paris, 1912, p. 3*).

Первая, наиболее банальная ее форма – и, к сожалению, чаще всего дающая о себе знать – состоит в том, чтобы попросту игнорировать проблему, продолжая катить тяжело груженую колесницу исторического знания по проторенным, сложившимся (и слежавшимся) колеям. Престиж традиции, закреплённой различными институциональными формами, создает и долго еще будет создавать здесь иллюзию стабильности и стройности, скрывая методологические «стыки» и коллизии, позволяя относить теоретическую дискуссию куда-то в дальний угол или даже в какую-то пристройку здания, занимаемого историческими дисциплинами. Конечно, такая позиция не всегда означает отрицание определенной методологической ориентации в историческом эмпиризме: отрицается лишь необходимость осмысления давно действующей и привычной ориентации, сложившейся, по существу дела, стихийно. Поскольку, как мы уже видели, в самом фундаменте этой привычности заложена немалая доза трансформированного тем или иным образом мифологизма, утопизма, финализма, – сохраняется и почва для противоборства «мифа» и «разоблачения» как двух полярных точек привычного вращения всего колеса исторического сознания. Такой подход не выводит историческое сознание из донаучных рамок, и в данном случае нам важно было обратить на него внимание лишь как на показатель силы традиции в наш век бурной ломки идеологических традиций.

Второй тип реакции на противоречия историзма – это уже знакомая нам позиция Шпенглера и Ортега-и-Гассета: раз навсегда признать невозможность научного подхода к истории человечества, сознательно отдав последнюю иррациональному мифу. Позиция эта довольно четкая и ссылающаяся в свое оправдание на то, что практически все историческое знание таково. Именно в силу сознательной иррациональности такой точки зрения какая-либо логическая ее критика затруднена, и надежным ответом может быть лишь доказательство от противного: доказательство плодотворности

иною, рационального и научного, подхода к исторической действительности.

Это и составляет реальное содержание *третьего*, наиболее интересного для нас, типа ответов на поставленные ранее вопросы – поиск более эффективного и более современного научного подхода к истории.

Современный авторитет «точных» методов и сфер научного исследования (т.е. тех, которые основаны на количественном анализе и четкой логической структуре вывода), естественно, приводит к вопросу о том, какое значение для исторического познания могут иметь эти методы.

Собственно говоря, проникновение в исторические дисциплины математических и статистических методов – не событие наших дней, оно началось еще в первой половине прошлого столетия. При этом уже тогда дело не ограничивалось просто увеличением цифровых данных в описаниях общественного бытия соответствующей эпохи, но речь шла и о попытках использовать в исследовании новый для своего времени подход к самой характеристике этого бытия. Так, появление термодинамики дало стимул для рассмотрения общества как статистического агрегата, характеризуемого определенными показателями.

Классическим примером может служить трактовка уголовной статистики Ж. Пэше, а потом Л.А. Кетле, Г. Боклем и др. Из книги Пэше К. Маркс выписал следующее положение: «Ежегодное число самоубийств, которое является у нас до известной степени нормальным и периодическим, следует считать симптомом плохой организации нашего общества, так как во время застоя промышленности и ее кризисов, в эпоху дороговизны средств к существованию и в суровые зимы симптом этот более бросается в глаза и принимает эпидемический характер. Проституция и кражи растут тогда в такой же пропорции»⁴⁹. Исходя из аналогичных данных о по-

⁴⁹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III. М. –Л., 1929, стр. 674.

стоянстве числа преступлений, Бокль (следуя взглядам Кетле) делал вывод о том, что «самоубийство есть продукт известного состояния всего общества», «проступки людей происходят не столько от пороков отдельных виновников, сколько от состояния общества, в которое эти люди бывают заброшены»⁵⁰.

Очевидно, что по мере развития социальной (в частности демографической) статистики появились возможности для выделения новых и новых, надежно измеренных суммарных показателей «состояния общества» (национальный доход на душу населения, потребление культурных благ и т.д.). Существенная ограниченность подобных методов состоит в том, что они не дают надежной основы для сопоставления различных типов общества, поскольку изменение учитываемого показателя является плодом совокупного действия разнородных факторов; не приближают они и к выяснению механизма изменения «общественных состояний».

Влияние естественных наук на социальные не кончилось. «Могущественный ток к обществоведению от естествознания шел, как известно, не только в эпоху Петти, но и в эпоху Маркса. Этот ток не менее, если не более, могущественным остался и для XX века», – писал В.И. Ленин⁵¹. Вопрос в том, какой характер носит в современных условиях влияние на историческое исследование «естественнонаучных методов» (точнее: методов, разработанных в русле естествознания и «точных» математических дисциплин).

Прежде всего, конечно, бросаются в глаза такие важные новшества, как применение современных физических методов (радиоуглеродного и др.) для датировки памятников, растущее использование электронно-вычислительных машин

⁵⁰ Бокль. История цивилизации в Англии, т. I, ч. I. Пер. А.Н. Буйницкого и Ф.Н. Ненарокова. Изд. 2-е. СПб., 1863, стр. 30, 33.

⁵¹ В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 41.

для анализа массовых данных, для расшифровки текстов⁵².

Уже сейчас применение новых методов и новой техники анализа массовых данных позволило ввести в научный оборот новые материалы (анкеты и др.), более строго обосновать определенные теоретические положения, гипотезы. Возможности дальнейшего движения в этих направлениях, по видимому, неисчерпаемы.

Более сложен, однако, вопрос о методологическом значении самого факта все более интенсивного проникновения точных методов в историческое знание. Ведь само по себе дополнительное количество данных или ряд более строго обоснованных выводов непосредственно не изменяет характера исторического исследования и мышления исследователя. Никакое количество статистических данных, сведенных в ряды, таблицы и графики, не делает еще точной концепцию исследователя (хотя иногда и создает иллюзию обоснованности концепции). Поскольку речь идет только о технических приемах, прав Коллингвуд: «Статистические исследования для историка – хороший слуга, но плохой хозяин. Он ничего не выгадает от статистических обобщений, если он не выделит мысли, стоящей за фактами, которые им обобщаются»⁵³. И даже такой поборник математизации социологии, как П. Лазарсфельд, признает, что «статистические результаты могут быть получены только в ответ на предыдущие рассуждения»⁵⁴.

Значение точных данных социальной статистики или результатов математической обработки массовых источников в историческом знании зависит от сознательно или бессознательно принятой или усвоенной исследователем схемы, концепции. Совершенно аналогичная ситуация складывается при применении математических методов в биологии, в эко-

⁵² См. В.А. Устинов. Применение вычислительных машин в исторической науке. М., 1964.

⁵³ R.G. Collingwood. The Idea of History. Oxford, 1946, p. 228.

⁵⁴ См. «Generalization in the Wrioughting of History», p. 165-166.

номике, в лингвистике. Использование теории информации при изучении процессов жизни, например, осложняется отсутствием научной характеристики содержания информационных процессов в организмах.

Но можно ли считать, что формирование «исходной» исследовательской схемы – т.е. выделения предмета исследования – неизбежно должно оставаться полусознанной, традиционной, интуитивной предпосылкой исторического изучения? Не поддается ли этот процесс научному анализу – и воздействию современных достижений научной мысли? Очевидно, что здесь – центральное звено всей интересующей нас проблемы.

И здесь уже возникает вопрос о воздействии не отдельных достижений, приемов, техники, но самого «духа» научного мышления нашего века на историческое знание. (Кстати, применение статистических методов для изучения исторического материала – это не только способ обнаружить или пополнить некоторые новые знания, но и особый способ изображения общественных отношений как статистических закономерностей.)

Одной из важнейших составляющих этого «духа» является *категория структуры*, широко используемая в самых различных областях знания.

Видимо, нельзя считать структурализм особым и целостным направлением научной мысли; этим термином, однако, широко пользуются для обозначения ряда более или менее сходных тенденций в подходе к рассмотрению социальных объектов⁵⁵. Общими их чертами являются стремление выделить методологические принципы изучения системных объ-

⁵⁵ Иногда, правда, под структурой понимается теоретическая модель соответствующих отношений. Специальная конференция о значении термина «структура», проводившаяся под эгидой ЮНЕСКО, не выявила какой-либо общепринятой концепции на этот счет (см. «Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et sociales». Ed. par R. Bastide. `s-Gravenhage, 1962).

ектов, поставив в связи с этим рассмотрение взаимоотношений элементов системы на первое место по сравнению с их историей и придавая отношениям между элементами («структуре») большее значение, чем самим элементам. В числе теоретических предпосылок структурализма обычно фигурируют методы современной физики, кибернетики, теории информации, а также структурной лингвистики и ее производных.

Категория структуры, поиски путей анализа структурных явлений – одно из наиболее ярких выражений духа современного естествознания. «Физика сегодня занимается больше энергией, чем материей, больше формой, чем субстанцией, больше организацией, чем веществом... Весь мир опыта начинает выглядеть как иерархия систем; и главная задача науки состоит в том, чтобы формулировать законы, при которых эти системы сохраняются и взаимодействуют»⁵⁶.

Сама по себе постановка задачи исследования системных объектов как таковых не нова: теоретики лингвистического и антропологического структурализма (Л. Блумфилд, К. Леви-Строс) нередко ссылаются на «Капитал» как образец анализа системы, на анализ структур родственных отношений у Л. Моргана и Ф. Энгельса⁵⁷.

Эти ссылки, конечно, не случайны. Материалистическая концепция общественной жизни впервые дала образец научного подхода к структуре общественного организма, прежде всего экономического «скелета».

Новым и специфическим для современного структурализма как тенденции (а не определенной школы) являются попытки создать абстрактную методологию изучения систем безотносительно к их вещественной, эмпирической природе.

⁵⁶ G. Vickers. Control, Stability and Choice. – In: «General Systems. Yearbook of the Society for General Systems Research», vol. II. Ann Arbor (Michigan), 1957, p. 1.

⁵⁷ См. L. Sebag. Marxisme et structuralisme. Paris, 1964, а также C. Lévi-Strauss. Anthropologie structural. Paris, 1958.

С этим связано, в частности, открытое размежевание с традиционными формами историзма.

В общественных дисциплинах наибольшее развитие структурные методы получили в лингвистике, поэтому целесообразно оценить их значение именно в этой области.

Исходным пунктом развития лингвистического структурализма послужило сделанное Ф. Соссюром в его «Курсе общей лингвистики» разграничение двух способов рассмотрения языка: синхронного и диахронного, причем решающим выступал первый. Провозглашение примата синхронии связывалось с представлением о языке как целостной функционирующей системе. Ф. Соссюр так пояснял свою концепцию: «Чтобы описать шахматную позицию, совершенно незачем вспоминать, что случилось на доске десять секунд тому назад»⁵⁸. В дальнейшем теоретики различных школ структурной лингвистики сформулировали принципы исследования языка как системы абстрактных отношений. «Чувственное содержание фонологических элементов менее существенно, чем их взаимные отношения в рамках данной системы», — гласил один из основных тезисов Пражского лингвистического кружка⁵⁹. Не отрицая исторического рассмотрения языка, структуралисты требовали судить о его исторических изменениях как об изменениях в рамках целостной системы.

В современных методологических дискуссиях вокруг структурной лингвистики существенное место заняли проблемы соотношения формальных и «живых» языков в плане их системности и в связи с этим значения различий между синхронией и диахронией. Никакой реальный, исторически сложившийся язык не является замкнутой системой взаимобусловленных элементов; представление о языковой системе есть методологическая абстракция. «Неисторичность (синхронность) принадлежит к *сущности описания*, а не к

⁵⁸ См. «Новое в лингвистике», вып. III. М., 1963, стр. 148.

⁵⁹ См. «Sens et usages du terme structure...», p. 34.

сущности языка... Описание, история и теория не находятся в антитезе и не противоречат друг другу; они взаимодополняют друг друга и составляют единую науку»⁶⁰. Отсюда – поставленная, но не решенная проблема перехода от описания структур к их историческому рассмотрению. «Основная проблема современности – это проблема включения структур в процессы»⁶¹.

С самого начала своего развития лингвистический структурализм выявил определенные методологические требования к иным, внеязыковым социальным явлениям. История этого течения связана с влиянием социологии Дюркгейма на лингвистическую теорию Соссюра, а последней – на социологические идеи Мосса, преемника Дюркгейма. Теоретики Копенгагенского лингвистического кружка Л. Ельмслев и Х. Ульдалль писали об отставании гуманитарных наук, которые не решаются перейти от рассмотрения «вещей» к свойственному точным дисциплинам анализу отношений и функций в их абстрактном виде⁶².

Эту установку стремится реализовать в последние годы Клод Леви-Строс, крупный французский этнограф, увлеченный сторонник применения «точной» методологии в социальных дисциплинах. Леви-Строс не склонен категорически отграничивать точные и естественные науки от социальных и гуманитарных, но в то же время полагает, что научен по своему духу только подход точных и естественных наук, на который должны опираться гуманитарные науки⁶³. Гуманитарные дисциплины при этом используют в первую очередь не количественные, а структурные методы естествознания. Примером служит структурная лингвистика, призванная «сыграть по отношению к социальным наукам ту же нова-

⁶⁰ Э. Косериу. Синхрония, диахрония и история. – «Новое в лингвистике», вып. III, стр. 154-155.

⁶¹ Там же, стр. 341.

⁶² См. «Основные направления структурализма». М., 1964, стр. 131.

⁶³ См. «International Social Sciences Journal», 1964, vol. XVI, № 4, p. 550.

торскую роль, какую, например, ядерная физика сыграла для всех точных наук»⁶⁴.

В своих работах Леви-Строс выделяет два момента, которыми, по его мнению, обусловлено использование точных, структурных методов в социальных науках. Во-первых, это выделение «бессознательной» стороны общественной жизни, которым, по мнению автора, подход этнологии отличается от подхода истории к одному и тому же объекту⁶⁵. «Необходимо и достаточно принимать во внимание бессознательную структуру, составляющую первооснову всякого института или всякого обычая, чтобы получить принцип интерпретации, действительный для других явлений, – конечно, при условии дальнейшего анализа»⁶⁶. Фактически речь идет о том объективном подходе, который Маркс называл естественноисторическим и который предполагает рассмотрение объективно-закономерных процессов. Не случайна поэтому и ссылка Леви-Строса на Маркса⁶⁷. Правда, ограничение сферы истории рассмотрением «бессознательной» стороны общественных процессов, как у Коллингвуда, нельзя признать плодотворным. Сознательные и целенаправленные действия также могут и должны рассматриваться в их закономерности, под углом зрения их места в социальном процессе, их структуры и т.д. Второе существенное условие развития структурных принципов в обществоведении – это необходимость создания теоретических структурных моделей. «Основной принцип заключается в том, что понятие социальной структуры соответствует не какой-либо эмпирической реальности, но лишь сконструированным по ней моделям»⁶⁸. Структуры должны быть «сводимы к моделям, формальные особенности

⁶⁴ C. Lévi-Strauss. *Anthropologie structural*, p. 39.

⁶⁵ См. там же, стр. 25.

⁶⁶ Там же, стр. 28.

⁶⁷ Там же, стр. 31.

⁶⁸ Там же, стр. 305.

которых были бы сравнимы независимо от элементов, их составляющих»⁶⁹.

Таковы исходные требования структурного исследования по Леви-Стросу. В общественной жизни Леви-Строс различает три сферы, три типа «бессознательных» процессов, к изучению которых применимы методы структурализма: 1) система родства («циркуляция женщин в социальной группе»), 2) экономика («циркуляция благ»), 3) язык («циркуляция сообщений»)⁷⁰. Собственные интересы автора и, по его мнению, этнологии вообще сосредоточены на системах первого типа.

Одним из частных приложений концепции Леви-Строса является анализ им мифологических систем. Им выдвинуто положение о том, что значение мифа «содержится не в изолированных элементах, но только в способе, каким эти элементы соединяются»; отсюда выводится исследовательская задача – выделить в каждом мифологическом тексте его дифференциальные элементы и сопоставить их структуру⁷¹. Весьма спорные в некоторых отношениях, например в отношении критериев выделения «элементов», эти конструкции требуют отдельного рассмотрения. Отметим лишь, что они развивают тенденции формального анализа мифологического «языка», предложенного ранее феноменологическим религиоведением (М. Элиаде и другие) и отвлекающегося от проблемы социального, «коммуникативного» значения этого языка⁷².

Вполне закономерно, что взгляды Леви-Строса и его сто-

⁶⁹ Там же, стр. 311.

⁷⁰ См. там же, стр. 68, 98, 326.

⁷¹ См. там же, стр. 227. См. также: *C. Lévi-Strauss. The Structural Study of Myth.* – In: *Myth. A Symposium.* Ed. by T. A. Sebeok. Bloomington, 1958; *он же. Four Winnebago Myths: a Structural Sketch.* – In: *Culture in History. Essays in Honor of Paul Radin.* Ed. by S. Diamond. N. Y., 1960.

⁷² См. также *L. Sebag. Le myth: code et message.* – «Les temps modernes», Paris, 1965, № 226.

ронников – точнее, предлагаемые ими методы рассмотрения социальных явлений – вызывают многочисленные споры. При их оценке представляется важным учитывать, что концепция Леви-Строса может рассматриваться как один из вариантов трактовки структурализма применительно к социальному исследованию, притом это как раз метод, оставляющий в стороне собственно исторические задачи. Любопытная деталь: рассматривая структуру отношений в наиболее «примитивных» общественных коллективах, исследователь обнаруживает в них не предполагаемую «простоту» и «целесообразность», но многочисленные наслоения прошлых эпох⁷³.

В советской научной литературе за последнее время разрабатывался ряд структурных (или близких к ним) методов анализа внелингвистических явлений. Следует упомянуть анализ мифологических по характеру систем А.М. Пятигорским, а также работы В.В. Иванова и В.Н. Топорова и других авторов⁷⁴.

До последнего времени попытки вывести структурализм за рамки формальной лингвистики встречали оживленные, а порой и резкие споры как в зарубежной, так и в советской научной литературе. Некоторые моменты дискуссии мы затронем ниже, а пока ограничимся констатацией одного положения: дилемма «истории» и «структуры» и проблема «включения» структур в «процессы» остаются в силе, пока и поскольку не решена проблема структурного понимания самих исторических процессов.

Но как можно представить себе специфически историческую задачу как задачу структурного исследования?

⁷³ См. *C. Lévi-Strauss. Anthropologie structurale.*

⁷⁴ См.: *А.М. Пятигорский. Материалы по истории индийской философии.* М., 1962; *В.В. Иванов и В.Н. Топоров. Славянские языковые моделирующие семиотические системы.* М., 1965; Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962; Структурно-типологические исследования. М., 1962.

Особенностью исторического исследования является рассмотрение своего объекта (системного объекта) изменяющимся во времени. При этом рассмотрению подлежит не сам по себе ряд последовательных временных событий объекта, но необратимая обусловленность этих состояний, «механизм» перехода от одного к другому. Необратимость исторического процесса, обуславливающая индивидуальность каждого его состояния, и дает повод для представлений о невозможности подлинно научного познания исторических фактов (как мы уже видели, подобный довод используется К. Поппером). По остроумному замечанию Герцена, история – всегда импровизация. Тем не менее в самом «механизме» исторического процесса – как, скажем, в механизме цепной реакции! – видимо, можно выделить определенные структурные компоненты. Рассмотрим два типа структур, с которыми имеет дело исследование исторического процесса: структур функционирования и структур развития.

О функционировании мы можем говорить применительно к любой системе, последовательность различных состояний которой служит реализацией какой-то единой «программы». Здесь имеет место периодическая повторяемость, цикличность определенных фаз процесса. Очевидные «естественные» примеры дает функционирование биологических организмов, деятельность системы общественного производства и воспроизводства материальных благ, равно как системы воспитания и т.д. Теоретическое изображение подобных процессов приводит к моделям «циклического» (т.е. повторяющего определенные фазы) изменения во времени.

Для развивающихся же структур характерна необратимость временных изменений, в ходе которых происходит как бы кумуляция последствий; здесь каждое последующее состояние возникает как бы на основе «суммирования» предыдущих. Так мы рассматриваем эволюцию различных природных объектов, линии общественного прогресса. Теоретическое изображение процессов развития связано с представле-

нием о квазинаправленных «линиях» (или «пучках линий»), обозначающих траекторию соответствующих объектов.

Очевидно, что различие между функционированием и развитием не является абсолютным. В любом реальном процессе оба типа структур как бы наложены друг на друга: любой организм или, скажем, любая циклически работающая машина находится и в необратимом потоке времени. С другой стороны, многие (хотя и не любые) изменения могут рассматриваться в рамках различных систем и как циклические, и как необратимые. Так, последовательность стадий в жизни отдельного организма является необратимым процессом, но в системе существования данного органического вида – это момент ее функционирования (и в то же время момент общего необратимого течения органической эволюции).

Вопрос о том, в какой мере тот или иной общественный процесс может быть рассмотрен в рамках какой-либо функционирующей системы, имеет серьезнейшее значение для изучения истории общества (точнее, он приобрел такое значение после крушения донаучных представлений, сводившихся к тому, что либо общество рассматривалось как стационарное, неизменное, либо общественным изменениям приписывалась телеологическая направленность). Марксистская концепция общественно-экономических формаций предполагает, что отдельные общественные изменения должны рассматриваться как в составе наличного функционирующего социального организма, так и в необратимом процессе общественного развития.

Внимание исторических и философско-исторических исследований неизменно привлекает проблема «повторяемости» в общественном развитии. Переход от накопления фактов «сходства» тех или иных черт организации и деятельности удаленных во времени и пространстве общественных систем к их объяснению сопряжен со многими трудностями методологического порядка. Поскольку мы не можем говорить в каком-либо данном конкретном случае о последова-

тельности фазовых состояний в рамках какой-то функционирующей системы, постольку здесь нет подлинной периодичности, нет определенного цикла или циклов. Оказались бесплодными многочисленные, не прекращающиеся до сих пор попытки свести наблюдаемые повторения исторических структур к функционированию какого-то целостного, охватывающего все формы человеческих обществ «социального организма» (или, в иной трактовке, к влиянию внешних циклических процессов, например фаз солнечной активности, повторяющихся каждые 11-12 лет). Это не значит, что «повторения» можно объяснить случайными совпадениями, подобно тому как случайны осмысленные сочетания отдельных беспорядочно высыпанных букв. Здесь действуют определенные – структурные – закономерности (имеющие свои аналогии и в органическом мире – в частности в тех «гомологических рядах» эволюции, которые были описаны Н.И. Вавиловым).

При всей ограниченности возможных типов, устойчивые социальные структуры с теми или иными модификациями появляются на различных уровнях общественного развития и в совершенно не связанных друг с другом культурных районах. Это находит свое выражение в «повторяемости» аналогичных типов государственной организации, художественного или мифологического мышления и т.д. – при совершенно различных уровнях экономического и культурного развития. По-видимому, можно говорить и об определенных, измеряемых не общей меркой, но «собственным» временем данной системы, вариантах последовательности таких типов. Смена форм правления в античных общественных образованиях или последовательное чередование различных форм собственности на землю и господствующих религиозных форм и т.д., очевидно, не могут считаться процессами функционирования, поскольку здесь нет единого организма с «заданной» программой его развития. Это квазициклические процессы, где каждая фаза обусловлена предыдущей и наличными ус-

ловиями, но где последовательность фаз представляет не линию, но периодическую структуру «менделеевского» типа.

Так, например, события, связанные с фашистским нашествием на европейскую цивилизацию, поставили перед наукой ряд проблем, которые все еще требуют решения. Те формы национализма, расизма и социально-культурных отношений, которые несло с собой это нашествие, во многом аналогичны соответствующим явлениям средневековья и варварства, но в то же время не могут быть объяснены как непосредственное продолжение каких-то линий развития, дотянувшихся до наших дней (очевидно, что объяснение международных и классовых обстоятельств, благоприятствовавших появлению на свет определенного явления, не равносильно объяснению самого явления). Можно предположить, что здесь действует некоторая структурная закономерность, охватывающая однотипные в каких-то чертах организации явления различных «этажей» исторического развития – это сравнимо с повторяемостью свойств элементов менделеевской системы. Нетрудно отметить также структурные аналогии между общественными явлениями, относящимися к различным фазам исторического развития (подъему и упадку, конкистадорству и деколонизации и т.д.). Подобно тому как повторяемость свойств химических элементов нашла свое объяснение в сложности их внутренней многоуровневой структуры, периодичность «исторических элементов», возможно, будет объяснена благодаря анализу «многоэтажности» человеческой культуры, этой генетической системы общества.

В историческом процессе развития общества, как и в процессах функционирования отдельных социальных систем, происходит непрерывная смена «субстрата» (т.е. человеческого материала – людей, поколений) при сохранении и развитии его «формы» (способа деятельности). Если в органической природе преобладает преемственность структур обеспечивается благодаря функционированию особых (генетических) систем в

организме, то в общественном процессе функции хранителя и передатчика «наследственной» информации выполняют специфические социальные образования. Вся совокупность исторически развивающихся форм хранения знаний, умений, традиций, обычаев, норм поведения людей может быть охарактеризована как «культурная система», «культура». Различные типы исторического развития связаны с различными «механизмами» хранения и переработки социальной информации, с различиями по способу действия и по информационному объему отдельных компонентов культуры. Структурный анализ «информационной» стороны общественных процессов, видимо, позволит выявить некоторые их особенности, ранее ускользавшие от внимания исследователей.

Довольно распространенные попытки противопоставить структурализм историзму в целом, независимо от того, делаются ли такие попытки с целью возвышения или дезавуирования структурализма, оказываются безуспешными, поскольку сам механизм исторического движения может стать предметом структурного анализа.

Не лишним кажется подчеркнуть, что при всем возможном их развитии структурные методы рассмотрения исторических явлений и процессов никогда не в состоянии будут заменить или вытеснить ни «живое» описание конкретных эпох и действий, ни другие формы их теоретического анализа. Структурализм сам столь же односторонен, узок, неполон, как, в принципе, и любой иной научный метод (общие ссылки на «ограниченность» какого-либо из них поэтому просто лишены смысла; универсальные панацеи – достояние мифологического, а не научного мышления). Противопоставление структурных или иных методов анализа отдельных моментов исторической действительности – их описанию в традиционных формах историографии или их статистическому моделированию столь же бессодержательны, как, например, противопоставление химического анализа цветочного запаха наслаждению этим последним или экономике тор-

говли цветами. Можно, правда, указать немало случаев, когда отдельные люди или профессиональные группы увлекаются одним из «аспектов запаха», недооценивая или попросту игнорируя остальные; аналогичные явления (структурная аналогия) мы встретим, конечно, и в отношении к историческому сознанию. Но увлечения наукой, даже если они социально обусловлены и неизбежны, – не входят в состав науки...

Нет поэтому (и не только поэтому: эмпирический опыт свидетельствует о тех же закономерностях) оснований ожидать превращения всей совокупности форм исторического сознания в формы движения строгого и абстрактного научного мышления. Но есть все основания добиваться:

во-первых, как можно более строгого анализа самого пути движения исторического знания;

во-вторых, повышения удельного веса научных продуктов среди отходящих на второй план мифологических и тому подобных форм исторического сознания.

*Философские проблемы исторической науки. М., Наука.
1969*

О ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ (проблемы категориального аппарата)

Важнейшая особенность социокультурной системы состоит в ее способности воспроизводить свою организацию (в широком смысле слова – структуру) во времени, т.е. при постоянной смене своих человеческих и «вещественных» компонентов, в условиях бесконечного – и необходимого – разнообразия характеристик этих компонентов, включая сюда и переменные характеристики соответствующей среды. Такое самовоспроизводство может трактоваться как наиболее общий результат системы: «Если рассматривать буржуазное общество в его целом, то в качестве конечного результата общественного процесса производства всегда выступает само общество, т.е. сам человек в его общественных отношениях... Сам непосредственный процесс производства выступает здесь только как момент» [1, т. 46, ч. II, с. 222]. Инструментами модельного представления этого целого как репродуктивной системы (РС) выступают категории «памяти», «времени», механизма временной организации системы. Задача настоящей статьи и заключается в обсуждении данного категориального аппарата. При этом наиболее важным представляется рассмотрение интерпретации, использования и взаимоотношений названных категорий.

Временная организация системы предполагает существование особых механизмов фиксации, хранения, трансформации и реализации характеристик «неактуальных», прошлых состояний системы. (Этим временная организация отличается от простой «длительности» во времени, свойственной неживым системам.) В рамках интересующей нас модели РС такие функции могут быть обнаружены на двух предельных уровнях организации системы – социетальном и личностном.

Лишь на этих уровнях имеется специализированный механизм «долговременной» памяти, обеспечивающий преемственность структуры во времени. (В истории социального знания такая структура обычно рассматривалась как альтернативно «стянутая» к одному из полюсов, чем и задавались, соответственно методологические позиции социологизма и социального психологизма.) На первом из них функции памяти институционализированы в надорганизменных структурах культуры, на втором – материализованы в психофизиологических механизмах памяти. Сложное взаимовлияние этих полярных организационных уровней [см.: 2, 3] приводит к тому, что наиболее устойчивым социокультурным институтом оказывается личность общественного человека. Поэтому модельное уподобление механизмов социальной и индивидуальной памяти правомерно лишь в эксплицитно ограниченных рамках.

Наличие состояния, обладающей некоторым механизмом памяти – безотносительно к природе последнего – не может полностью определяться непосредственно предшествующим состоянием (т.е. система не является «марковской»). Действие механизма памяти вводит более сложный тип детерминизма, в котором актуальное состояние зависит от некоторых моментов различных «прошлых» состояний, а также от их проекций в будущее. Это значит, что организованная во времени система должна иметь минимум две шкалы времени: для измерения временной последовательности состояний («длительности») и для временных структур, фиксируемых памятью.

Механизм функционирования и воспроизводства РС может быть представлен в модели, обладающей двумя типами программ: 1 – воспроизводства данного образца своей организации во времени и 2 – достижения определенного эффекта в условиях многообразия вариантов деятельности (в «пространстве выбора стратегии»). Такое различие имеет прин-

ципиальное значение, поскольку носит чисто аналитический характер.

1. Первый тип программ ориентирован на поддержание определенного типа образца, фиксирующего узловые точки социальной и личностной структуры. Его функция – элиминирование тех значений этих переменных, которые выходят за допустимые пределы (последние могут задаваться различным образом и с разной строгостью). В частности, соответствие социальных и личностных характеристик может означать лишь наличие более или менее строго определенной области возможных значений этих структур, т.е. значений их «несоответствий». В основе механизма поддержания образца лежит фиксация некоторого эталона (обычно идеально-типического прошлого состояния), с которым сравниваются актуальные значения заданных переменных. В этом смысле программа ориентирована в «прошлое».

2. Программа выбора стратегии (оптимизации) организуется определенным критерием эффективности, значения которого могут обеспечивать либо достижение определенного уровня требуемого показателя, либо максимизацию его, либо, наконец, достижение максимального эффекта при минимальных затратах соответствующих ресурсов (первый из этих вариантов можно назвать «логическим», второй – «техническим», третий – «экономическим»). Оптимизационная программа должна предусматривать одновременно целый набор «пространственно» заданных средств (стратегий), реализация которых ведет к достижению некоторой цели (состояния, определяемого заданным критерием оптимальности). Программа такого типа ориентирована в направлении возможного, полностью не определенного будущего. Наконец, оптимизационная программа способна к совершенствованию, т.е. к выбору все более эффективных стратегий («самообучающаяся система»).

В результате системного анализа биосистем некоторые авторы пришли к выводу о необходимости учитывать в мо-

делях двуплановость организаций таких систем. В частности, принято различать два типа памяти – «постоянную» и «оперативную». По В.Л. Геодакяну, функции памяти первого типа состоят в сохранении «совершенства» организации; на различных уровнях биосистем они обеспечиваются ДНК, клеточным ядром, особями женского пола. Функциями оперативной памяти являются взаимодействия со средой, порождающие прогрессивные изменения; носители этих функций – белок, цитоплазма, особи мужского пола [7, с. 375; 8].

В социокультурных системах функции, которые, с некоторым приближением, можно считать аналогичными, реализуются в механизмах иной природы. В рамках рассматриваемой модели РС программу сохранения структуры во времени можно обозначить как программу культуры, а программу оптимизации – как программу опыта. В первом случае это – долговременная, накопленная, обобщенная память, фиксирующая принципиальные рамки существования системы. Ее содержание составляют нормативно-ценностные стандарты, значения, оценки деятельности агентов РС. Во втором случае действует оперативная, «живая», т.е. кратковременная и подвижная память; ее содержание – эффективные условия и средства реализации определенных целевых действий. (Критерии оптимизации, в конечном счете, принадлежат программе культуры и, соответственно, долговременной памяти.)

Обе программы по самому своему определению взаимообусловлены: нормативные значения «программы культуры» определяют целевые функции «программы опыта», оперативная подвижность стратегий (средств) обеспечивает сохранение стабильности целей и т.д. Более сложна проблема переходов от одного типа программы к другому. При наиболее общем аналитическом разграничении программ, процесс их трансформации остается за рамками модели. Чтобы анализировать такие, например, процедуры, как «превращение» нормативных значений в инструментальные средства или,

наоборот, средств в самоцель, требуется, прежде всего, представить интересующие нас типы программ в развернутом, расчлененном виде.

Для представления процессов такого рода (будем называть их «нормативными трансформациями») оказывается непригодной концепция «культурной программы» как нерасчлененно-целостного образования. Необходимо, например, найти адекватные формы модельного выражения «внутрикультурных» оппозиций центральных и периферийных структур, в том числе субкультурных и контркультурных, институциональных и личностных, динамичных и стабильных и т.п.

С точки зрения недостаточно строгого, но широко принятого в социологической и культурно-антропологической литературе определения культуры (см., например, [5]), выделенные нами типы программ оказываются сходными с представлениями нормативно-ценностного и инструментального уровней системы культуры. Теоретически (и исторически) может быть выделен еще один, «санкционирующий» уровень, эксплицитно представленный, например, в мифологическом сознании. Не рассматривая специфики культурных значений для каждого из выделенных таким образом уровней, правомерно подчеркнуть, что нормативно-ценностные структуры занимают центральное положение в модели культуры.

Широко известные концепции «двух культур», техницистской и гуманитарной [9], «суперкультуры» и «традиции» [13] и подобных им могут быть с достаточным приближением представлены с помощью исследуемого в этой статье категориального аппарата, поскольку речь, по сути дела, идет о соотношении «программы культуры» и «программы опыта». Для традиционного «гуманитарного» сознания характерна тенденция рассматривать сферу инструментального опыта через призму устойчивых («извечных») нормативно-ценностных категорий культуры. Для «техницистского» же подхода

свойственна их инструменталистская переоценка и тенденция их сведения к «техническим» средствам решения социальных и культурных проблем. Традиция противопоставления этих подходов восходит, по-видимому, еще к Платону, различавшему «мудрость» и «ловкость» («технэ») [6, т. 3, ч. II, с. 160, 484].

В рамках обсуждаемой концептуальной модели изменения в инструментальной сфере «опыта» и в нормативно-ценностном «ядре» культуры целесообразно рассматривать отдельно. Реконструкция или переоценка культурной парадигмы (системы культурных значений) не является непосредственным результатом изменений инструментально-технических структур (по аналогии с отсутствием наследования приобретенных признаков в биосистемах). В процессе деятельности РС «наследование» происходит в каждой программе автономно. Например, инструментализация определенных элементов «ядерной» (нормативно-ценностной) структуры не может быть прямым результатом развития «техники» (в самом широком смысле), это – продукт собственно «ядерных» процессов. Иными словами, дело – не в росте техники, а в изменении места инструментальных программ в человеческой жизни.

Хотя особенности программ РС были охарактеризованы нами с точки зрения специфики соответствующих механизмов памяти, их, однако, не следует представлять в виде некоторых информационных емкостей, хранилищ («контейнеров») данных. Эффективная модель РС должна учитывать и такие атрибуты памяти, как избирательность (и в отношении фиксации, и в отношении выдачи соответствующей информации) и активность (нормативное значение информации). Уже само «хранение» информации в долговременной и оперативной памяти РС предполагает процессы ее преобразования (перегруппировки, переоценки) под воздействием взаимовлияния различных слоев и структур памяти, проекции актуального опыта и т.д.

Особая проблема – представление памяти РС на различных уровнях сознания. Перефразируя известный тезис Гейара де Шардена: «Животное знает, а человек знает, что он знает» [10, с. 165], можно сказать, что человек как родовое существо «помнит, что он помнит» некоторую существенную часть своей культуры и своего опыта. Правда, помнит не все и не в одинаковой мере и форме. Предъявление человеку (обществу) его «собственной памяти» – важная функция человеческого сознания при всем многообразии его структур и уровней. Различные типы РС отличаются, в частности, масштабами и механизмами осуществления этой процедуры.

Не только РС, но и ее память, а также осознание этой памяти имеют временную организацию, протяженность во времени, приуроченность событий к определенным моментам и т.д., которые специально фиксируются. Этим и обусловлены значимость и многозначность категорий времени в моделях РС. (Нас интересуют в данном случае не философский анализ времени и не психологическое исследование его восприятия индивидом, а лишь возможности модельного представления временных характеристик, «работающих» в структуре РС.)

На основании историко-культурных исследований, относящихся к данной проблеме [3, 14, 15], можно допустить существование оппозиции «естественных» и «искусственных» (механических) мер времени. К первым относятся и временные характеристики жизненного цикла (поколения, периоды и т.п.), и так или иначе (биологически, психологически, социально) интериоризованные параметры внешних, космических ритмов (год, сезон, месяц, сутки). Своего рода «сверхъестественной» оппозицией «естественных» мер времени выступают временные параметры мифологических событий. В рамках РС, с точки зрения принятого нами модельного представления, можно выделить, например, «функциональные», «мифологические» и «технические» значения временных параметров. Шкала «функционального» времени ох-

ватывает меры жизнедеятельности социокультурных систем, коллективного и индивидуального социального действия. Масштаб времени здесь измеряется рамками сознательной памяти и внимания, в количественном выражении им соответствует диапазон от «поколенческих» ритмов [12, с. 6 и след.] до ритма отдельного поведенческого акта. «Мифологическая» шкала является своего рода проекцией параметров функционального времени на плоскость соответствующего типа сознания. В нем получают право на существование запретные в «обычных» условиях временные структуры событий – сроки жизни, периоды и т.п. (ср. древнеиндийские ведические представления о «мегамерах» мировых циклов, превосходящих на много порядков не только «обыденные» параметры времени, но и любые астрономические масштабы хронологии, известные современной науке [14, с. 80]). В «технических» шкалах времени соотносятся различные по периодичности специально сконструированные или специально рассматриваемые системы (механические, субатомные и т.п.). Размерности всех выше перечисленных шкал могут, конечно, перекрываться, однако в основе функционального времени, видимо, могут лежать лишь меры, связанные с осознанным человеческим действием («мера человека» у греков). По отношению к ним и древнеиндийские «мегамеры», и аналитические «микромеры» (об их средневековой трактовке см.: [2, с. 72] имеют лишь вспомогательное значение.

В основе любой шкалы времени лежит представление о некоторой ритмической структуре (циклическом процессе), которую можно считать элементарной «единицей» временной организованности. Она может трактоваться в исторически известных моделях мира и как предельная «единица», т.е. относимая ко всему организованному «космосу» (в первичном значении этой категории). Всякая линейная последовательность состояний не только измеряется циклическими единицами, но и может рассматриваться как вырожденный

случай цикла с бесконечным или с неопределенно большим периодом. В эмпирическом исследовании процессов различной природы обнаруживается сочетание циклических и векторных изменений (как бы «колесо», катящееся по «векторному» пути). В качестве примера можно привести производственные циклы в рамках экономического роста, биологические, психологические, социальные ритмы на фоне линейно-ориентированных процессов энергетической и генетической энтропии. Следует учесть, что мировоззренческие и гносеологические дискуссии относительно соотношения циклизма и линейности в историософии и исторической методологии остаются за рамками настоящей работы. В данном случае рассматриваются лишь проблемы модельного представления некоторых аспектов временных структур.

Временная организация целенаправленного действия в виде операции обычно представляется как линейная последовательность состояний, обладающая определенной направленностью. Отсчет времени ведется от конечной точки, т.е. модель организована финалистски. Ей симметрична известная в историческом знании модель каузально-детерминистского объяснения, в которой отсчет времени начинается с некоторого «первоначального» состояния, от «нуля» (модель имеет квазифиналистский характер). С функциями и престижем рационального целенаправленного действия (операции) в общественной жизни явно связан акцент на линейные модели в историософии, характерный для нового времени. Экстраполяция модели рационально-целевого действия на макроисторические масштабы имеет место, например, в философских моделях секуляризованной теодицеи у Гегеля и в позитивистских концепциях.

Однако, поскольку рациональное действие всегда предполагает реализацию определенной программы, никакая линейная модель не может быть достаточной для его описания. Для фиксации такой программы («памяти») необходимы другая шкала времени (другая «линия» временной последо-

вательности) и некоторый механизм перехода к ней (т.е. еще одна и притом иначе направленная «линия» движения во времени). Кроме того, линейная модель времени не адекватна и для представления каузального детерминизма. Так, например, историками констатируется принципиальная разновременность изменений в различных сферах общественной жизни (см., например, в [11, с. 127] суждения Ф. Броделя о сочетании «быстрой» и «медленной» истории – правда, последняя понимается автором лишь как история экономики).

Множественность временных шкал является непременным условием существования РС, воспроизводящей свою организованность во времени, а следовательно, в той или иной форме программирующей свои последующие состояния. (Конечно, применительно к соответствующей РС эмпирической реальности, говорить о «программировании» можно лишь в самом общем и вероятностном смысле – как об определении возможного диапазона благоприятных условий или допустимых изменений.) Сказанное относится к идеализированной РС, т.е. в данном случае не учитывается культурная и социальная гетерогенность системы. Введение в модель соответствующих характеристик означало бы дальнейшее «умножение» линий временной организации. Связь между гетерогенностью социальной структуры и множественностью «социальных времен» подробно рассматривалась Ж. Гурвичем [16]; здесь важно подчеркнуть, что «многолинейность» (и «многоцикличность») социального времени свойственна даже самой гомогенной модели социокультурной системы. Поскольку мы имеем дело с организованной во времени системой, ее «собственное время» – это система времен.

«Пространственные» представления о времени, в которых как бы сосуществуют рядом различные временные линии и шкалы, попали в сферу внимания исследователей архаичных общественных форм [3, с. 90]. В свете вышеизложенного можно полагать, что пространственная модель системы времен характерна и для более развитых общественно-культур-

ных структур (разумеется, речь идет о разных «пространствах времен»).

Следует подчеркнуть, что изложенные в статье соображения не относятся к физическому времени, необратимостью которого связаны материальные субстраты любых социальных, культурных, психологических процессов. Обсуждаемые временные характеристики можно отнести только к «фазовому» времени различных структур РС (соотнесение различных фаз циклических процессов) и к «субъективному», точнее «социально-культурному» времени. Речь идет о временных параметрах, воспринимаемых в общественном сознании и фиксируемых в культурных значениях. В таком и только таком контексте правомерно говорить о неоднородности, неоднозначности и разнонаправленности шкал и мер времени. Например, значимые для определенной культурной структуры или для социального субъекта события нельзя рассматривать на модели равномерной шкалы: для «социально-культурного» восприятия при равенстве соответствующих «внешних» (скажем, астрономических или др.) мер одни события оказываются ближе, другие – дальше, одни промежутки времени длиннее, другие – короче. В системе социокультурного времени события и интервалы оцениваются по их отношению к особым, «отмеченным» точкам, которые, если дать несколько расширительное толкование термину, употребленному К. Ясперсом, можно назвать «осевыми». В рамках историсофских моделей такими свойствами симметричного упорядочения временных характеристик наделяются определенные «поворотные» эпохи или события [17]. В рационально-целевых же программах осевыми являются «конечные» точки. Более широкое значение имеет постоянно присутствующая в культуре «ось актуальности», которая задает временную организацию системы вокруг «современной» ситуации, на которую проецируются события значимого прошлого и возможного будущего. (По выражению Ясперса, события оцениваются по их отношению к тому, что

имеет значение «здесь и теперь».)

Различные модели РС характеризуются свойственными им способами актуализации памяти, т.е. «предъявления» определенным образом трансформированного прошлого настоящему, действующей социокультурной системе. Например, в наиболее архаичных структурах общества прошлое, фиксируемое в структуре определенных эпох – героической, мифологической и т.п. – или в образах непосредственных предков и представленное соответствующими персонажами, существует «рядом» с актуальной повседневностью [3; 14, с. 112]. Однако в данном случае вряд ли имеет место «тождественность времен», поскольку и в самых архаических культурных пластах в той или иной форме обозначен рубеж, отделяющий актуализированную память от актуальности. Скажем, призрак отца Гамлета, принадлежащий в своей архетипической основе именно к таким пластам, присутствует и в настоящем, но именно в качестве призрака.

В более сложных общественных структурах культурно отмеченные эпохи, события, персонажи прошлого «присутствуют» в современности в качестве нормативных символов (поучительных, вдохновляющих и т.п.). Можно представить ситуацию, когда такое символическое значение утрачено, и связь «времен» (поколений, эпох) сводится к сохранению и передаче практического опыта, например научно организованного и фиксируемого в соответствующих объективированных текстах. В такой гипотетической (видимо, не имеющей аналогии в реальных прообразах РС) ситуации происходит редуцирование «программы культуры» к «программе опыта» и соответствующая трансформация системы временных шкал.

Лишь представляя временную организацию РС как сложную, многоуровневую систему, можно отобразить в концептуальной модели ту структуру, которая создает возможность фиксировать определенные пройденные состояния как прошлые («привязанные» к соответствующим осям отсчета) и

как актуально-значимые. Такая структура позволяет обеспечить активное и многократное обращение к культурному содержанию прошлого, интерпретацию и переоценку этого содержания, а тем самым его постоянную актуализацию. Рамки такого процесса, по сути дела, определяют границы существования той временной структуры, которая может быть охарактеризована как историческая система.

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 46, ч. II.
2. Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977.
3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972.
4. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М.: Прогресс, 1977.
5. Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван: АН АрмССР, 1973.
6. Платон. Законы. – Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1972, т. 3, ч. II.
7. Развитие концепции структурных уровней в биологии. М.: Наука, 1972.
8. Системные исследования: Ежегодник, 1976. М.: Наука, 1976.
9. Сноу Ч.П. Две культуры. М.: Прогресс, 1972.
10. Тейар де Шарден П. Феномен человека. М.: Прогресс, 1965.
11. Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977.
12. Шталь И.В. «Одиссея» – героическая поэма странствий. М.: Наука, 1978.
13. Boulding K.E. The Impact of the Social Sciences. New Brunswick (N.J.): Rutgers, 1966.
14. Cultures and Time. P.: UNESCO Press, 1976.
15. The Future of Time. N.Y.: Doubleday, 1971.

16. Gurvitch G. Les cadres sociaux de la connaissance. P.: PUF, 1966.
17. Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zurich: Artemis-Verl., 1949.

*Системные исследования: методологические проблемы.
Ежегодник. 1979 – М. Наука.
1980*

КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Экономическое действие как специфический идеальный тип социального поведения характеризуют предельная рациональность, целенаправленность, оптимизация; необходимое условие его реализации составляет количественная определенность (квантификация) действия, благодаря которой становятся возможными соизмерение и эквивалентный обмен результатов действия (см. [1]). С экономической, «внутренней» точки зрения такое действие беспредпосылочно, то есть «естественно» по отношению к человеческой природе или социальной системе¹. Это значит, что его нормативно-ценностные параметры остаются вне поля внимания. Между тем для социологического анализа – предполагая последний достаточно зрелым методологически – рассмотрение таких предпосылок (рамок, контекста) представляет специфическую и постоянную проблему. Экспликация социально-культурного контекста такой предельной формы социального поведения как экономическая позволяет представить социальное содержание различных типов человеческих действий и общественных структур, значение эквивалентно-обменных отношений и соответствующих мотиваций².

Уместно отметить, что подобный анализ может приобретать актуальность и вне методологических координат – например, в связи с исследованием тенденций «экономизации»

¹ С этим связана живучесть концепций «экономического человека» и «экономического общества» (см. [2]); для преодоления методологической модели Номо оsonomicus (см. [4]) требуется аналитически представить ее культурно-исторические предпосылки и пределы.

² Старые и новые дискуссии о значении обменных отношений в обществе (см. [1] и [6]), по существу, рассматривают «экономическую» модель общества.

и «деэкономизации» социальных отношений, мотиваций, интересов. Здесь еще раз выясняется, что проблематизация «очевидности» является не только научно-методологической процедурой, но и, так сказать, процедурой исторической, которая способна задавать весьма демонстративные разрезы и разломы общественных структур.

Собственно, именно с такой исторической декомпозицией связано и само превращение культуры в специальный предмет исследовательского интереса. Такое превращение происходило в основном во второй половине прошлого века. Предпосылками формирования культурологии были переоценки линейно-исторических («историцистских», в поперовской терминологии) и натуралистских концепций социального детерминизма, выявление многообразия типов рационального поведения, уникальной роли неповторимых культурных импульсов в выходе «экономического человека» на авансцену европейской истории и т.д. Эти ситуации находят свое современное – да и необозримо-перспективное – продолжение в круге проблем и противоречий модернизационных процессов (к ним, в частности, относятся и проблемы распространения культурных образцов). С исторически-вынужденным признанием множественности пространственно-временных координат социальной реальности (см. [3]) связано и допущение возможности аналитического выделения культурных (нормативно-ценностных и символических) параметров как своего рода исходных ориентиров, как бы «неба неподвижных звезд» по отношению к социальным действиям и структурам.

Определенную роль в этом процессе сыграло и развитие исследований в области культурной антропологии, хотя предметом этой этнографической дисциплины обычно являлся нерасчлененный социокультурный комплекс традиционных общественных структур.

Сравнительно недавнее превращение культурологической проблематики и соответствующей терминологии в сущест-

венный элемент научно-престижных ориентаций способствовало сохранению в нашей специальной литературе некоторых архаичных трактовок методологического статуса культуры. В некоторых из них последняя представлена в виде своего рода резидуальной (остаточной) категории, обозначающей весь «нерастворимый» в ходе собственно-социологического исследования остаток социальной деятельности – нормативно-ценностные посылки, интересы, потребности, традиции и пр. как чисто внешние рамки соответствующих действий.

В других случаях культурные параметры приобретают значение автономной надсоциальной регулятивной системы общества – которая уподобляется генетической системе не только функционально, но чуть ли не структурно, так что культура предстает в качестве некой сверхсоциальной системы (см. [5]).

Если первая из названных трактовок может оправдываться самой ограниченностью исследовательской задачи и соответствующего инструментария исследования, то вторую следует считать теоретически неадекватной. По сути дела, перенесение на культурные характеристики деятельности признаков организованной системы – невольный продукт реификации (овеществления) аналитических инструментов исследования. Ни эмпирические, ни методологические соображения не позволяют приписать онтологический статус реальной, то есть функционирующей, «работающей» системы чему-либо иному, кроме организмов и организаций («организованностей») различного порядка, обладающих определенными механизмами функциональной связи, реальными носителями таких связей и т.д. Культуру же методологически правильнее было бы представлять не как функционально-организованный механизм, а как систему значений, приобретающих действенность и смысл (организованность) только в процессе их использования. В этом плане культура аналогична языку. То представление о культуре, которое специ-

фично для социологического (социокультурного) анализа, предполагает упорядоченность ее компонентов как синтагматику и парадигматику определенных значений, указывающих потенциальные рамки и контексты социальной деятельности. Культура в такой трактовке – одна из аналитически выделяемых проекций общества («подсистема» культуры в терминологии Т. Парсонса), которая «живет» только в социальных действиях и структурах различного порядка.

Из этих соображений чисто теоретического типа следует, что семантический потенциал («поле») определенной культуры в принципе должен быть существенно большим, чем его функционирующая часть. Он включает не только явные, но и латентные, не только функционально-полезные, но и дисфункциональные структуры, а также структуры, различающиеся временными параметрами своего действия, и т.д. Это можно объяснить тем, что потенциальный арсенал культурных значений и структур формируется исторически, временные параметры таких структур по определению несводимы к рамкам социально-организованных систем. В самой же культурной подсистеме собственные нормативные регуляторы отсутствуют. Отсюда неизбежность противоречивого многообразия культурных структур, способных оказывать воздействие на социально-организованные системы деятельности. Отсюда также и неизбежность активного выбора действующим субъектом (индивидуальным или организованным) культурных ориентиров собственного поведения из набора потенциальных альтернатив.

Допущение такого выбора влечет за собой переоценку столь широко распространенных концептов как «культурные императивы», «потребности» и др., имеющих прямое отношение к экономическому действию. Сейчас уже как будто не требует доказательств тезис о том, что категории ориентации экономического действия (потребности) носят не природный, а социальный и культурный характер, и даже те из них, которые связаны с удовлетворением физиологических нужд ор-

ганизма, опосредованы культурными формами. Сам по себе этот тезис еще не позволяет избавиться от натуралистского рассмотрения потребностей как жестко заданных внешних рамок социального действия, необходимых предпосылок функционирования соответствующих организованных систем. Но принимая во внимание представленные выше соображения о неприменимости к культурным феноменам признаков функциональности и об избыточности культурного поля, следовало бы, видимо, характеризовать культурно-заданные ориентиры действия как «сверхнеобходимые», точнее, не связанные критериями функциональной необходимости. Отсюда следует, что экономическое действие нужно рассматривать в контексте интересов, запросов, стремлений соответствующих агентов действия. В «сверхнеобходимом» разнообразии культурно-значимых ориентаций и мотиваций действия можно усматривать реальный смысл активности культуры.

Для представления структуры культурного поля экономического действия обратимся к категориям 1) уровня структуры, 2) глубины структуры, 3) предметности структуры.

К проблематике уровня культуры можно отнести интерпретацию широко используемого расчленения инструментальной, нормативной и символической ее структур. Каждая из них соотносится с определенным уровнем организации действия: инструментальная – с единичным агентом (субъектом) социального действия, нормативная – с социальной организацией действия, символическая – с системой культурных значений, не связанных непосредственно рамками функционально-организованных систем. Определенным уровням культурных структур соответствуют свои временные параметры. Для первых двух из перечисленных уровней это, очевидно, время социального действия и время функционального цикла организованной системы. Сложнее определять рамки и меры «культурного» времени; ограничимся предположением о том, что последние носят сверхфункцио-

нальный, исторический характер. Конечно, такие соотнесения в значительной мере условны, практически любой тип социального действия связан с переходами между различными уровнями культурных структур.

Наиболее очевидной представляется связь экономического действия с инструментальным уровнем культурных значений, а именно с расчленением деятельности по оси «средства-цель» и закреплении соответствующих ориентаций (целенаправленность, инструментальность) на личностном, групповом и институциональном уровнях социальной организации. Только в инструментальном контексте такие компоненты культуры как орудия, продукты, знаки, да и сами интересы выступают средствами достижения определенных целей (реализации целевых функций). Вне его те же феномены могут оказаться компонентами действий иного типа – например, ритуальных, символических (престижное потребление), а само приобретение определенных благ – элементом традиционных, принудительных и пр. отношений неэкономического порядка. (Здесь и далее используются те характеристики экономического действия как такового, которые названы в начале статьи). Формирование личностных и групповых предпосылок «инструментализации» общественных структур (то есть формирование «экономического человека» и «экономических групп» как идеализированных исторических категорий) – первая и наиболее изученная глава в истории экономического действия. Отсутствие или «сжатость» такого исторического раздела, как известно, обуславливает многие особенности современных процессов модернизации и «экономизации» различных социальных систем.

Инструментальная ориентация действия получила свое организационное закрепление в виде системы социально-признанных механизмов оценки и регуляции соответствующих видов деятельности. Если ограничиться культурными аспектами социальной организации инструментального действия, то к ним следует отнести правовые, нравственные,

традиционализируемые формы признания прерогатив такого действия, его носителей и механизмов (в частности, эквивалентно-обменных). Наиболее известный исторический пример в этом плане – социальное и моральное санкционирование кредитно-денежных регуляторов в период формирования европейского капитализма. При всей своей видимой приземленности этот процесс был связан с глубоким разломом всех уровней существовавших культурных структур. Известно, сколь велико значение этого разлома (исторической декомпозиции) в становлении категорий и рамок (в частности, иллюзий) социально-экономического знания.

Наиболее сложной представляется роль символических уровней культурных структур в инструментализации действия. Однако кажущееся очевидным представление об удаленности символических форм от практического, а тем более экономического действия неизбежно вводит в заблуждение. Сам механизм действия символических структур в любой области не является «наглядным», очевидным: такие механизмы всегда действуют за «сценой» социального действия предъявляя его участникам соответствующие сверхзадачи и сверхсанкции.

Для пояснения этого соображения придется определить некоторые черты категории символа и символически-ориентированного действия, – в той мере, в какой они могут использоваться в социокультурном исследовании. В интересующем нас плане символ представляет собой специфический знак – а именно знак перехода к иерархически иной сфере деятельности, иной системе отсчета (как бы отсылку к «правилам игры» другого порядка). В генетическом разрезе символ – обозначение перехода от светского к священному порядку, от посюстороннего к потустороннему и т.п. В моноцентрических ритуально-мифологических комплексах характерная символика приобретает черты уникальности («главный символ» в соответствии с главной мифологемой). Социокультурное исследование должно учитывать многооб-

разие потенциальных для определенного культурного поля и реально действующих в обществе символических переходов и структур. Все они так или иначе связаны с обращением к системе культурных значений иерархически иного порядка (например, более высокого), к языку более высокой степени обобщения (метаязыку).

Можно показать, что любой акт социального общения и социального обмена – если брать такие действия в их полных, развернутых формах – является символически опосредованным. Часто используемая в эмпирических исследованиях схема коммуникативных процессов фиксирует лишь их прагматическую, «социотехническую» проекцию (скажем, воздействие коммуникатора на реципиента), не принимая во внимание механизмы работы языка коммуникации. (Здесь точнее было бы говорить о множественности языков; в простейшем случае в коммуникативном процессе действуют язык интенций коммуникатора, язык экспектаций реципиента и обобщенный язык канала коммуникации). Коммуникативные языки, как показано, в частности, в работах Ю.М. Лотмана, коммуникативные языки по меньшей мере двух-слойны: один слой составляет «лингвистический» язык, второй – нормативный язык (система правил и нормативных оценок) культуры. В качестве языков культуры выступают как утилитарно-ориентированные «открытые», то есть обязательные для всех, знаковые системы (например, этические), так и замкнутые – в некотором смысле «игровые» – структуры (например, эстетические). В последнем случае объект общения принадлежит особой, игровой структуре, отделенной от внешнего («неигрового») мира символическим переходом³.

Развернутая схема социальной коммуникации дает видимому принципиальный образец социального обмена.

³ «Поэзия не обобщение, а приобщение. Приобщение к Идее, Красоте, Истине. В этом разница между письмом и поэмой». – А. Далчев. Избранное. София, «София-пресс», 1980, с. 116.

Пояснить это положение удобнее всего на структуре экономического действия в его сопоставлении с полными формами социального действия. Сопоставим экономический обмен с коммуникативным актом: в обеих ситуациях налицо участники (агенты действия), средства, «язык» (система правил) и процедура обмена. Принципиальная разница в том, что экономический обмен носит «вещественный» характер, поскольку его предмет физически или юридически переходит из рук в руки (как отмечалось в [1]), если этот предмет носит характер знания, «ноу-хау» и т.п., то экономическому обмену подлежит исключительное право, привилегия, лицензия на использование данной информации), в то время как коммуникативный обмен означает распространение некоторой информации (знаний, оценок) среди более широкого круга ее носителей. Далее, экономический обмен является эквивалентным, то есть требует приравнивания обмениваемых предметов или услуг при помощи универсального средства обмена. Такое средство (деньги) – не просто знак, но экономический эквивалент товара, поэтому обмен Т–Д–Т происходит в одной плоскости, как будто не требуя никаких символических переходов. Коммуникативный же обмен (его, по видимому, можно определять как информационный) по самой своей природе не допускает общей меры и эквивалентности. Этого положения не может изменить изобретение каких-либо способов измерения информационных потоков в рамках теории информации. Символические посредники в коммуникативном обмене обозначают содержание соответствующих сообщений, но не служат их эквивалентами.

Следует оговориться, что такое противопоставление двух типов обмена заведомо упрощает их реальные соотношения. Экономический обмен, как и любой социальный процесс, происходит в поле культурных значений, в котором культурно определенными и социально санкционированными являются и позиции агентов действия и сами средства его измерения. Денежный знак выступает в качестве экономического

эквивалента постольку, поскольку он социально санкционирован в качестве такового. Иначе говоря, здесь требуется особый символический язык признания эквивалентной меры. Следовательно, символический переход в неявном виде происходит и в процессе эквивалентного экономического обмена. Это и позволяет рассматривать экономическое действие как предельный, вырожденный тип социального действия, а не нечто ему противоположное.

Обратимся теперь к иным, более развернутым формам социального обмена, которые не носят экономического характера. Легко усмотреть прямую связь между коммуникативными обменов и такими процессами как «обмен приветствиями», «обмен подарками» и т.п. Это сугубо символические процедуры, содержанием которых является демонстрация (распространение) некоторых обобщенных ценностей типа доверия, признания и пр., которые могут носить и негативные значения. Это относится к обмену послами (и даже «обмену территориями») в рамках дипломатических процедур, поскольку действительное значение здесь также имеет символическая сторона процесса. Аналогична и природа таких рассматриваемых в социологии процедур как обмен «поддержки» на «вознаграждение» или «услуги» на «доверие». Так как соотносятся разнопорядковые действия, то средством (посредником) соотнесения выступает не эквивалент, а символический переход. Более того, нередко за внешностью экономически-эквивалентного обмена типа «отличие – поощрение» скрывается характерная символическая процедура. По всей видимости именно коммуникативные, символические обмены прежде всего присущи процессам социального взаимодействия, эквивалентный же обмен представляет предельную, вырожденную форму социального обмена. Это означает, в частности, что эгалитаристские структуры в различных сферах социальной жизни уместно рассматривать не как отношения взаимозэквивалентного обмена, а как возможность соотнесения значений разнопорядковых действий на

некоторой особой культурной плоскости, в системе генерализованных значений.

Отмеченная ограниченность рамок экономических обменов в обществе означает и ограниченность «экономических» моделей общественных структур, то есть моделей поведения «экономического человека» в «экономической среде», – даже для того относительно короткого исторически отрезка, когда такие модели демонстративно господствуют в социально-научном сознании.

Остановимся теперь вкратце на такой культурной характеристике экономического действия, как его глубина во времени. О ней недостаточно судить лишь по длительности отдельного акта. Всякое социальное действие в определенном смысле как бы дисконтировано во времени. Частично этот феномен подлежит непосредственному экономическому учету – поскольку речь идет о периоде ожидания, доверия, расчета в кредитно-денежных, страховых, плановых отношениях. Социальное действие может рассматриваться в параметрах циклического времени, поскольку речь идет о функционировании (воспроизводстве) данной социальной или экономической системы, и в «открытой» временной перспективе, если во внимание принимается экономический и социальный рост, то есть вложение средств и сил в последующие циклы и поколения. В последней ситуации на сцену выступают специфически культурные временные параметры, так как ни внешние, ни внутренние циклические показатели не являются адекватными. Таковыми могут быть, например, соотношения «современного», «прошлого» и «архаичного» (то есть как бы бесконечно удаленного) периодов.

Конкретно-хронологические рамки таких периодов исторически различны, что нас в данном случае не интересует. Важно то, что принципиальное разграничение названных периодов задается сугубо семантически, культурным содержанием соответствующих оценок. Скажем, категория «современности» определяет обычно рамки социальной организа-

ции и возможности циклического функционирования действия (воспроизводство социально-экономической системы). Соотношение «прошлого» и «современного» задается прогрессистскими или романтическими (в зависимости от направления отсчета) оценками социальных изменений. Символическое (за невозможностью иного) соотнесение каждого из эмпирически данных периодов (прошлого и настоящего) с архаическим фоном определяет некоторую абсолютизированную меру отсчета, а на деле – символический механизм сверхсанкционирования определенных оценок и ожиданий.

До недавнего времени преимущественные интересы культурологии сосредоточивались на анализе исторических структур культуры, на дисконтировании параметров культурного времени в историческое прошлое. Это соответствовало общим ориентациям культурного сознания, причем утопическое сознание не составляло исключения (его ориентиром всегда оставалось некое условно-прошлое состояние). Современные перспективистские тенденции общественного и научного мышления обуславливают поиски перспективных координат культурных ориентаций, выносящих точки отсчета и оценки за пределы современности. Такие поиски заслуживают специального социокультурного анализа.

В заключение несколько замечаний о проблематике «предметности» культуры и связанных с ней методологических коллизиях. В аналитических концепциях культуры (культурной подсистемы общества) компонентами последней выступают не сами по себе предметы или действия, но значения таковых. Носителями культурных значений оказываются самые разнообразные, практически любые структуры и процессы, имеющие место в социальной реальности. Положение не изменяется вследствие универсальной тенденции дифференциации социальных функций, приводящей к институционализации некоторых видов «культурогенной» деятельности и механизмов ее санкционирования. Отсюда вытекает, что «археологическое» по происхождению противопос-

тавление «вещественной» и «духовной» культуры для социологического исследования культуры утрачивает смысл и его живучесть можно объяснить лишь неразвитостью необходимых методологических инструментов исследования. Одним из возможных способов теоретического расчленения такого предмета, как культура может быть использованное выше соотнесение инструментальной, нормативной и символической структур; для конкретных исследовательских целей они должны быть детально дифференцированы.

Другая сложность связана с тем, что в экономических дисциплинах, в народнохозяйственном учете принято относить к культуре – по понятной аналогии с другими отраслями общественного производства – производство и потребление определенных предметов и услуг (искусства, воспитания и пр.). Такая позиция неизбежно заимствуется социологическим исследованием на ранних, методологически несамостоятельных стадиях его развития. В результате некоторые виды культурного обслуживания, в основном, массового и институционализированного, рассматривается в терминологии «производства культуры», «культурной деятельности» и т.п. На более зрелых этапах развития социологического анализа культуры возникает проблема разработки адекватных методологических средств изучения собственно культурных структур и процессов. В некоторых областях здесь имеются обнадеживающие результаты – например, в теоретической социологии литературы (см. [7]).

Литература

1. *Левада Ю.А.* Социальные рамки экономического действия. – В сб.: Мотивация экономической деятельности. М.: ВНИИСИ, 1980.
2. *Левада Ю.А.* Экономическая антропология К. Маркса. – В сб.: Экономика и общество. М.: ВНИИСИ, 1983.

3. *Левада Ю.А.* О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата). – В сб.: Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник, 1979. М.: Наука, 1980.
4. *Мамардашвили М.К.* Наука и культура. – В сб.: Методологические проблемы историко-научных исследований. М.: Наука, 1982.
5. *Маркарян Э.С.* Культура как система. – Вопросы философии. 1984, № 1.
6. *Наумова Н.Ф.* О социологическом и экономическом подходах к трудовой мотивации. – В сб.: Мотивация экономической деятельности. М.: ВНИИСИ, 1980.
7. Проблемы социологии литературы за рубежом. Сб. рефератов и обзоров. ИНИОН – ГБЛ. М.: 1983.
8. *Weber Max.* Die protestantische Ethik. I. Guterston, 1981.

*Сборник трудов ВНИИ системных исследований,
выпуск 4, 1984 г.*

ИГРОВЫЕ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМАХ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Современное внимание к игровым формам деятельности в рамках культурологии, истории, социологии, психологии объясняется, с одной стороны, растущим пониманием роли таких форм в общественной жизни, а с другой стороны – развитием представлений о принципиальной сложности самого социального действия. Традиционные для социологии и психологии «элементаристские» модели действия, ориентированные на анализ простейших его единиц, неизбежно оставляют вне поля зрения сложные структуры человеческой деятельности (либо представляют их в качестве аномальных, маргинальных феноменов, отрицательно определяемых как мнимые, иррациональные и т.п.). Системно-методологические установки, как кажется, позволяют и в данном случае ввести в качестве особого предмета теоретического исследования заведомо сложное, расчлененное, разноплановое образование, обозначаемое в дальнейшем как игровая структура. При таком подходе элементарные формы действия (например, рациональность, целеполагание) предстают в качестве аналитически выделяемых компонентов или «срезов» того или иного сложного действия, в частности, игрового.

Игровая структура – это идеально-типическая категория, служащая для описания абстрактной игры как социокультурного типа действия, безотносительно к отдельным видам игры, их обособленности и признанности. С помощью такой категории представляется возможным выделять игровые аспекты разнородных действий.

Поиски определения

Для характеристики игровой структуры в интересующем нас плане представляется необходимым и достаточным выделить два взаимосвязанных момента: во-первых, наличие замкнутой структуры действия; во-вторых, его обособленность по отношению к социально-культурной среде. Первый определяет игру в плане социального действия, второй – в плане его культурного значения. Многообразии признаков игрового действия, отмечаемых в различных исследованиях, в принципе может быть сведено к этим двум.

Замкнутость или закрытость структуры игрового действия означает, что его нормативные рамки и целевые ориентации (как внешние, так и внутренние, психологические), соответствующие мотивы и интересы ничем, кроме самой игры, не определяются. Разумеется, здесь нужно различать рамки отдельного игрового акта (например, соревнования или зрелища) и рамки игровой культуры, в которой фиксируются соответствующие нормативно-ценностные механизмы и критерии. Игровое действие всегда так или иначе институционализировано в определенных системах культурных значений, причем последние могут носить как универсальный, так и локальный характер (неофициальный, субкультурный, контркультурный и т.д.). Степень институциональной заданности, запрограммированности игрового действия существенно выше, чем например, в «практических» (инструментальных) формах поведения. Замкнутость игрового действия позволяет трактовать его как «исполнение» некоторого текста (роли), причем степени свободы такого действия сводятся к независимости от внешнего (неигрового) принуждения, в частности в отношении выбора варианта и трактовки текста. Как известно, непреложность системы игровых правил, обязанностей, долгов не санкционируется никакими нормативными системами или авторитетами, кроме принадлежащих самой игровой сфере (культуре).

Романтическое представление об игре как деятельности спонтанной, как некоего аналога «игры» стихийных сил (Шиллер, в особенности XV письмо об эстетическом воспитании, см.: [18, с. 137]; сравни также [20, 22]) – эстетическая конструкция, которую нельзя принимать даже за идеализированное описание игровых действий. Что же касается произвольных реакций, движений, замыкаемых (приводящих к удовлетворению, облегчению и пр.) на психофизиологическом уровне, то они к социальным игровым действиям не относятся (да и спонтанными являются только по отношению к внеорганизменным детерминантам). Детская игра начинается с правил, т.е. с самоорганизованности действия [3, с. 67], как и любая недетская игра вплоть до экономической [10, с. 35].

Негативным определением той же особенности игрового действия – замкнутости – является его неутилитарность. Игровое действие как таковое (игровая структура) лишено какой-либо внешней полезности, ориентации на внешнюю цель или подчинения внешней (по отношению к своей культурной сфере) норме. В этом смысле игра принципиально непродуктивна и тем отлична от функциональных или инструментальных форм социальной деятельности. Конечно, любые реальные игры, любые эмпирические реализации игровых структур многими нитями связаны с решением некоторых практических задач – с экономическими, педагогическими, карьерными, престижными интересами и т.д.; рамки социальной и культурной обособленности игры здесь неизбежно оказываются размытыми, релятивизированными.

За последние десятилетия получили бурное развитие (в основном теоретическое) «прикладные игры» – экспериментальные, деловые, учебные, военные и пр., они заведомо конструируются для исследовательских или практических т.е. неигровых, целей (см.: [28]). Но такие конструкции или программы по существу не являются играми в интересующем нас социокультурном смысле этого слова: это логиче-

ские или математические модели некоторых элементов игровых структур.

Если обратиться к столь важной для психологии и педагогики детской игре, то о ее непосредственной полезности можно, по-видимому, говорить только применительно к процессу онтогенеза и развертывания соответствующих ему биологических и социальных программ. Подражательность по отношению к конкретным формам или наглядным образцам «взрослого» поведения – социально-бытового или инструментального – далеко еще не означает приобщения к трудовым навыкам или социальным нормам. Практическое обучение ребенка происходит параллельно с игрой, иногда – с ее помощью (хотя некоторые культуры как будто вообще обходятся без детских игр). Сама же по себе игра «в лошадку» с помощью палочки столь же мало обучает практике верховой езды, как игра «в дочки-матери» – выполнению родительских обязанностей и т.п. Реальное освоение соответствующих правил и навыков происходит лет через 10 – 15 после увлечения имитирующими их играми, т.е. спустя целые «эпохи» первичной социализации. Напрашивается вывод, что детская игра, при всех своих специфических чертах, непосредственно не более функциональна, чем игра недетская: игровая структура замкнута в себе и регулируется нормами соответствующей игровой культуры: лишь в макромасштабе соотношения с иными формами деятельности и иными периодами развития правомерно говорить о различных типах функций и дисфункций определенных игровых форм.

Наблюдения над играми животных иногда приводили исследователей к представлению о том, что игра старше других форм культуры [25, с. 1]. Скорее всего игры «братьев меньших» позволяют строить предположения о докультурных, инстинктивных или генетических предпосылках развития игровых структур. В таких играх различимы несколько основных вариантов, каждый из которых как будто имитирует определенный тип реального поведения – охоту, секс, сопер-

ничество [17, с. 382; 24, с. 79; 23, с. 41-42], причем игровое действие отличается от неигрового лишь своей незавершенностью, т.е. докультурные игры принципиально неконструктивны. В то же время им нельзя приписать подражательности, а также какого-либо непосредственно прикладного значения. Можно предположить, что подобие игровых и реальных структур поведения здесь объясняется «пробным», неполным развертыванием соответствующих генетических программ – при отсутствии внутренних и внешних предпосылок для их полной, «настоящей» реализации (сравни: [24, с. 68]).

Очевидно, что конструктивность («искусственность») человеческой игры, многообразие ее вариантов и их изменения – феномен культуры. Остается открытым вопрос о генетических или квазигенетических предпосылках фундаментальных (архетипических) форм игровых структур; он выходит за рамки настоящей статьи.

Но обращение к зоопсихологии игры помогает объяснить или хотя бы пояснить еще одно негативное определение игровой структуры. Какие бы параллели не существовали между игровыми и неигровыми действиями, нет необходимости трактовать их как результат намеренного подражания, а также приписывать им значение модели («заместителя») неигровой ситуации или, скажем, символа последней. Игровая структура может выступать в качестве модели лишь в исследовательской, т.е. неигровой задаче. Игра же как таковая не является моделью какого-то внешнего по отношению к ней явления, иначе говоря, не «работает» как такая модель. Ни подобие, ни генетическая близость структур в самой игре не имеют значения. Шахматист играет в шахматы, а не моделирует тем структуру международного конфликта, так же как футболист играет в футбол, а не воспроизводит ритуальную игру с мячом или сакрализованную в ней тайну плодородия и т.п. И если «играют мальчики в войну», то это значит, что они заняты определенной детской ролевой игрой, подчиня-

ются ее правилам и пр. (и генетически такая игра восходит к литературным или телевизионным, т.е. тоже игровым, описаниям). В своих пределах игра всегда самодостаточна, выход же за эти пределы прекращает игру.

Отсюда следует, в частности, что не вполне адекватны распространенные в литературе, особенно психологической, трактовки игры как действия в «мнимой», «иллюзорной» реальности, дающего «мнимое» решение проблем, и т.п. [3, 6, 19]. Игра никаким образом – в том числе и иллюзорным – не решает каких бы то ни было проблем внешнего по отношению к ней мира: она создает и решает лишь свои собственные, специфические игровые проблемы, не «замещает» внешнюю реальность, а конструирует свою, игровую, реальность, обособленную от первой.

Самодостаточность игровых структур не позволяет считать их символами какой-то иной реальности. Генетически такие структуры, вероятно, близки ритуальным или происходят из них, точнее – образуются в результате распада ритуально-мифологического комплекса¹. Но ритуальное действие – как и соответствующие ему мифологические нарративные формы – не является замкнутым, самодостаточным. Оно символизирует некую связь, переход между двумя порядками бытия – светским и священным, трансцендентным. Поэтому игровая структура, включенная в ритуальный комплекс, – не игра, а часть ритуала. И наоборот, ритуал, лишившийся своих «вертикальных» функций, сводится к игре (если налицо замкнутая структура действия) или к церемониалу (если замкнутая структура отсутствует и порядок действий детерминирован извне, например, инструкцией). Так ритуальное шествие может трансформироваться в игровое (карнавальное) или церемониальное (парадное).

Если рассматривать игровую структуру как своего рода

¹ Й. Хойзинга [См.: 25, с. 5, 15] допускал игровое происхождение ритуала. Сравни: [15, с. 108].

текст, то следует отметить, что это текст сугубо для «внутреннего пользования»: все ролевые и смысловые трансформации происходят внутри игровой реальности, на рубежах, разделяющих ее структурные компоненты², а не на рубеже игра/неигра.

Обратимся ко второй специфической черте игровой структуры – наличию и специальной фиксации культурно-значимого барьера, некоторой семиотической рамки, отгораживающей игру от иных значений мира человеческой деятельности. Этот барьер определяет разнозначность (разнозначность) действий, разграничиваемых им. Создающийся благодаря этому перепад значений между неигровым и игровым, как известно, в утилитаристской традиции оценивается как снижение («всего лишь игра»), а в романтической – как возвышение («свободная деятельность»). Непременной предпосылкой романтизированного возвышения игры является определенная эстетическая абстракция, с помощью которой из понятия игры заранее исключаются низменные развлечения и материальные интересы [18, с. 139; сравни: 25, с. 8-9]. Преодоление романтических иллюзий в методологии социального знания и социальных ожиданиях привело к постановке вопроса о необходимости учета и анализа всего многообразия уровней человеческих интересов и способов их удовлетворения, вместе с тем – и различных типов игровых структур, реализации которых могут быть высокими и низкими, изысканными и пошлыми, радостными и горестными, благородными и жестокими и т.д.

В этой связи возникает задача поисков методологических средств для рассмотрения культурной рамки игровых структур. Здесь обнаруживаются три пары семантических оппозиций: серьезное – несерьезное, естественное – искусственное, необходимое – свободное. Ни одна из них неспецифична и

² См. соображения В.Н. Топорова об игровых замещениях в ряду «герой–актер–зритель» [15, с. 108].

недостаточна для характеристики игровой структуры, они содержательны лишь взятые вместе, т.е. игровое действие отмечено как несерьезное, искусственное, свободное в противоположность серьезному, естественному, необходимому миру неигровой реальности. В основе таких оппозиций лежит прежде всего противопоставление продуктивных и непродуктивных типов деятельности, о котором уже шла речь. Далее, здесь констатируется различие способов конституирования действия («искусственность» или традиционная заданность игровых норм воспринимаются с утилитаристских позиций как условность по отношению к практически-серьезной реальности). И наконец, отмеченным оказывается освобождение игровой структуры от внешнего регулирования.

Таким образом, культурный барьер игровой структуры – это проекция замкнутой структуры игры на плоскость культурных значений. Семантический переход через такой барьер служит как бы оператором трансформации игровых структур в неигровые и обратно³. Существенно, что он не только наличествует, но специально выделяется, «подчеркивается» в любой игровой деятельности: самый увлеченный, самый «серьезный» игрок не только играет, но и знает, что он играет. Причем «осознание» игрового барьера обнаруживается уже в детской игре (поглощенный игрой ребенок твердо знает, что палочка – не лошадь, а песок в игрушечной кастрюльке – не еда), да и в докультурных игровых структурах тоже.

Принципиальное, формообразующее значение в соотношении игрового и неигрового действия имеют не моменты сходства, а рубежи разграничения между ними. При этом культурно отмеченной всегда является одна сторона барьера – игровая. Если в плане социального действия замкнутая игровая структура противопоставляется всему многообразию

³ По Э. Гоффману, такой переход – это «перенастройка», изменяющая смысл действия [23, с. 3-4].

«открытых», неполностью упорядоченных событий, то в плане культурных смыслов специально отмеченным элементом семантических оппозиций служит игра. Выражаясь фигурально, на игре все всегда должно быть как-то «надписано», что эта игра, в то время как остальная реальность своей надписи не содержит и в ней не нуждается⁴.

Конечно, «надпись» предполагает какого-то «читающего» или, по крайней мере, «замечающего» ее, т.е. игровая структура всегда должна быть демонстративной как для игроков, так и для наблюдателей. Ситуации, когда наблюдатель является также и участником игры, или даже единственным ее участником, не составляют исключения из этого правила: демонстрировать можно и самому себе, к тому же такая автодемонстрация генетически происходит от «показа-для-других»⁵. Экзотеричность игровых структур, их «тайность» для непосвященных [25, с. 13] не меняют дела (надпись типа «посторонним вход воспрещен» весьма демонстративна!).

Уровни включенности

По-видимому, следует отличать демонстративность от «зрительности», которая свойствен лишь некоторой части игр. «Наблюдатель» – посторонний по отношению к игре (в частности, им может быть исследователь), зритель включен в игровую структуру как соучастник. Наблюдатель может довольствоваться чтением «надписи», зритель же читает (а точнее, проигрывает) «текст» игры. Зрительское соучастие детерминирует одну из существенных сторон социальной структуры игры.

⁴ «Игра – это позитивное, серьезное – негативное... «Серьезное» – это просто «не игровое» и ничего больше, игра же – это вещь сама по себе» [25, с. 45].

⁵ По М.М. Бахтину, у греков «единство человека и его самосознание были чисто публичными. Человек был весь вовне, притом в буквальном смысле слова» [2, с. 284].

В игровой деятельности прослеживаются такие уровни организации, как: 1) операциональный (собственно правила игры, ее нормативный сценарий, стратегия и тактика); 2) поведенческий (динамика состояний напряжения и разрядки, азарта и рассудочности, увеличений и отвлечений; мобилизация различных компонентов физического и психического потенциала личности и т.д.); 3) социологический (ролевая структура игрового действия, процессы ее институционализации, в том числе профессионализации, формы партнерства, соперничества, преемственности и т.д.). В данном случае рассматривается только последний из перечисленных уровней. Именно к нему относится тот довольно обширный комплекс отношений, который может называться «зрительской игрой» (воспользуемся этим малоудачным термином за отсутствием лучшего).

В зрительской игре участники делятся на игроков («актеров», в качестве которых могут выступать люди, марионетки, литературные персонажи и т.д.) и соучастников («зрителей», к которым относятся и слушатели, читатели, болельщики и вообще любые «сопереживающие» участники соответствующего игрового действия)⁶.

Зрительская игра не продолжает актерскую, а развивается по своим собственным правилам, она обладает своей конфигурацией ролей, психических состояний и ориентаций. Для нее характерны процессы индивидуальной и групповой идентификации, замещения, динамика напряжения – снятия и пр. Воздействие зрительской игры на актерскую активно не

⁶ «Зритель в шуточной потасовке, спортивном соревновании и политическом соперничестве стремиться участвовать на стороне победителя, просто чтобы сделать спор содержательным» [29, с. 104]. По Э. Гоффману, зритель «принимает сочувствующее и замещающее участие в том нереальном мире, который создан драматическим взаимодействием предписанных ролевых функций. Он отдает себя, он подымается (или опускается) до культурного уровня сценических ролей и тем... Можно говорить о роли зрителя...» [23, с. 130]. Ср. также разработку проблемы «человек в роли зрителя» в [4, с. 217-227] и [16].

только в смысле стимулирования, эмоционального фона и т.п.: зрительские отношения могут и конституировать саму «первичную» игру (это особенно очевидно применительно к «безличным», целиком или частично, играм: корриде, скачкам, петушиным боям; более того, зрительское соучастие может придавать значение игрового зрелища случайным или стихийным событиям).

Представляется уместным различие «непосредственной» зрительской игры от «опосредованной» (вторичной), в которой предметом соучаствующего переживания (проигрывания) служит не сама актерская игра, а сообщение о ней. Такая игра создается с помощью массовой коммуникации, способной раздвинуть круг играющих почти до масштабов всего общества⁷. Система массовой коммуникации превращает свою аудиторию в «сопереживающих» участников событий (действительных или выдуманных), в которых она не может принимать реального и квалифицированного участия; с другой стороны, она превращает в зрелище (в предмет зрительской игры) едва ли не любое событие социального или стихийного порядка (так же как и фантастического). Современная массовая коммуникация эксплицирует и превращает в универсально доступные те типы публично-зрелищных структур, которые зародились и играли активную социальную роль еще в классической древности.

Отнесение целого ряда процессов индивидуального и группового восприятия определенных семиотических структур (текстов) к зрительской игре не означает, разумеется, что они приравнены друг к другу: существует не только громадное разнообразие игровых текстов (структур «актерской игры»), но и различия в способах, уровнях, глубине прочтения таких текстов («зрительской игры»). Так, можно выделить

⁷ Сравни постановку вопроса в [31], где, однако, игровые структуры трактуются слишком упрощенно – как доставляющие удовлетворение в противоположность структурам принуждения и контроля (такое противопоставление неточно и психологически и социологически).

следующие уровни зрительского «проигрывания» текста: ценностно-ролевая идентификация («свой-чужие»), сюжетная идентификация («интрига»), дифференцированное восприятие текста (как «целого»). Очевидно, что различные типы игровых структур по-разному воспринимаются (проигрываются) зрителями в соответствии с уровнями групповой и индивидуальной культуры.

Типы игровых действий

Известные в литературе типологии игровых действий строятся на различных основаниях – с учетом структурных уровней, социальных рамок, стратегий, механизмов действия и др. Наиболее общей и, видимо, практически значимой осью здесь выглядит противопоставление «целевой» и «ролевой» игр⁸.

К первому типу относятся все игровые структуры деятельности, которые ориентированы на достижение некоторого конечного состояния, успеха, победы над соперником или обстоятельствами. Преследуемая цель может носить и чисто внутренний, психологический характер (экстаз, разрядка, катарсис как желаемый результат). Целевые игровые структуры могут быть физическими и логическими, рациональными и чисто азартными, индивидуальными или коллективно-организованными в различных формах и масштабах. Практи-

⁸ В известной работе Р. Кайюа различаются игры 1) состязательные («агон»), 2) случайные («алеа»), 3) масочные («мимикрия») и 4) головокружительные («килинкс»); в каждом типе имеются два полюса – стихийно организующиеся и формально организованные игровые действия [22, с. 27, 52, 66]. В социально-психологическом анализе «взрослых» игр. Б. Саттон-Смита и других используются типы стратегических, случайных и силовых игр [32]. В обеих типологиях отсутствует единое основание и выделяемые типы не исключают друг друга. «Функции игры в их высших формах... могут быть в основном выведены из двух основных вариантов: игры как состязания за что-то или как представления (репрезентации) чего-то» [25, с. 13].

чески всегда имеет место то или иное сочетание подобных форм.

Ко второму типу принадлежат игры, в которых происходит исполнение и трансформация ролей, использование масок различной природы, реализация некоторого заранее заданного текста. Здесь содержанием игрового действия является исполнение предписанной ролевой функции и участие в соответствующей конфигурации ролей.

Если целевые игры подобны целенаправленному социальному действию, то ролевые игры – исполнению социальных ролей; в обоих случаях игровые структуры отличаются замкнутостью и культурно-значимым барьером обособления от неигровой деятельности. К тому же предписания ролевого текста в игре существенно более жестки, чем в ролевом поведении в обществе – это вытекает из замкнутости игрового текста.

Каждому из этих типов игровых структур можно поставить в соответствие доминирующий тип институционализации игрового поведения. В первом случае это спорт, во втором – театр; в рамках институтов, реальное влияние которых на современное общество далеко выходит за пределы соответствующих учреждений, закрепляются образцы и нормативные санкции игровых форм деятельности.

Что же касается тех игровых форм, которые направлены на создание особого, экстраординарного психического состояния участников (ритмических или, в терминологии Р. Кайюа, «головокружительных»), то их как будто можно было бы считать условием преодоления «обычной» ситуации, психологическим средством перехода через игровой барьер. Это средство может превратиться в самоцель в определенных типах игр⁹ или выступать в качестве компонента

⁹ Так иногда трактуют «дионисийские» игры в отличие от «аполлонийских» [20]; о значении качания и кружения в праздничной ситуации см.: [6]. Кстати, в древнегерманском языке словом «играть» (*spillän*) называли плавное приятное маятникообразное движение [19, с. 25].

игровой программы (притом, по-видимому, это универсальный компонент любой такой программы).

Нагляднее всего этот психологический компонент в ролевой игре. Отметим в ней две составляющие – «сцену» и «текст». Под «сценой» будем иметь в виду замкнутое социокультурное пространство игровой деятельности, отгороженное культурным барьером от остальной реальности, под «текстом» – ряд предписаний, ограничений и критериев оценки ролевого поведения в игровой структуре. Первая из них – это как бы «вход» в игровую структуру, игровая трансформация деятельности («перенастройка» по Э. Гоффману); психологическая сторона такой трансформации («плата за вход») – экстатическое состояние, возникающее в кружении, опьянении («дионисийство»), и т.п. Вторая составляющая – внутренний план игры. Маска, костюм, декорация, манера поведения и речи служат элементами «сцены», поскольку они фиксируют обособление игрового поведения; они же выступают и элементами игрового «текста» поскольку несут (если несут) конкретные ролевые функции. То же можно отнести и к экстатическим предпосылкам и элементам игры.

Проведенное выше различие ведет к очевидному выводу: выход на «сцену», ролевая трансформация – неперемное условие реализации любого игрового текста, в том числе и «целевого». В этом смысле ролевая игра оказывается не одним из типов, а универсальным условием, своего рода всеобщим знаменателем всякой игры¹⁰.

Это значит, что названные выше два доминирующих («осевых») типа институционализации игрового поведения – спорт и театр – принципиально неравноправны: всякое организованное спортивное действо – это прежде всего реализация определенной ролевой игровой структуры («выход» на

¹⁰ Тогда оправдана некоторая перестройка приведенной ранее фразы Й. Хойзинги: чтобы играть *за* что-то, надо играть *во* что-то, т.е. войти в определенную роль.

сцену, т.е. в социокультурное пространство игры), а потом уже – реализация конкретного плана целевой, соревновательной игры¹¹. Видимо, лишь по такой двухступенчатой схеме происходит формирование и закрепление целевых образцов поведения, оказывающих воздействие на самые различные сферы человеческой деятельности. Отсюда и особое место драматического действия и его производных как наиболее развернутой, типологически и исторически первичной (после распада ритуального комплекса) ролевой структуры игрового действия. Здесь находит свое наиболее показательное воплощение та организация социокультурного пространства (пространства – времени), которая характеризует всякое игровое действие.

Пространство и время в игровой структуре непременно замкнуты и отгорожены от неигровых форм пространственно-временной организации общества. Время игры ритмично и телеологично (отсчет от будущего, целевого состояния). Оно противостоит как «дурной» бесконечности исторического потока с его бесчисленными вариантами «дерева последствий», так и разнопорядковости (иерархичности) мифологического времени. Поскольку игровое действие замкнуто в одной плоскости, все его проблемы решаются «здесь и теперь». При этом и пространство и время игры строятся по модулю человека, т.е. ограничены «изнутри» масштабами непосредственного человеческого действия. Отсюда универсальная значимость классических требований единства места и времени (сохраняющих фактически свое значение при всех постклассических трансформациях театральной поэтики). Отсюда же, можно полагать, и универсальная значимость «драматических» образцов в структуризации «открытого» пространства человеческой жизни.

Игровая структура действия как замкнутая культурно-

¹¹ Р. Кайюа отмечает, что стадион для зрителей – это спектакль [22, с. 43, 44]. Но отчасти и для спортсменов спорт является актерской игрой.

обособленная форма – категория идеально-типическая; никакой из видов признанного и институционализированного игрового поведения ей полностью не соответствует. В то же время нельзя обнаружить такую форму или сферу человеческой деятельности, которая не испытывала бы влияния игровых структур и которая не могла бы – в определенных своих узлах – при соответствующих условиях трансформироваться в игровую. Культурно-замкнутое пространство игрового действия не только существует параллельно или на «полях» обычной, «открытой» пространственной структуры общества; оно может появляться (или проявляться) в любой точке такой структуры, более того, служить средством ее организации.

Внешними, бросающимися в глаза признаками «игровой» структуризации деятельности могут служить, скажем, языковые и поведенческие клише, несущие определенную семантическую нагрузку. Таковы используемые в обиходе, литературе и политике метафоры типа «kozyри», «финишная прямая», «под маской» и т.п. Метафорическое уподобление отдельных элементов разнопорядковых сфер, конечно, не сближает сами эти сферы, но означает уподобление некоторых моментов отношения к ним. Более содержательны (семантически нагружены) поведенческие клише, заимствующие из игровых структур не терминологию или тактику, а принцип замкнутости действия¹². Структура игрового действия, вынесенная за пределы (идеально-типической) игры «как таковой», превращается в своего рода рамку, накладываемую на некоторый «поток» событий с явной или неявной целью его упорядочить, т.е. представить в виде какой-то ре-

¹² Э. Берне относит к повседневным «играм, в которые играют люди», поведенческие уловки или формулы типа «меня все обижают», «они все такие» и пр., поскольку они не просто определяют позицию, но задают психологически замкнутую структуру поведения, составляющую основную особенность игры [21, с. 44].

гулярности, рациональности, целостности¹³. Игровая структура в качестве рамки может быть сопоставлена с концептом «предвосхищающей схемы» в когнитивной психологии, где такая схема считается средством подготовки индивида к принятию информации определенного вида [11, с. 41]. Однако задача – и соответственно структура – игровой рамки более сложна, поскольку она организует не познание, но целый комплекс поведения.

Наиболее общие признаки игровой рамки – представление цепи деятельности как конечной и рациональной (даже в модели чисто случайной, азартной игры можно усмотреть рациональность методологии «черного ящика»), упорядоченная и обозримая связь действия и эффекта (достижимые цели достижимы, возникающие проблемы разрешимы, жертвы вознаграждены и т.д.), наконец, как уже отмечалось, – «человеческие» масштабы всех подобных процедур. Само применение подобных рамок означает неперемное – явное или неявное – обособление определенных сторон реальности («культурный барьер»), формирование замкнутого социокультурного пространства – времени («хронотопа», пользуясь выражением М.М. Бахтина) игрового действия¹⁴.

¹³ По Э. Гоффману, «определения ситуации строятся в соответствии с принципами организации, управляющими событиями – по крайней мере, социальными – и нашим субъективным участием в них; рамка – это слово, с помощью которого я обозначаю те из этих основных элементов, которые я способен распознать» [23, с. 10-11].

¹⁴ Г. Зиммель полагал, что замкнутость, «бесцельность» игровых форм придает им значение «чистых форм социальности, того средства, при помощи которого происходит формирование общества. Так, дружеская встреча, не имеющая никакой цели, кроме самой себя («свидание», чтобы «свидеться», «разговор», чтобы «поговорить», «флирт», чтобы «флиртовать»), – это такая «игра в обществе», которая является также «игрой в общество», в ходе которой создаются формы социальности [30, с. 56, 61, 62, 65, 66]. Но ведь в основе этого вывода лежит неявное допущение самостоятельности «игровых форм», которые рассматриваются как первично данные, без учета способа своего образования: те «игровые формы», которые рассматривал Зиммель, уже являлись социокультурными, раз-

Трансформацию направленного вовне («продуктивного» в широком смысле) действия в самоцельное и самодостаточное, игровое, можно обозначить, пользуясь терминологией, введенной в обращение Й. Хойзингой, Г. Гессе, Р. Кайюа – как «лудизацию» действия. Противоположную процедуру, превращающую игровую структуру в средство достижения каких-то экономических, престижных и прочих целей, в механизм для производства определенных результатов (показателей, очков и т.п.), в предмет исполнения некоторой обязательной нормы назовем «функционализацией» игрового действия. На всех этапах и во всех сферах общественной жизни, на всех ее уровнях, от личностного до социетального, можно обнаружить оба типа трансформаций. За ними стоят различные социальные и психологические механизмы. Скажем, профессионализация социальной активности неизбежно приводит к лудизации определенных ее звеньев [12]. Напротив, профессионализация игровых структур, связанная с развитием их формальной организованности, приводит к функционализации, превращению таких структур в элемент организационного механизма и т.п. Разумеется, в различных ситуациях значение таких процессов различно. В целом же чередование и взаимодействие обеих типов трансформации составляют один из моментов формативного и энергетического ритма социальной деятельности.

Замкнутые структуры вне игровых рамок

«Вездесущность» игровых структур объясняется тем, что «замкнутые» фигуры действия – одно из универсальных средств упорядочения, структуризации событийного потока человеческого существования (а лишь будучи упорядоченным, оно выступает как «жизнь», т.е. как предмет целостного

вертывались в уже существовавшем социокультурном пространстве. Они не создают общества, но соучаствуют в воспроизводстве определенных его структур.

осмысления, ориентирования, проигрывания)¹⁵. Ведь игровое упорядочение («замыкание») социальной деятельности не только формирует ее структуру в соответствии с человеческими масштабами и желаниями (как индивидуальными, так и социально-организованными на любых уровнях), но и позволяет постоянно реализовать эти желания, получая соответствующее мотивационное подкрепление (игра может рассматриваться как очевидный пример «внутренне мотивированного действия» [26, с. 6, 7]. Поэтому лудизация определенных моментов жизнедеятельности человека – одно из средств воспроизводства ресурсов мотивационной энергии, без которого нереализуема длительность человеческого существования.

Чередование замкнутых и открытых, игровых и неигровых структур действия фиксируется не только хронологически (как временная последовательность), но и топологически, в «программирующем механизме» личности и культуры (как соотношения и трансформации определенных слоев или уровней действия).

Такое чередование можно усмотреть, например (если не прежде всего), в соотношении «детских» и «взрослых» игровых структур (или шире – «детскости» и «взрослой» жизни). Давно известно, что для социокультурного анализа сложных структур человеческой деятельности недостаточно рассматривать лишь традиционно-«педагогическую» линию, т.е. взросление (обычно ею ограничивается профессиональный подход детской психологии к игровым структурам [19, с. 20, 63, 76, 289]: здесь имеют значение различные линии взаимных влияний и переходов, в том числе воздействие «дет-

¹⁵ «Привилегия и трагедия человека», по утверждению Х. Ортеги-и-Гассета, в том, чтобы «жить, т.е. принимать жизнь как задачу», как «добровольное усилие», а не как внешне заданную необходимость; отсюда у него следует сравнение жизни (а также философии и др.) со спортом и игрой как видом бесцельного и добровольного усилия [27, с. 9, 10, 18, 19].

ских» структур поведения на «взрослые»¹⁶. Дети играют во взрослых и становятся взрослыми, взрослые не становятся детьми, но играют «в детей» (настоящая, увлеченная и увлекающая игра с детьми – это отчасти и игра в детей, т.е. игровая трансформация ролей) и «в детство» (использование тех поведенческих, оценочных и других структур, которые характерны для детского мироотношения; сюда относятся не только примитивно-целостная ролевая идентификация, экспрессивно-эмоциональная непосредственность и т.д., но также и наивная безответственность, аутизм, жестокость)¹⁷. Такого рода игровые трансформации возможны потому, что в самой культуре «взрослого» общества, в структуре зрелой, как будто полностью социализированной личности сохраняется также слой (уровень) «детских» поведенческих форм,

¹⁶ В свое время Ф. Знанецкий предложил концепцию «человека игры» как одного из основных типов социальной личности (наряду с «хорошо воспитанным человеком», «человеком труда» и «маргинальным человеком»), у которого «во взрослом состоянии доминируют личностные стремления, развитые под влиянием среды ровесников, с которыми он играл в детстве и юности» [33, с. 138-139, 259]. Для него жизнь прежде всего остается самоцельной игрой, это относится к культуре, товарищеским отношениям, политике, войне; из «людей игры» рекрутируются кадры военных, политиков, авантюристов и т.д. [33, с. 270, 271, 302-303]. Если Знанецкий выделяет влияние детской игры (точнее, ее роли в первичной социализации) на взрослую жизнь, то современный этнопсихолог Б. Саттон-Смит рассматривает влияние детской жизни (и порожденных ею личностных напряжений) на игры взрослых [32].

¹⁷ Ф. Знанецкий сожалел о том, что в социологии слишком много внимания уделяют «вторичному процессу» подражания взрослым со стороны молодежи и недооценивают такое фундаментальное явление, как «безрассудное, ненамеренное подражание молодежи со стороны взрослых, или, точнее говоря, использование взрослыми в своей общественной жизни тех принципов и форм совместной жизни... которые являются специфическим продуктом молодежных игровых групп...» [33, с. 270]. И. Хойзинга, кстати, усматривал признак вырождения культуры игры в распространении «пуэрилизма», своего рода мальчишеского варварства в действиях взрослых людей и организаций [25, с. 205]. (Поводом послужили известные социально-политические тенденции его времени.)

на которые в известных условиях переключается («перенастраивается», в терминологии Э. Гоффмана) действие. По видимому, современные тенденции дифференциации молодежных субкультур способствуют такому переключению, но не создают его.

Другой пример чередования игровых и неигровых форм – оппозиция социокультурных структур работы-досуга. Если попытаться из конгломерата разнородных типов деятельности, условно относимых к сфере досуга, «вычесть» непосредственные продолжения работы и традиционно-бытовых обязанностей (учеба, семья, родственные отношения и т.п.), то в «остатке» можно обнаружить игровые структуры действия, организованные двумя осями координат: это ролевой театризм и массово-зрительская игра. В поведенческих структурах массового отдыха, туризма, любительского творчества и тому подобных занятий происходит исполнение взрослыми «детских» (или «молодежных») ролей, цивилизованными горожанами – «дикарских», дилетантами – профессионально-творческих, формально-организованными группами – геймшайфтных и т.д. По всем характеристикам (перенастройка, замкнутость, культурный барьер) такие структуры являются игровыми. Что же касается «зрительской игры», формируемой системами массовой коммуникации, то о ней уже говорилось ранее.

В рассматриваемой паре структурных оппозиций нетрудно обнаружить «игровые» и противоположные им трансформации деятельности на обоих полюсах. Игровые трансформации определенных моментов производительного труда (состязательность, самоцельность, интерес, создающие внутренние мотивации и замкнутые структуры действия), воспитания, рекламы, военной жизни, социальных конфликтов и др., достаточно хорошо известны. Они охватывают также социальные типы (и «сверхтипы», метатипические фигуры) личности. Так, «экономический» человек (Homo oeconomicus) вовсе не является полярной противоположностью

«человека играющего» (*Homo ludens*), и не потому, что реальные прообразы активного субъекта экономической деятельности никогда не были чужды «игровых» интересов и увлечений¹⁸. Сам идеальный тип «экономического человека» – это тип азартного игрока, ставящего на карту все, поскольку он действует в замкнутой поведенческой структуре, отделенной барьером от прочей социальной (моральной и пр.) реальности. Но аналогичные игровые черты несут и другие метатипические фигуры – и упоминавшийся Ф. Знанецким *Homo politicus*, и сверхсоциализированный *Homo sociologicus* Р. Дарендорфа.

С другой стороны, на противоположном полюсе действуют достаточно сильные факторы делудизации досуга – в связи с профессионализацией соответствующих ролей, появлением формально-организованной «индустрии досуга» и проникновением ее стандартов на личностные и межличностные уровни поведения. Результатом является известная тенденция превращения досуга в сферу индустриально-организованного массового потребления благ и услуг (и соответственно массового производства определенных показателей трудового, психического, физического потенциала общества)¹⁹.

Сложное и особо значимое поле игровых трансформаций задается соотношением «искусство – предмет» (и такими его аспектами или производными, как «искусство – зритель», «творец – произведение», «зритель – предмет» и т.д. Искусство как социальный институт – не игра, а продуктивная «от-

¹⁸ Свидетельство такого авторитета, как Дж.М. Кейнс: «Деловые люди ведут игру, в которой переплетаются ловкость и удача... Если бы человеку по его природе не было свойственно искушение рискнуть испытать удовлетворение (помимо прибыли) от создания фабрики, железной дороги, рудника или фирмы, то на долю одного лишь холодного расчета пришлось бы не так много инвестиций» [9, с. 214].

¹⁹ В романтически-возвышенной концепции игры у Й. Хойзинги ситуация, в которой «бизнес становится игрой», а «игра становится бизнесом», – признак упадка цивилизации [25, с. 200].

крытая» сфера деятельности, поскольку оно решает задачи познавательные, социально-воспитательные, этические и др. [7, с. 142]. Как и в иных сферах социальной жизни, здесь возникают и определенные структуры замкнутого игрового действия (самоценность и самооценка произведения, внутригрупповых отношений в художественной среде). Главное же и специфическое в том, что искусство формирует особый мир человеческих интересов и ценностей, организуемый своими правилами («законами красоты»), что этот «искусственный» мир дает человеку и человечеству рамки восприятия и воздействия (а это замкнутые, игровые рамки), применимые к любым сферам человеческих отношений, истории, природе, технике, поведению на разных его уровнях. В этом плане искусство выступает как единственная в своем роде «мастерская» игровых структур человеческой деятельности.

Есть основания полагать, что наиболее действенный архетип замкнутой игровой структуры, способной служить средством игрового упорядочения человеческой жизни, исторически был задан и воспроизводится вновь драматическим «действием» (понимаемым широко, как вся совокупность признанных и непризнанных театральных форм). Это средство можно обозначить термином «драматизация», отнеся сюда все структуры отношения к реальности как законченному, упорядоченному действию, организованному по образу и подобию театрального мира, где противостояние героев и судьбы, трансформации характеров и масок, оппозиции актеров и хора, выступают в качестве осмысленного целого. Утверждая, что это целое отображает соответствующую упорядоченность реального мира, античные и классические теоретики²⁰ фактически смотрели на этот мир через уже заданную (в культуре) рамку такого упорядочивания. Другие

²⁰ По Аристотелю, «трагедия есть подражание действию законченному и целому, имеющему известный объем. А целое есть то, что имеет начало, середину и конец» [18, с. 85]. Или у Дидро: «Спектакль подобен хорошо организованному обществу» [18, с. 105].

формы искусства (нарративные, изобразительные, ритмические), если не происходят из драматического [16, с. 243], то используют и обособляют его аспекты (изображения актеров, поз, театрального пространства в классическом и классицистском изобразительном искусстве). Характерная черта драматической игровой структуры (в отличие от нарративных – мифологических, потом литературных) состоит в ее диалогичности, полифоничности, противоборстве (агоне) сторон [16, с. 407; 15, с. 110]. Можно предположить, что различные типы и эпохи развития социокультурных структур в неодинаковой степени поддаются драматизации или нарративизации: примитивные и «монологические» структуры тяготеют к монологическому мифологически-литературному игровому упорядочению.

Исторические формы игровой драматизации многообразны и изменчивы. Известно, что греческие мыслители смотрели на человеческую жизнь как игру богов с миром марионеток [14]. В более поздних мифологических системах отношения творца и творения нередко описываются в игровых терминах (поскольку предельная ситуация таких отношений по определению замкнута, иные термины здесь просто неработоспособны). Новоевропейскому мироотношению свойственны – видимо, с шекспировских времен – такие «драматизированные» (или, пожалуй, «драматизирующие») игровые структуры, которые не нуждаются в «вертикальном» измерении для упорядочения своих ролевых конфигураций²¹. Именно такой способ структурирования оказывался в дальнейшем доминирующим в организации присущего данной культуре восприятия мира и собственной деятельности (в

²¹ По мнению Л.Е. Пинского, в формуле «жизнь – театр» – «существо шекспировской концепции человеческой жизни» [13, с. 558], она фигурирует в шести пьесах и многих сонетах [13, с. 560-561]. Сопоставим с этим суждение Й. Хойзинги о том, что эта формула у Шекспира, Кальдерона, Расина обозначает неоплатонистское пренебрежение к реальности [25, с. 55]; согласиться с ним трудно.

том числе и собственного воображения, например, в утопических конструкциях жизни). Он проявлялся в театрализации дворянского мира в России XVIII в. [8], в трагическом сознании Запада [9], в распространении масс-коммуникативных образцов ролевой игры в американском обществе [20] и т.д. Когда драматизированное мироотношение становится, как это нередко бывает, предметом драматического произведения (сравни человеческое существование как «репетиция оркестра» у Ф. Феллини), налицо своего рода «вторичная драматизация», которая также может выступать в качестве еще одной игровой рамки.

Изложенная попытка наметить некоторые линии возможного рассмотрения игровых структур социального действия как идеально-типической категории, а также некоторых типов реализации таких структур может, по-видимому, вести к определенным предположениям относительно методологии исследования сложных (комплексных) форм человеческой деятельности.

Во-первых, выделение идеально-типической категории игровой структуры делает методологически возможным переход от рассмотрения элементарно-однозначных актов действия к сложным, неоднородным его структурам как функционально «элементарным». К таким комплексным структурам, включающим действия разных уровней рациональности, аффективности, способных к трансформации и переосмыслению, относятся также инструментальные и символические типы действия.

Во-вторых, это позволяет превратить в предмет анализа не только маргинальные, но и осевые, парадигматические значения игровых структур деятельности. Предпосылку этому составляет рассмотрение игровых структур и игровых трансформаций действия вне формальных рамок «признанного» игрового пространства.

И, наконец, в-третьих (что, видимо, представляет интерес в общеметодологическом плане системного анализа соци-

альной деятельности), возникают основания для некоторых допущений относительно структуры и динамики, в частности хронологической и топологической ритмики, различных форм поведения.

Конечно, такие допущения требуют дальнейшей разработки и обсуждения.

Литература

1. *Аверинцев С.С.* Культурология Йохана Хейзинги. – *Вопр. философии*, 1969, № 3, с. 169-174.
2. *Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. М.: Изд-во худож. лит., 1975. 504 с.
3. *Выготский Л.С.* Лекция по психологии игры. – *Вопр. психологии*, 1966, № 6, с. 62-76.
4. *Гачев Г.Д.* Содержательность художественных форм. М.: Просвещение, 1968. 304 с.
5. *Кейнс Дж.М.* Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. 464 с.
6. *Левинсон А.Г.* Развитие фольклорных традиций русского искусства на народных гуляниях: Автореф. дис. канд. искусствовед. 1980. 60 с.
7. *Лотман Ю.М.* Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем». – В кн.: Труды по знаковым системам. Тарту, 1967, 3, с. 130-145.
8. *Лотман Ю.М.* Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в. – В кн.: Труды по знаковым системам. Тарту, 1977, вып. 8, с. 65-89.
9. *Любимова Т.Б.* Тратигическое в современной буржуазной эстетики. – *Вопр. философии*, 1979, № 8, с. 121-130.
10. *Мак-Дональд Дж.* Игра называется бизнес. М.: Экономика, 1979. 270 с.
11. *Найссер У.* Познание и реальность. М.: Прогресс, 1981. 230 с.

12. *Паркинсон С. Норткот Дж.* Закон Паркинсона и другие памфлеты. М.: Прогресс, 1976. 448 с.
13. *Пинский Л.Е.* Шекспир: Основные начала драматургии. М.: Изд-во худож. лит., 1971. 606 с.
14. *Тахо-Годи А.А.* Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков. – В кн.: Искусство слова. М.: Наука, 1973, с. 306-313.
15. *Топоров В.Н.* Несколько соображений о происхождении древнегреческой драмы: (К вопросу об индоевропейских истоках). – В кн.: Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983, с. 95-118.
16. *Фрейденберг О.М.* Миф и литература древности. М.: Наука, 1978. 605 с.
17. *Хайнд Р.* Поведение животных. М.: Мир, 1975. 855 с.
18. Хрестоматия по теории литературы. М.: Просвещение, 1982. 448 с.
19. *Эльконин Д.Б.* Психология игры. М.: Педагогика, 1978. 304 с.
20. *Эпштейн М.Н.* Игра в жизни и в искусстве. – Современная драматургия, 1982, № 2, с. 244-254.
21. *Berne E.* Games people play. L.: A. Deutsch, 1964. 192 p.
22. *Caillois R.* Les jeux et les homes: Le masque et le vertige. P.: Gallimard, 1978. 302 p.
23. *Goffman E.* Frame analysis: An essay on organization of experience. N. Y. Etc.: Harper and Row, 1974. 576 p.
24. *Groos K.* Die Spiele der Thiere. Jena: Fischer, 1896. 359 S.
25. *Huizinga J.* Homo Ludens: A study of the play element in culture. L.: Routledge and Kegan, 1949. 220 p.
26. *Levy J.* Play behavior. N. Y. etc.: Wiley and Son, 1979. 359 p.
27. *Ortega y Gasset J.* Über des Lebens sportlich-festischen Sinn. – In: Jahrbuch des Sports, 1955/56, Frankfurt a. M., 1955, S. 7-32.
28. *Pruitt D.G. et al.* Twenty years of experimental gaming. – Annu. Rev. Psychol., 1977. p. 363-392.

29. *Riesman D.* The lonely crowd. New Haven; London: Yale Univ. press, 1966. 315 p.
30. *Simmel G.* Grundfragen der Soziologie. Berlin; Leipzig: Gruiter, 1920. 103 S.
31. *Stephenson W.* The play theory of mass communication. Chicago: London: Univ. of Chicago press, 1967. 225 p.
32. *Sutton-Smith B.* etal. Game involvement in adults. – J. Soc. Psychol., 1963, vol. 60, pt. 1, p. 15-30.
33. *Znaniński F.* Ludzie a cywilizacja przyszłości. W-wa: PWN, 1974. 382 s.

Системные исследования. Ежегодник. 1984 г.

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА: ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА

ПЕРИОД, переживаемый сегодня советским обществом, характеризуется глубоким разломом социальных структур, который приводит к обнажению скрытых пружин и механизмов жизни общественного организма. Одни из таких «пружин» становятся заметны, когда отказывают, другие, наоборот, когда приходят в движение (таковы, например, групповые и личностные компоненты общественной жизни). Это сложное время можно было бы считать благодатным для анализа текущих процессов, а также для понимания природы социальных явлений, – если бы в распоряжении нашего обществоведения имелись достаточно надежные орудия исследования таких ситуаций.

Дело не в очевидном несовершенстве наших социологических кадров, учреждений, соответствующего оборудования. Представляется, что здесь главная трудность – в неразработанности самого методологического инструментария социальной мысли, притом не только нашей. Социология имеет достаточно большой опыт изучения «готовых», сложившихся общественных структур, взаимодействия и баланса их компонентов. Значительно менее изучены неравновесные, несбалансированные взаимосвязи, которые характерны для процессов перелома, перехода к новым социальным структурам и типам общественной организации. В марксистской историографии традиционно рассматривались преимущественно те формы социальных переломов, которые связаны с открытой борьбой классов, явным противоборством общественных сил, партий и т.д. Сегодняшняя ситуация совсем иная, и это приводит к необходимости пользоваться поучительным, хотя и не строгим материалом исторической аналогии. Правда, и он не слишком богат.

Наиболее близкая в отечественной истории точка сравнения может быть здесь отнесена к ситуации лета–осени 1917 года. (Это, разумеется, не просто аналогия, но еще и исток, точка отсчета, к которой вновь и вновь обращается исследовательская мысль в поисках первопричин и корней нашего варианта развития.)

Самая характерная черта тогдашнего момента – всеобщее, быстрое и как будто полное отрицание отжившей системы общественных отношений, «старого режима», в том числе и недавними его сторонниками. (Несколько позже В.Г. Короленко дал точный и удивительно современный образ резкого поворота в общественном сознании: «повернулся внезапно какой-то логический винтик».) Но «единство против» очень быстро обнаружило свое отличие от «единства за»: происходило бурное оформление и размежевание интересов различных течений под сходными лозунгами демократии, свободы, революции. В частности, началось идеологическое самоопределение этнической периферии империи. Старая экономическая база расшатывалась все более, новая отсутствовала. Все больше обнаруживалась слабость властвовавшего под революционными лозунгами центра – и в смысле неумения справляться с кризисами, и в смысле неспособности сохранять инициативу. В уставших массах все более сказывалась тоска по порядку и «твердой линии», которую с переменным успехом стремились использовать радикалы противоположных флангов.

Главного, однако, эта (и любая другая, наверное) историческая модель не включает. Как это ни парадоксально на первый взгляд, сегодняшней перелом, не выводящий общество за признанные границы одной и той же социально-экономической и социально-политической системы, во многом сложнее, чем тот, который был связан с крушением самодержавия. Ведь тогда считалось, что происходит движение по образцу, многократно проверенному историей разных стран. И Ленин, подчеркивавший уникальность обстановки в

революционной России, на протяжении того лета не раз считал возможным сравнивать происходившие перемены с событиями французской революции XVIII века. Сегодняшняя база исторического опыта значительно менее сопоставима: опыт реформ в зарубежных социалистических странах (Венгрия, Китай...), слабые аналогии с процессами демократизации в других государствах.

В короткий период демократического развития России происходили открытые политические и теоретические дискуссии между явно противоборствующими силами о путях возможного движения общества, судьбах войны, революции, государства. Ныне ситуация неизмеримо более закрыта, реальное разнообразие подходов все еще спрятано под неким общим «одеялом», видимостью административного единодушия или пережитками представлений о безальтернативности единственно возможного пути.

Тем важнее, тем интереснее попытаться представить, пусть в порядке первых приближений, некоторые линии возможного анализа происходящих и наметившихся общественных изменений.

Внутренняя логика процесса

Общественный процесс, особенно если это процесс крупный, результирующий действия и стремления множества вовлеченных в него людей и групп, непременно обладает какой-то упорядоченностью, а именно взаимодействием составляющих его потоков или компонентов (структура процесса) и соотношением различных фаз движения.

Понятие структуры чаще всего применяется к некоему стабильно функционирующему целому: структура общества, экономики, города. Иногда под структурой подразумевают просто состав, количественное соотношение учетных единиц в населении, производстве, торговле и пр. Но если перед нами поток, лавина, обвал, подвижка целых социальных пла-

стов, а то и континентов? Здесь, конечно, понятие структуры приобретает иной смысл.

Вряд ли можно обнаружить такой социальный поток, который не состоял бы из множества взаимодействующих «струй», «течений», «вихрей», имеющих свою направленность, скорость, плотность, мощность и т.д. Российский Октябрь стал великим, соединив на некий исторический миг в одном русле потоки антивоенные и антикапиталистические, крестьянские и национальные, центральные и локальные. Нечто подобное – при всех оговорках – мы можем видеть сегодня, и в этом как сила, так и слабость многих происходящих в обществе перемен. «Верховые» течения перестройки, исходящие из определенных представлений о положении страны в мире, оценки ресурсов и имеющихся возможностей, с трудом и довольно медленно вовлекают в движение нижние, более «вязкие» слои общества и аппарата. В то же время на социальной периферии быстро формируются и активизируются очаги активности, ориентирующейся прежде всего на «локальные» интересы. (Соотношение центра и периферии в данном случае, как и вообще при социологическом анализе общества, может не совпадать с соответствующими административными или географическими понятиями: речь идет о распространении универсальных образцов, интерпретации инициатив различного уровня.)

Едва ли не самой острой за последние месяцы стала проблема сочетания общегосударственных интересов с тенденциями национального самоутверждения. Межнациональная напряженность в ряде случаев, по-видимому, может считаться производной от этой, более общей проблемы. Если удастся эффективно сочетать пафос демократического обновления в центре и демократический потенциал национального возрождения на периферии, оба потока окрепнут и выиграют. Если дело сведется к противостоянию тенденций отторжения и сдерживания – проиграют обе, более того, неизбежно затруднится дальнейшее движение всего общества.

Различные течения «перестроечного» потока обладают своими скоростями, отсюда, между прочим, нарастающие опасения относительно «отставания» или «забегания вперед». Но может ли столь сложное, многокомпонентное движение происходить как одновременный акт или уподобляться мерно марширующей (после многочисленных репетиций) шеренге? Идолы слепой веры или универсального страха неизбежно рушатся раньше, чем формируются рамки нового общественного саморегулирования, соответствующие социальные и моральные контрольные механизмы. Социально-политические структуры столь же неизбежно теряют свою эффективность раньше, чем складывается достаточный консенсус относительно путей их реформирования; возможно, этим объясняются и непоследовательность, и торопливость некоторых начальных шагов такой реформы сегодня. Принципы радикальной экономической реформы, как известно, были декларированы до определения реальных условий ее осуществления. В общем и целом в данном отношении – вполне в соответствии с историческим опытом революционных переходов иных времен – процессы распада и демонтажа отживших общественных форм явно опережают утверждение новых, процессы разрушения происходят быстрее, чем процессы созидания и реконструкции.

Все это позволяет сопоставлять состояние общества в настоящее время с глубокой революционной ситуацией. Вряд ли, однако, правомерно рассматривать это состояние только под углом зрения классического соотнесения возможностей и стремлений «верхов» и «низов». Дифференциация общественных тенденций и взаимодействие их между собой значительно сложнее и в то же время менее явны, чем такое противопоставление.

Можно ли вообще строго-настрого разделить наше вчера еще как будто монолитное, а сегодня вздыбленное общество на «верх» и «низ» – не в смысле социально-номенклатурных статусов, уровней дохода и т.п., а в смысле реальной роли в

процессах преобразования? А потому насколько пригодно – тоже классическое – противопоставление революции «сверху» революции «снизу»? Видимо, в качестве методологической задачи социального анализа сегодня можно обсуждать не только способы исследования распространения и трансформации инициатив, исходящих как сверху, так и снизу, но и анализ потенциала самодвижения и самоорганизации процесса. В конечном счете именно с такими тенденциями оказываются связаны расчеты на могущество и необратимость всего процесса. При определенном его размахе (количественные параметры заранее трудноопределимы) он вовлекает в свое русло и превращает в собственные компоненты также и те элементы «верхов», «низов», «середины», которые при иных соотношениях сил составляли бы ресурс консервативного сопротивления. Конечно, это влияет на характер и направленность процесса.

Опыт давно показал, что вместе с основательностью исторического действия, вместе с ростом численности и многообразия вовлеченных в него сил растут сложность, противоречивость, многовариантность всего процесса. (Однообразие и простота возрастают только в процессах распада и разложения, деградации.) начальный этап перестройки получил практически единодушную поддержку (прямо-таки в традиционном стиле) не только потому, что завоевал симпатии едва ли не всех активных сил общества – при всей их неоднородности – в отрицании отживших порядков, но еще и потому, что ошеломил возможных оппонентов, к тому же здесь еще действовала аппаратная показная исполнительность. Сейчас было бы весьма интересно проследить, как трансформируется это первоначальное единение в сложное многообразие взаимосвязанных интересов определенных групп и течений, каждое из которых стремится придать свой оттенок или свой смысл одним и тем же лозунгам и резолюциям. В этом отношении минувший 1988 год чрезвычайно показателен. С большей или меньшей четкостью наметились за год

(или чуть больший период) многие размежевания и перегруппировки: старые и новые консервативные силы, осторожные и радикальные искатели новых путей, откровенные и прикровенные неосталинисты, сложные узлы новых движений и противоречивых попыток выяснить линии отношений с ними. В нашей посленэповской истории не было ничего подобного, да и более ранние стадии общественного формирования вряд ли были отмечены столь интенсивными процессами диверсификации общества.

Всякий процесс изменений, всякое движение обладают определенными признаками упорядоченности во времени – последовательностью фаз, периодов развития, состояний. Ни предписать, ни с точностью угадать размерность соответствующих отрезков развития заведомо нереально, и мы имели немало возможностей вновь в этом убедиться. Напряженные, мобилизующие периоды развития обязательно чередуются с относительно спокойными, инерционными, наподобие того, как в военных действиях наступательная активность чередуется с перегруппировкой сил, передышками и т.д. Но в отличие от «армейской» упорядоченности в общественную борьбу постоянно вовлекаются новые силы, принося с собой свои стремления и настроения, одновременно какие-то деятели и течения отходят на второй план. Отсюда сложно-пульсирующий ритм социального движения. В процессе, скажем, школьного обучения обязательно требуется закончить низший класс, чтобы перейти в следующий; в общественном процессе такой порядок ненаблюдаем и невозможен, хотя бы потому, что «школа» здесь строится вместе с процессом обучения.

Насколько применима для анализа ситуации сложного общественного перелома, наподобие того, участниками и исследователями которого нам удалось стать, классическая рамка соотнесения «сознательного» и «стихийного»? Та самая, что была неременной принадлежностью концепции общественного преобразования с начала столетия. Это всегда

была чисто модельная, типологическая конструкция, но притом весьма важная для исторически определенных представлений об обществе, сознании и стихии.

К стихийным факторам общественного развития относятся результаты множества массовых действий, совершаемых отдельными людьми или группами и целыми организациями, каждая из которых ориентирована на свои интересы, идеалы, символы. Идеал всеобъемлющей «сознательности» (идеологической ориентации) – монопольного обладания некоей истиной, которую требуется внести, «спустить» в массу, – принадлежит классическим концепциям просветительства и революционного рационализма. Это не просто теоретическая конструкция, но еще и, так сказать, историко-психологическая: за ней стоят реальные социально значимые настроения, ожидания и иллюзии, с одной стороны, и столь же реальное переживание миссии просветительства, даже определенное самоослепление со стороны «носителей факела».

Ни теоретическую конструкцию, ни психологическое состояние такого рода сегодня нельзя даже представить. Теоретическую модель или идею общественного процесса никак нельзя считать заданной в готовом виде, это тоже результат процесса, плод многочисленных приближений и поисков. В переоценке самого принципа абсолютного и самоослепляющего социального знания немалую роль сыграло характерное для бюрократического сознания отождествление монополии на должность с монополией на истину. Механизм рационализации социальных процессов смещается от административных структур и фарисейства «книжников» в сторону структур интеллектуальных, притом не только государственно оформленных (учрежденческих). Возникает плюралистическая ситуация, непривычная и с трудом принимаемая сегодня. В ней нет места упрощенному противопоставлению ортодоксии и инакомыслия. В этой ситуации независимость, критичность и многообразие мысли не просто «допущены» или «дозволены», но неизбежны и необходимы. Другое дело,

что интеллектуальный потенциал для такой функции сейчас недостаточен и еще должен создаваться.

Лидерство и поддержка

Один из результатов отсутствия строгой границы рациональности в обществе, отсутствия сословия или касты непогрешимо-бесстрастных жрецов социального рассудка в том, что волны увлечений и разочарований, подъемов и спадов настроения проходят по всем общественным слоям, и снизу вверх и сверху вниз, да и по всем возможным горизонтальным направлениям тоже.

С этим связаны и некоторые новые качества таких функциональных компонентов общественных движений, как лидерство и поддержка. (Обе эти функции явственно обнажаются в ходе социального разлома.) По-видимому, именно в сложной переломной ситуации впервые открываются возможности объективного анализа широкого спектра функций и направлений институционализации социального лидерства, которые до недавнего времени фигурировали преимущественно в мифологизированных формах «вождизма». В том числе анализа в исторической ретроспективе.

В нашей постреволюционной истории при относительно слабой институционализации функций управления (неразвитость правовых, законодательных и административно-распорядительских форм) и последовательном отрицании нормативных духовных структур традиционного типа («абстрактная» нравственность) чрезвычайно большая социально-практическая и идеологическая «нагрузка» сосредоточивается в руках лидирующей группы. Как известно, в структуре соответствующей организации сознания непременно фигурируют оппонирующие друг другу персонажи универсального инициатора и столь же универсального «козла отпущения»; по законам этого типа сознания они могут сравнительно легко меняться местами. Но в данном случае мифология или, до-

пустим, харизматология «вождизма» вторична по отношению к соответствующей социальной практике.

За период советского развития в стране были опробованы в разной мере такие варианты лидерских функций, как предъявление обществу нового социального образца, стабилизация внутригрупповых напряжений, мобилизация воли, персонализация социальной инициативы, исполнение символических и церемониальных ролей и т.п. В данном случае речь идет лишь о типах функций, а не об их конкретных носителях, качестве исполнения или источниках авторитета. В принципе однотипные функции могут исполняться разными лицами и, наоборот, в разные периоды одни и те же лица могут исполнять различные типы лидерских функций. (Понятно, что индивидуальные психологические, ментальные, нравственные характеристики отдельных лиц остаются вне рамок социологического анализа: его сфера – типология социальных функций и механизмов их реализации.)

Существенный интерес представляет сравнительное рассмотрение тех обстоятельств, которые приводят к выдвижению лидера определенного типа. В большей или меньшей степени сам лидер способен «организовывать» обстоятельства своей деятельности, как, впрочем, и любой человек, любой тип личности. Правомочность социологического исследования и воображения распространяется на выяснение типических, социально значимых форм связи между типом обстоятельств и типом деятеля. Определенные обстоятельства социальной деятельности (к ним можно отнести, например, ожидания и возможности) как бы «подбирают» адекватные лидерские функции и личности: в одной ситуации речь идет о способности видеть дальше других, в иной – о способностях организовать волю других или подчинить ее себе, выступить координатором действий. По-видимому, в любой ситуации и от любого типа лидера принято ожидать непреклонной уверенности в правоте собственных решений, несовместимой со скептической трезвостью ума. Возможно,

именно с этим связан известный сейчас эпизод 1923 года, когда попытка Ленина изложить свои сомнения в эффективности сложившегося механизма власти и контроля вызвала неприятие со стороны членов тогдашнего партийного руководства.

Для своего осуществления лидерские функции требуют определенной организации социального пространства, прежде всего группы ближайшей поддержки («непосредственное окружение», как иногда говорят), «идеологического сословия» и, разумеется, аппарата. Стоит еще раз подчеркнуть: речь идет не о лидерстве «вообще», а о тех его формах, которые стали реальными в конкретной постреволюционной ситуации нашей страны. Это, с одной стороны, социальный механизм поддержки лидера, с другой – механизм интерпретации и реализации его инициатив, от которого слишком много зависит в осуществлении власти в обществе при неразвитости соответствующих институциональных структур.

В последнее время структура отношений лидера с его непосредственным окружением довольно интенсивно обсуждается в исторической публицистике, преимущественно, правда, в негативном ключе – в связи с выяснением роли сталинского круга, приближенных Хрущева, Брежнева. Было бы, наверное, полезно перевести подобное обсуждение в более аналитическое русло, попытавшись выяснить, например, характер уравновешивания стимулов и сдерживающих моментов в лидерской группе, взаимные замещения индивидуальных функций коллективными и т.п.

Роль аппарата обычно рассматривается в рамках общей структуры общества (социально-политической, административной, бюрократической), но менее всего в связи с переходными ситуациями. Здесь существенны трансформации инструментальных функций аппарата в целеполагающие, а также изменения в нормативных структурах самого аппарата. Если он в явной форме превращается после Сталина в самодовлеющую силу общества, то примерно в то же время происхо-

дит переход от преимущественно негативных санкций, обеспечивающих его деятельность (страх наказания), к санкциям преимущественно позитивным (ожидание поощрения). Сила аппаратного управления всегда зиждется на возможности прямого командного воздействия на любые сферы и регионы общества, которое опирается на право назначения-снятия лиц, занимающих номенклатурные должности всех уровней. Здесь также происходит замещение негативных санкций (угроза снятия) позитивными (обещание продвинуть), причем обуславливается оно прежде всего необходимостью контроля качества, что не реализуемо негативными мерами. Но это замещение практически немедленно приводит к тому, что на первый план в деятельности аппарата выступает чисто внутренняя и самая могущественная из его функций – стремление к самосохранению. «Нормальные» его функции – проведение команд и обеспечение поддержки лидерства – неизбежно отступают на второй план, что означает, по существу, генеральный кризис аппарата и аппаратного властвования.

В переломный период – поскольку перелом осуществляется теми методами и в тех условиях, которые существуют сегодня, – на аппарат возлагаются две новые и противоположно направленные инструментальные функции: есть надежды через него и при его помощи реализовать по крайней мере первичные задачи социальной реконструкции, в том числе задачи демонтажа отживших структур; вместе с тем имеются и прямо высказывающиеся надежды через тот же аппарат по возможности затормозить, сдержать социальную реконструкцию. Первая из этих функций опирается на исполнимость аппарата, пусть неполную и отчасти показную, перед лицом власти вышестоящей. Вторая – на инертность аппарата, чьей доминирующей чертой было и остается самосохранение.

Особый теоретический и практический интерес имеет анализ тех трансформаций, которые неизбежно претерпевает в переломный период механизм массовой (то есть не специ-

фической, не аппаратной, не опирающейся непосредственно на инструментарий кадровой политики) поддержки. Этот механизм редко бывает простым. Его компоненты: привычка и доверие к институтам власти, харизма людей (этот термин, введенный в социологию М. Вебером, можно перевести – не совсем точно – как личный авторитет), идентификация с социальными и политическими идеалами общества, надежды на реализацию собственных интересов, страх. Все они подвергаются испытанию, переоценке, а отчасти и просто разрушению в условиях глубокого социального перелома. Здесь, по-видимому, тоже происходит как бы проявление различных скрытых компонентов механизма в переломной ситуации. Так, доверие к институтам и лидерской группе требует новых подкреплений и может существенно ослабнуть, если не найдет таковых. Безвозвратно уходит в прошлое функция страха как некоего универсального регулятора социального поведения (о сфере действия уголовного законодательства речь не идет). Отметим, что универсальность такого регулятора предполагала универсальность источников постоянного и повсеместного устрашения: не только всемогущие карательные органы, имевшие отдаленное отношение к системе правосудия, но бесчисленные органы коллективного самосуда, готовые жестоко карать любое отклонение от общего стандарта поведения и мысли. Крушение этой регулятивной системы, все еще находящей своих плакальчиков, оставило глубокую брешь в механизме поддержки традиционного образа.

Не менее серьезна утрата или по меньшей мере существенная переоценка массовой идентификации с признанными общественными идеалами и ценностями – иными словами, слепой веры в праведность официально признанных и соответственно в неправедность официально отринутых ориентаций. Вряд ли в какой-нибудь период нашего развития этот фактор был всеобщим по своему действию. Преимущественная сфера его действия – слой или когорта активистов, вы-

движенцев 30-х и более поздних годов, то есть пореволюционной эпохи. Нет сомнения, что он играл значительную морально-психологическую роль в период формирования основных механизмов советского общества, в частности, как компенсация и подкрепление того же дисциплинирующего устрашения. Если удастся методами актуального и ретроспективного социологического исследования восстановить достаточно строго историческую картину трансформации регулятивных систем в обществе, вероятно, можно будет аргументированно рассматривать тот переход, о котором сегодня судим предположительно, – от слепой массовой веры к более рациональному, а значит, более критичному, более «расчетливому» восприятию человеком социальных (официально провозглашаемых) ценностей в соотношении с собственными, индивидуализированными интересами и ценностями отдельных людей и групп. Как бы ни оценивалось такое смещение, с ним нельзя не считаться, как нельзя не видеть, что оно выражает одну из самых фундаментальных характеристик современного общественного перелома: тенденцию к подлинной нормализации всей системы общественных интересов и регуляторов.

По способу своего формирования и действия такие механизмы поддержки, как всеобщий страх и слепая вера, – факторы чрезвычайные и временные, рассчитанные на исключительные ситуации и соотношения сил. Оказавшись довольно длительным, такой период в нашем обществе не приобрел признаков нормальной устойчивости. Чрезвычайная ситуация по определению не воспроизводит свои собственные предпосылки и ресурсы, рано или поздно она исчерпывает их и разрушает основы собственного существования.

От «монолита» к плюрализму: какому?

Не так давно вошедшая в наш идеологический обиход проблема плюрализма применительно к советскому обществу может обсуждаться с разных сторон: соответствия классическим моделям социализма, правовых аспектов регулирования и т.д. В данном случае оправданным кажется подход к проблеме с, так сказать, историко-практической стороны. Думается, пора внимательнее присмотреться к тому, какими путями за немногие годы и месяцы практически складывается некоторая плюралистичность, признанная или непризнанная и даже осознанная или неосознанная, и уже отсюда, опираясь на небольшие, разрозненные элементы такого опыта, подходить к анализу перспектив и оценкам общего порядка.

Примечательная особенность современного этапа общественных перемен в том, что на поверхность выступает непривычное и противоречивое множество заявленных интересов, взглядов, мнений. Проще всего отнести наблюдаемое многообразие к проявлениям долгожданной гласности или к реальным возможностям конституционной свободы слова. Но ограничиваться констатацией видимого на поверхности, конечно, недостаточно. За словами стоят мнения, за мнениями – интересы, за интересами – определенные социальные институты и группы (это упрощенная цепочка связей, но пока она достаточна). Происходит нечто гораздо большее и более серьезное, чем «просто» разнообразие голосов, нарушающих привычный стиль «хорового» единогласия. Происходит никем не расписанный по месяцам, но на деле довольно быстрый процесс разрушения монолитной и моноцентрической модели общества и формирование – уже не столь быстрое – некоторой иной, но непременно плюралистической и полицентрической.

О неэффективности первой из них написано сегодня довольно много, отметим лишь некоторые главные моменты. «Монолитная» схема общества, достаточно долго реализо-

ывавшаяся у нас, показала себя неэффективной, нединамичной, противоположной напряженному труду и творческому поиску. Беда моноцентризма неизменно в том, что, концентрируя власть, ответственность и инициативу на вершине социальной пирамиды, он не только лишал инициативы и ответственности все «нижележащие этажи», но и сам центр общества обделял собственно «центральными» функциями, низводя его деятельность до административной текучки. Пусть с большим историческим опозданием, но необходимость преодоления такой модели наконец признана. И о том, что это не прихоть, не милость, не уступка критическим или центробежным тенденциям, а именно необходимость дальнейшего движения общества, говорят сегодня многочисленные, иногда робкие или противоречивые сдвиги в сторону реального плюрализма.

Отметим вновь одно методологически важное обстоятельство. Не об одном лишь плюрализме суждений и мнений идет речь (если ограничиться только этой плоскостью, неизбежно возникает и приобретает неразрешимый вид проблема «дозволенного» и «недозволенного», рамок, критериев и т.п.). В основе свободы мнения и слова должно лежать развитие самостоятельности общественных групп, объединений, личностей, разделение властей, автономии культур и регионов – иначе говоря, активность всего многообразия социальных институтов и структур.

О каких реальных шагах и сдвигах здесь можно говорить сегодня? Начнем с самого простого и как будто очевидного: существует с большим трудом завоеванная, все еще оспариваемая и никаким юридическим актом не закреплённая возможность самостоятельных и критических суждений печати (точнее, средств массовой информации) о жизни общества и деятельности государственных институтов. Что бы ни говорилось об ограниченности или, предположим, неточности отдельных выступлений, главное не в них и даже не в сумме всех известных и могущих иметь место выступлений печати.

Принципиальная возможность ее активной и критической позиции, это едва ли не самое крупное завоевание процесса перестройки, – определенный шаг к формированию прессы как особого социального института и становлению реального общественного мнения, тоже как социального института общества.

За последние год-два на арену общественной жизни несколько раз (а если учитывать и выступления локального значения, то гораздо чаще) выходили широкие общественные движения, имевшие целью добиться отмены или изменения тех или иных официальных решений. Вспомним наиболее известные и успешные: борьба против проекта поворота северных рек, кампания протеста против ограничений подписки на 1989 год, выступления против «излишеств» антиалкогольного законодательства, акции экологического порядка. Независимо от направленности и судеб отдельных движений и инициатив все они в контексте и на фоне общественного перелома – признаки появления реальной институционализированной общественности, способной организовываться вокруг определенных интересов и выступать в качестве социальной силы. Конечно, преувеличивать значение этой силы никак нельзя, но нельзя и не замечать ее, не считаться с ней.

Необходимость плюрализации социальных институтов нашла свое выражение и в ряде официальных документов, например, в известных мерах по изменению конституционных норм. В конечном счете даже первые шаги к разделению законодательной и исполнительной власти, государственной и партийно-политической, к большей независимости судов, увеличению правомочий электората и т.д. – все то же признание необходимости перехода к плюрализму социальных структур.

Возьмем, наконец, наиболее противоречивую и (пока) наименее официально признанную сферу общественных новообразований: формирование самодетельных обществен-

ных организаций и движений разного масштаба и разной направленности – от экологических до национальных, от благотворительных до политических. Вероятно, ими охвачено лишь несколько процентов населения в союзном масштабе, но в ряде регионов значительно больше. Нет нужды в данном случае обсуждать плюсы, минусы и противоречия отдельных организаций такого рода. Важно отметить, что это формы организации определенных общественных интересов, иногда и массовых. Кроме того, это противоречивая, но, возможно, перспективная модель активного сотрудничества беспартийных и партийных, молодежи и ветеранов, атеистов и верующих под лозунгами социалистического общественного обновления.

Вне такой активности трудно представить себе и перестройку функций и образа деятельности самой партии, которая несет колоссальный груз ответственности за осуществление наиболее рационального и наименее болезненного перехода к принципиально новой модели социалистического общества.

В любой открытой дискуссии последних месяцев, как правило, возникает проблема судеб партии или в более широкой постановке судеб партийной организованности самого общества. Обсуждаются различные варианты, иногда грешащие доктринерством и надуманностью: например, относительно формирования фракций, параллельных или альтернативных партий, а с другой стороны – об усилении идеологической борьбы и возвращении к авторитарно-монолитным образцам отношений партии с обществом.

Сегодня труднее, чем когда-либо, отрицать открытость и непредсказуемость (по крайней мере потенциальную) путей социально-политического развития. Внимательный анализ накопленного за последний период опыта может помочь оценке некоторых вариантов, особенно если это не просто итог некой суммы запланированных мероприятий, а реальный результат целых серий изменений, лишь отчасти соот-

ветствующих чьим бы то ни было замыслам. Не правомерно ли, например, видеть в многообразии сегодняшних общественных организаций, инициатив, движений одну из найденных «самой жизнью» форм организации общественной активности, характерной для переломной эпохи? Ведь эта форма (или это многообразие форм) не является ни простым продолжением («рычагом», «приводным ремнем») партийно-государственных структур, какими являются формальные – во всех смыслах этого термина – массовые организации населения, ни оппонентом или альтернативной партией; да и сама партия не обречена на участь оппонента общественных движений. Скорее всего здесь перед нами некоторая практическая, хотя и недостаточно испытанная форма реального сотрудничества и реального диалога общественности с властью и власти с общественностью, прежде всего с ее наиболее интеллигентными слоями и с молодежью.

Время и опыт покажут, какие из возникающих сегодня форм общественной самоорганизации могут стать долговременными, а какие останутся однодневками, побочными и переходящими продуктами социальных и политических перемен.

Как известно, сегодня наибольшая активность общественных движений со всеми их сильными, слабыми и противоречивыми особенностями сосредоточена на периферии общества (опять-таки не в географическом, а в социологическом смысле), и в сфере их влияния оказываются прежде всего проблемы как будто регионального или локального порядка: национально-республиканские права, местно-экологические требования. Именно на этих линиях сконцентрировано сегодня наибольшее «число» (если здесь возможны количественные измерения) противоречий, нетерпения, напряженности, открытых и потенциальных конфликтов. Здесь и самая серьезная угроза превращения наметившегося общественного диалога в тяжелый конфликт. Тем более что именно здесь области наибольших эмоциональных напряженностей,

которые иногда имеют экономические или демографические основы (та же миграционная проблема в Прибалтике), иногда же коренятся в исторических или психологических глубинах этнического самосознания. В принципе тут нет чего-то абсолютно неожиданного: при любых общественных потрясениях, тем более глубоких, теряют свою действенность старые запреты и регуляторы социального поведения и социальных страстей, в результате выходит или, скажем, выплескивается на арену социальной жизни все то, что копилось в течение длительного времени и готово было выйти. Обществу сегодняшнему предъявляются его собственные застарелые проблемы, как бы исторически отложенный спрос.

Конечно, это не единственно возможный и не полный способ объяснения «периферийных» приоритетов в современных общественных движениях. В нынешней ситуации сказывается и очевидное отставание темпов движения «центра» от темпов развития «периферии».

Минувший год показал, насколько сложно избегать крайностей в предъявлении взаимных счетов даже тогда, когда такие «счета» могут быть исторически обоснованы. Показал он и то, что административно-командные меры (в том числе и административно-комендантские) порой пригодны для устранения конфликтов «на площадях», но никак не для их принципиального разрешения.

Нет и не может быть «плюрализма для плюрализма», не должно быть плюрализма показного, равно как и устрашающего. Вообще говоря, плюрализация общества не самодовлеющий процесс, а лишь один из необходимых признаков формирования той общественной модели, которую еще в XVIII веке стали называть *гражданским обществом*. Гегель считал его признаками развитие «посредующих» общественных интересов и видов деятельности, располагающихся между семьей и государственной властью. Именно неразвитость таких образований (по его же мнению) служит основой деспотизма. Умозрительная модель гражданского общества,

формирующегося в переломах и противоречивых сдвигах нашего развития, в соответствии с социально-историческими традициями вряд ли может быть эффективной. Точно так же вряд ли могут быть эффективными заранее определяемые рамки и допуски: в конечном счете и критерии, и рамки определить и выверить может лишь само это развитие.

Точки отсчета

Не столь просто припомнить, занимало ли в какие-то времена и у каких-то народов такое место в формировании активно-политического самосознания «сведение счетов» со своим собственным прошлым, а точнее – с собственным историческим мировоззрением. Напряженная дискуссия о деятелях, альтернативах и иллюзиях нашего близкого и неблизкого прошлого не просто элемент общественной атмосферы, но исключительно важное средство отрезвления общества на всех его уровнях, способ осознания собственного места в координатах социального пространства и времени.

В анализе результатов «исторической» дискуссии существенно отличать происходящее на поверхности – прежде всего на страницах массовых изданий – и более глубокие изменения на уровне ценностей фундаментального порядка. Сомневаться в наличии таких перемен не приходится.

Прежде всего наблюдается очевидная десакрализация исторического процесса становления современного советского общества. Во всех своих периодах его история предстает как результат борьбы и поиска, а не как плод осуществления заранее изложенных предначертаний. Исторические деятели неизбежно, притом без какого бы то ни было исключения, лишаются ореолов непогрешимости (или их мифологических «негативов») и начинают осознаваться как реальные персонажи во всем многообразии своих социальных и человеческих качеств. (Правда, подобные сдвиги сегодня легче обнаружить в массовом споре, чем в трудах профессиональных

исследователей, где все еще в ходу схемы противоборства героев и злодеев, «восхождения к сияющим высотам» и т.п. Но они несомненно происходят на глубинных пластах общественного сознания.)

На глазах теряет смысл и авторитет долго вводившаяся в привычку утешительная модель мирового исторического процесса и места в ней социалистических движений и революций. Знакомые нам попытки провозглашения новой – и даже завершенной – человеческой цивилизации оказались не только утопическими по самой своей методологии. В них присутствовал, по-видимому, и сугубо прагматический момент, который не всеми осознавался: попытка собственную изолированность и отсталость возвести в ранг исторического преимущества.

В данном случае нет возможности вдаваться в проблематику хотя бы основных принципиальных аргументов, поэтому ограничусь только одним соображением. Известно, что на последних страницах итоговых работ Ленина обсуждалась постановка вопроса о возможностях «иногo перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах». Да и в более ранних работах лидер русской революции неоднократно рассматривал и марксистскую теорию и революционную практику в контексте «столбовой дороги» мирового прогресса. В этом контексте складывались движения и ценности демократии, гуманизма, социализма нового времени. Можно предполагать, что реальная перспектива более полного и прочного «возвращения» на эту дорогу связана не с конфронтациями, а с налаживанием принципиального диалога между культурными и социально-политическими традициями на едином пути цивилизации и прогресса.

Языком такого диалога могут быть лишь общие ценности. Сегодня о них чаще всего вспоминают под прицелом «довлеющей дневи злобы»: всемирных экологических, ядерных и прочих угроз. Тем самым обращение к ценностям цивилиза-

ции приобретает видимость некоего сверхдипломатического императива выживания человечества. Возникает даже не вполне безобидная иллюзия, будто над обособленными и противостоящими системами можно просто надстроить некую крышу и укрыться под ней от глобальных опасностей. Но ведь нельзя выжить, спастись от ядерной или голодной смерти «любой ценой», с помощью одной лишь дипломатии или вернувшись к «пещерной» простоте бытия. «Простое» выживание может быть лишь результатом, итогом очень сложного процесса, плодом высших достижений человеческой цивилизации: и научной, и технологической, и социальной, и экономической. В числе этих достижений – принципы гуманизма, демократии, свободного развития личности; к их числу относятся и принципы рационального хозяйствования, экономических институтов нового времени, парламентаризма, разделения властей...

«Историческая» дискуссия, о которой идет речь, переосмысливает наше положение во времени и пространстве, но еще не изменяет его. Как бы мы сегодня или послезавтра ни оценивали те или иные повороты или альтернативы общественных судеб, реальная точка отсчета – здесь и теперь. Именно здесь находится тот «Родос», откуда, как любил выражаться Маркс, приходится «прыгать». Переосмысление прошлого нужно, чтобы вернее рассчитать этот «прыжок».

«Коммунист» № 2. 1989 г.

**ИЗ ПИСЕМ читателей
в ответ на публикацию анкеты в
«Литературной газете» 1 марта 1989 г.***

* * *

Никогда раньше не писала в газету, но эта анкета не дает мне покоя. Оказывается, есть еще у нас где-то «там» – «в верхах» – интересующиеся мнением простых советских людей... Конечно, 3-5 лет назад эта анкета попросту и не смогла бы появиться в печати, но тем не менее чувствуется, что люди составляющие эту анкету, равнодушны к судьбе своего народа, хотят изменений к лучшему, чуть не написала «к судьбе перестройки», но так заездили эту фразу, не подкрепленную реальными делами, что она уже режет слух.

I и II год я тоже верила в перестройку, но мой оптимизм лопнул, как мыльный пузырь.

9917

* * *

... Сейчас мы многое узнали о Хрущеве, лучше о нем стало мнение, чем было. Но лично я очень помню очереди за хлебом, а старшее поколение почему-то вспоминает сейчас порядок при Сталине, которого, якобы, не хватает. Я, конечно, зная много о деятельности Сталина, не могу его порядок принять, но и доказать им, что Хрущев был лучше, тоже не могу, они помнят кукурузу и то, что не было в достатке хлеба...

Ташкент, домохозяйка, высшее образование

* Приложение 1 в книге «Есть мнение!»

авт. коллектив: А.А. Голов, А.Н. Гражданкин, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая, Ю.А. Левада (руководитель), А.Г. Левинсон, Л.А. Семенов, Л.А. Хахулина // М. – 1990.

* * *

... Какая демократия, какое участие в жизни, если человек боится потратить больше 50 копеек на обед, проезд в маршрутке – большая растрата и т.д. (...) даже одного ребенка тяжело поднимать, а если двое? Вот и получается, что на нас, 50-летних, и заботы о старых родителях и необеспеченных детях. (...) Нельзя допускать, чтобы молодое поколение стало равнодушным ко всему происходящему в стране, устало от «мелочей» бытия, от которых устали мы. (...) Жаль, что такое анкетирование не проводит газета «Правда» или «Известия».

7334

* * *

Хочу выразить свое отношение к кооперативному движению. Когда читаешь газетные публикации по этому вопросу, вроде бы всё становится ясно. Но когда видишь молодых, здоровых парней, сидящих в платных туалетах и получающих по 250-300 руб. в месяц, то становится совершенно ничего не ясно.

7987

* * *

Мою семью и многочисленных друзей возмущает и раздражает бесконечная болтовня о кооперативах, об их конкуренции и т.д. Нельзя образовывать, как сейчас, бесконечные кооперативные кафе и рестораны при полном отсутствии продуктов в магазинах. Это издевательство над большей частью населения, вызывающее значительное недовольство, хотя по телевидению это выдают за благо для народа!

Ленинград. 9523

* * *

Мы перешли на хозрасчёт. Вернее предприятие. (...) Суть дела свелась к тому, что руководителю предприятия, нормировщикам, мастерам ставится одна задача – заплатить рабочим как можно меньше. А сэкономленные средства получить в виде премии. Себе побольше, а рабочим по 20-30 руб.

Днепродзержинск. 213

* * *

... Наиболее важная причина наших бед (а мы находимся в беде, это несомненно), как я думаю, – это бронированные бастионы бюрократии на высоких берегах и низкий уровень нравственных качеств партийных и советских работников...

Башкирская АССР. 8598

* * *

В выступлениях М.С. Горбачёва, а затем в публикациях писем часто приходилось слышать о том, что «наша» партия первой, мол, начала перестройку. Мне кажется, что это похоже на то, будто извозчик привез клиента в тупик, а затем хвастливо говорит: «Я первым заметил, что не туда приехали»...

Помощник бурильщика. Днепропетровск.

* * *

Выражаю свое мнение по поводу наследия сталинизма... Да было много ошибок, но не было взяточничества, мафий, воровства, коррупций. Из сталинизма вышли люди с идейным пафосом, трудолюбием, преданные, имевшие Советское лицо...

0144

* * *

Я считаю, что партия, признав ошибки и преступления, должна стать подлинно общественной организацией, не имеющей разветвленного аппарата и особых условий для жизни. Райкомы, обкомы должны стать общественными организациями, а партийная работа – общественной. Тогда перестанет быть проблемой ротация кадров, партийный актив станет подлинным, а не назначенным, исчезнет мощный и власть имущий слой партбюрократов...

Киев, научный сотрудник, 50-59 лет.

* * *

Нужно справедливое решение национального вопроса хотя бы в одном из перечисленных ниже случаев: а) еврейский, б) немецкий, в) крымские татары, г) Нагорный Карабах, д) предоставление большей самостоятельности Прибалтийским республикам.

Куйбышев, 30-39 лет, высшее, экономист-бухгалтер.

* * *

Я считаю, что притеснения происходят от русской национальности к остальным народностям, и в этом убеждался не один раз. Обзовут в любом месте, да вдобавок считают себя выше всех остальных, а это ни к чему хорошему не приведет. А по моим наблюдениям, русская нация потихоньку спивается, так что есть над чем призадуматься.

Бурятская АССР, грузчик.

* * *

Мне 57 лет, и пишу я впервые, потому что не могу молчать. Я живу в Риге 35 лет. Всякое бывало, но то, что теперь происходит, можно сравнить с тем, что происходило в Германии, когда Гитлер пришел к власти. В Риге русскоязычного населения проживает больше 50%, а кто прошел в депутаты? И хотя, зная настроение, русских, живущих в Латвии,

как бы они не проголосовали – депутатами будут избраны латыши. И это официальная политика руководства республики, а что говорить о бытовом национализме, когда только и слышишь: «Русские – убирайтесь домой». Вот теперь спрашиваю, кому нужна такая свобода, такая «демократия» и гласность? Сколько можно издеваться над русским народом? И в этом виноват М.С. Горбачев...

Рига, работница кооператива.

* * *

... Народ рукоплескал всем предыдущим руководителям. Верил в каждого из них. И, в тоже время, одного – боялся, над другим – посмеивался, над третьим – открыто смеялся, но, так сказать, в «узком кругу». Но только сейчас, наверное, дошло, что не до смеха было...

8807

* * *

Горько, стыдно и обидно за свой народ, свою нацию. До каких пор будем петь дифирамбы нынешним руководителям, а после их смерти лить на них грязь? (...) Перестройка – очередная авантюра, открытая спекуляция. В государство, партию не верю! Подлинной свободы нам не видать, зато анархии расплодилось предостаточно. Везде слова, слова, слова! Дел нет.

Преподаватель средней школы, Белгород.

* * *

Офицеры в воинских частях – трусы, лентяи и пьянчуги, отдают первогодников-солдат на звериный, бесконтрольный, безнаказанный произвол старослужащих. (...) В армии процветают дезертирство, самоубийство на этой почве. Возвращаются из армии озлобленные, морально и физически сломленные, искалеченные парни.

Москва, 69 лет, мужчина.

* * *

... Поступить «честью мундира» пришлось руководству страны: признать лишенной реализма и справедливости политику вмешательства во внутренние дела Афганистана. Война, хотя и проводимая под флагом интернационализма, была по сути экспортом революции, а в отношении к собственному народу просто преступлением.

Москва

* * *

Введенная сверху «демократия» воспринята определенной частью населения как разрешение к вседозволенности (не без оснований), обогащению любыми путями. (...) Убийства, грабежи становятся обыденным делом. (...) Поверьте, люди на земле (а не в заоблачных высотах) сейчас говорят о том, что жить стало опасно, что страшно, когда стихийные бедствия губят людей, но ещё ужаснее, когда убийцы и бандиты в человеческом обличье творят свои дела. Лично я именно в этом плане опасаясь за безопасность, здоровье и жизнь своих детей.

Москва, инженер, 40-49 лет.

* * *

Сильно развита критика прошлого. Где же критика настоящего руководства вплоть до Горбачёва? Или на прошлое у нас глаза развязаны, но глядя на новое, глаза завязывают?

10151

* * *

Не бейся головой о стенку!
Не рви на себе волосы!
Наш народ власти не верит, но любит её!
И всё готов ей отдать: любит!
И ничего у неё не брать: не верит!
А наша власть свой народ не любит – но верит в него!
И всё готова у него взять: верит!
И ничего ему не давать: не любит!
И познает себя народ через власть, а власть – через народ...
Наш народ в себя верит – но себя не любит.
А наша власть себя любит – но в себя не верит.
Много глупостей может народ сотворить без раздумий.
Много других он за это получит от власти в ответ.

«Новая газета», 2001 г.

Библиография работ Ю.А. Левады
(1965 – 2008 г.г.)
социология, философия,
научная публицистика

Библиография составлена **А.В. Борисовым, С.В. Макаровым, Е.И. Серебряной** (руководитель) на основе брошюры:
Левада Юрий Александрович: Библиографический указатель. Литература за 1955 – 2008 г.г. – М., 2008. – 35 с.

Альберт Швейцер – мыслитель и человек // Вопр. философии. – М., 1965. – № 12. – С. 91-98.

Кибернетические методы в социологии // Коммунист. – М., 1965. – № 14. – С. 43-53.

Структурализм и историзм // Проблемы исследования систем и структур: Материалы к конференции / АН СССР. – М., 1965. – С. 150-154.

Социальная природа религии. – М.: Наука, 1965. – 263 с.

Church and state in Soviet society / Yu.A. Levada // Religions and the promise of the twentieth century. – N.Y.; Toronto, 1965. – P. 103-128.

Международный коллоквиум по социологии религии в Иене // Вопросы научного атеизма: Сб. – М.: Мысль, 1966. – С. 400-406.

Вера в человека [В связи с опубликованием филос. работы франц. ученого Тейяра де Шардена «Феномен человека»] // Наука и религия. – М., 1966. – № 10. – С. 26-28.

Сознание и управление в общественных процессах // Вопр. философии. – М., 1966. – № 5. – С. 62-73.

Человек, кибернетическая машина, общество (тезисы) // Человек в социалистическом и буржуазном обществе: Матер. симпозиума. – М.: Знание, 1966. – Вып. 1. – С. 108-110.

Mensch und Technik in der Welt von Heute / **Ju.A. Lewada** // Kommunitat. – В., 1966. – Н.38. – S. I-VIII.

Some problems of modeling in sociology: Rapport for VI Inter Congress of Sociology / Y. Levada. – М., 1966. – 9 p.

Альберт Швейцер – мыслитель и человек // Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером / Пер. с нем. Шапиро В.Я.; Отв. ред. Левада Ю.А. – М.: Наука, 1967. – С. 3-12.

Нормы социальные; Общество; Рай // Философская энциклопедия: В 5 тт. – М.: Сов. энцикл., 1967. – Т. 4. – С. 98-99; 120-123; 462.

Выступление по поводу доклада В. А. Ядова; Ответы на вопросы // Методологические проблемы исследования массовой коммуникации: Материалы встречи социологов, I. Кяярику – 1966 / Тарт. гос. ун-т; Ред. сб.: Вооглайд Ю.В. (гл. ред.) и др. – Тарту, 1968. – С. 122-164, 179-183.

[Выступления] // Ценностные ориентации личности и массовая коммуникация: Материалы встречи социологов, II. Кяярику – 1967 / Тарт. гос. ун-т; Ред. колл.: Вооглайд Ю.В. (гл. ред.) и др. – Тарту, 1968. – С. 23-38, 160-180.

Некоторые проблемы системного анализа общества в научном наследии К. Маркса // Маркс и социология. – М., 1968. – (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Материалы и сообщения. № 3). – С. 75-84.

О задачах и проблемах использования количественных методов в социологии / Левада Ю.А., Шубкин В.Н., Гаврилец Ю.Н. // Количественные методы в социальных исследованиях: Материалы совещания, Сухуми 17-20 апр. 1967 г. – М., 1968. – (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Материалы и сообщения. № 8). – С. 56-73.

Spoleczna natura religii / J.A. Levada. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. – 354 s.

Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки / Отв. ред. Гулыга А.В., Левада Ю.А. – М.: Наука, 1969. – С. 186-224.

Лекции по социологии. – М., 1969. – 117 с. (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Метод. пособия. № 5 (20)).

Содерж.: Предмет социологии; Особенности социологической точки зрения; Общество как система; Общество и культура; Социальная структура и социальные группы; Социальная структура и группы. Малые группы.

Лекции по социологии. – М., 1969. – Вып. II. – 181 с. – Библиогр.: с. 175-179. (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Метод. пособия. № 6 (21)).

Содерж.: Социальная структура личности; Личность и социальные роли; Социализация личности; Ориентации личности; Социальные действия и социальные процессы; Социология и демография; Процесс урбанизации; Общество и наука; Наука и общество.

Старомодность и современность Альберта Швейцера // От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела: (Проблемы соврем. бурж. гуманизма и свободомыслия). – М.: Мысль, 1969. – С. 141-157.

[Редактирование:] Структурно-функциональный анализ в современной социологии: Сборник / Отв. за вып. Левада Ю.А., Седов Л.А. – М., 1969. – Вып. 2. – 198 с.: табл. (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. № 38 (23)).

A vállas társadalmi természetete / J. Levada. – Budapest: Kossuth Könyvkiado, 1969. – 315 о.

Проблемы использования количественных методов в социологии / **Гаврилец Ю.Н., Левада Ю.А., Шубкин В.Н.** // Моделирование социальных процессов. – М.: Наука, 1970. – С. 17-28.

Структура социальная; Традиция; Управление; Фашизм // **Философская энциклопедия: В 5 тт.** – М.: Сов. энцикл., 1970. – Т. 5. – С. 142-144; 253; 282-285; 304-308.

Христианство / **Аверинцев С., Левада Ю.** // **Философская энциклопедия: В 5 тт.** – М.: Сов. энцикл., 1970. – Т. 5. – С. 451.

Странный мир массовой культуры // **Иностр. литература.** – М., 1971. – № 11. – С. 241-248.

Social structure, social stratification and mobility in the USSR // **Yuri Levada** // International journal of sociology. – White Plains, N.Y. 1973. – Vol. 3, № 1-2. – P. 3-9.

Урбанизация как социокультурный процесс / **Долгий В.М., Левада Ю.А., Левинсон А.Г.** // Урбанизация мира. – М.: Мысль, 1974. – (Вопр. географии. Сб. 96) – С. 19-31.

К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации / **Долгий В.М., Левада Ю.А., Левинсон А.Г.** // Урбанизация и развитие новых районов / ЦЭМИ АН СССР. – М., 1976. – С. 25-37.

Почему дороги ведут в Рим: Размышления о социокульт. модели – или, на старомод. лад, о «душе» – города // Знание – сила. – М., 1976. – № 4. – С. 24-27.

О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориал. аппарата) // Системные исследования: методол. проблемы: Ежегодник, 1979. – М.: Наука, 1980. – С. 180-190.

Социальные рамки экономического действия // Мотивация экономической деятельности. – М., 1980. – (Сб. тр. / ВНИИ систем. исследований. Вып. 11). – С. 79-85.

Проблемы экономической антропологии у К. Маркса // Экономика и общество: (Истоки и соврем. проблемы маркс. методологии исследования соц.-экон. развития). – М., 1983. – (Сб. тр. / ВНИИ систем. исследований. Вып. 8). – С. 86-97.

Норма // Философский энциклопедический словарь / Ред. колл.: Аверинцев С.С. и др. – М.: Сов. энцикл., 1983. – С. 441-442.

Ритуал // Философский энциклопедический словарь / Ред. колл.: Аверинцев С.С. и др. – М.: Сов. энцикл., 1983. – С. 585.

Игровые структуры в системах социального действия // Систем. исследования: методол. проблемы: Ежегодник, 1984. – М., 1984. – С. 273-293. – Библиогр.: с. 292-293.

Культурный контекст экономического действия // Проблемы системного анализа развития культуры. – М., 1984. – (Сб. тр. / ВНИИ систем. исследований. Вып. 4). – С. 11-17.

1953 – 1964: Почему тогда не получилось? / **Левада Ю., Шейнис В.** // Моск. новости. – М., 1988, 1 мая. – № 18 (408). – С. 8-9.

Где взять второе дыхание: Актуальный диалог с участием третьего / **Левада Ю., Шейнис В.** // Сов. культура. – М., 1988, 3 мая. – № 53 (6465). – С. 3.

Через дискуссию – к делам! [Высказывания] / **Левада Ю., Лукин И., Попов Н.** и др. // Сов. культура. – М., 1988, 4 июня. – № 67 (6479). – С. 2.

Что дано и что еще нужно взять: О сб. «Иного не дано» / Беседа с Егоровым А. // Лит. газета. – М., 1988, 26 окт. – № 43 (5213). – С. 4.

«Похвальное слово» дефициту / **Левада Ю., Левинсон А.** // Горизонт. – М., 1988. – № 10. – С. 26-38.

Погружение в трясину: Акт первый: 1964 – 1968 / **Левада Ю., Шейнис В.** // Моск. новости. – М., 1988, 13 ноября. – № 46 (436). – С. 8-9.

Не подводя итогов // Моск. новости. – М., 1988, 25 дек. – № 52 (442). – С. 3.

Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений / **Гудков Л., Левада Ю., Левинсон А., Седов Л.** // Коммунист. – М., 1988. – № 12. – С. 73-84.

Zwykle sprawy / **O. Szkaratan, J. Lewada;** rozm. Goszczynski // Polityka. – Warszawa, 1988, 4.06. – № 23. – S. 10.

1953 – 1964: Почему тогда не получилось? / **Левада Ю., Шейнис В.** // Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии / Сост. Аксютин Ю.В. – М.: Политиздат, 1989. – С. 171-186.

Норма // *Философский энциклопедический словарь* / Ред. колл.: Аверинцев С.С. и др. – 2-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1989. – С. 428-429.

Ритуал // *Философский энциклопедический словарь* / Ред. колл.: Аверинцев С.С. и др. – 2-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1989. – С. 560.

Интеллигенция; Социология; Религия // *50/50: Опыт словаря нового мышления* / Под общ. ред. Афанасьева Ю., Ферро М.; Ред.-сост. Козлова Г. – М.: Прогресс; Париж: Пайо, 1989. – С. 128-131; 220-223; 260-262.

Какие ресурсы сегодня исчерпаны? // *Постижение: Социология. Соц. политика. Экон. реформа* / Ред.-сост.: Бородин Ф.М. и др.; Ред. Завьялова А.Н. – М.: Прогресс, 1989. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм). – С. 70-83.

Мера всех вещей / **Левада Ю.А., Ноткина Т.А.** // *В человеческом измерении: Выйти из королевства кривых зеркал...* / Под ред. Вишневого А. Г. – М.: Прогресс, 1989. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм). – С. 11-24.

Сталинские альтернативы // *Осмыслить культ Сталина* / Ред.-сост. Кобо Х. – М.: Прогресс, 1989. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм). – С. 448-459.

Динамика социального перелома: возможности анализа // *Коммунист.* – М., 1989. – № 2. – С. 34-45.

Размышления вслух: Об альтернативах нашей истории и нашего сознания, навеянные статьями совр. авторов и одной старой притчей // *Знание – сила.* – М., 1989. – № 2. – С. 11-17.

Вопрос – ответ – вопрос... Размышления за рабочим столом перед завершением избирательной кампании // *Моск. новости.* – М., 1989, 26 марта. – № 13 (455). – С. 8-9.

Феномен бюрократии в историко-социологической перспективе / **Гудков Л., Левада Ю., Левинсон А., Седов Л.** // *Мир. экономика и междунар. отношения.* – М., 1989. – № 4. – С. 57-61; № 5. – С. 71-80; № 6. – С. 83-91; № 7. – С. 73-77.

Реактивная отдача: Размышления через двадцать один год после двадцать первого августа 1968 года // Моск. новости. – М., 1989, 20 авг. – № 34 (476). – С. 7.

В это жаркое лето: Размышления социолога о некот. новых течениях в полит. жизни страны // Известия. – М., 1989, 31 окт. – № 305 (22843). – С. 3.

Да причем тут нарукавники! // Родина. – М., 1989. – № 10. – С. 92.

Отношение населения к бюрократии: Социол. исследование // Вопр. экономики. – М., 1989. – № 12. – С. 117-121.

Bureaucratism and bureaucracy: The need for greater precision / **L. Gudkov, Iu. Levada, A. Levinson, L. Sedov** // Soviet sociology: A j. of transl. – Armonk, NY, 1989. – Vol. 28, № 3.

The dynamics of a social turning point: Analytical possibilities / **Iu.A. Levada** // Soviet sociology: A j. of transl. – Armonk, NY, 1989. – Vol. 28, № 6. – P. 42-60.

Есть мнение! Итоги социол. опроса / **Голов А.А., Гражданкин А.И., Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Зоркая Н.А., Левада Ю.А.** и др.; Под общ. ред. Левады Ю.А. – М.: Прогресс, 1990. – 292 с.: схем.

О мотивационных структурах и социальных ресурсах общества // Социальные ресурсы и социальная политика / Отв. ред.: Шаталин С.С., Гребенников В.Г. – М.: Наука, 1990. – С. 6-13.

Консервативный синдром // Сов. культура. – М., 1990, 20 янв. – № 3 (6727). – С. 3.

Советский человек – эскиз портрета: Всесоюзный опрос обществ. мнения / **Левада Ю., Зоркая Н., Голов А.** и др. // Моск. новости. – М., 1990, 18 марта. – № 11 (505). – С. 11.

Что же дальше? Размышления о политич. ситуации в стране // Известия. – М., 1990, 10 апр. – № 101 (23004). – С. 3.

1990 год: наши надежды / **Голов А., Гражданкин А., Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н., Левада Ю., Седов Л.** // Огонек. – М., 1990, 7-14 апр. – № 15 (3273). – С. 1-2.

Голос народа: Социол. опрос о положении дел в партии / **Левада Ю., Гудков Л.** // Моск. новости. – М., 1990, 15 апр. – № 15 (509). – С. 7.

Кризис доверия: Главная проблема в ряду др. проблем перестройки // Моск. новости. – М., 1990, 27 мая. – № 21 (515). – С. 8-9.

Кто впереди? / **Гудков Л., Левада Ю.** // Огонек. – М., 1990, 16-23 июня. – № 25 (3283). – С. 1-2.

Исследование: Причины трудностей и ориентиры перемен / **Левада Ю.А., Седов Л.А.** // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 1 (3). – С. 6-8.

Исследование: Годовой баланс достижений и потерь / **Левада Ю.А., Голов А.А., Гудков Л.Д.** // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 6 (13). – С. 6-8.

Исследование: Вопросы месяца / **Левада Ю.А., Левинсон А.Г., Гражданкин А.И.** // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 8 (15). – С. 13-17.

Исследование: Вопросы месяца / **Левада Ю.А., Левинсон А.Г., Гражданкин А.И.** // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 13 (20). – С. 6-9.

Исследование: Вопросы месяца / **Левада Ю.А., Левинсон А.Г., Гражданкин А.И.** // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 14 (21). – С. 6-9.

Советский человек: становление гражданского самосознания: (По материалам всесоюз. опроса населения) // Человек. – М., 1990. – № 4. – С. 7-15.

Отречёмся от старого мифа / Беседа с Устюговым М. // Гудок. – М., 1990, 5 июля. – № 154 (19689). – С. 3.

В Кремле и «на улице» // Моск. новости. – М., 1990, 29 июля. – № 30 (524). – С. 4.

Что может отнять у общества «человек с ружьем» / **Левада Ю., Левинсон А.** // Моск. новости. – М., 1990, 9 сент. – № 36 (530). – С. 8-9.

Российский суверенитет: символы и реальность // Моск. новости. – М., 1990, 7 окт. – № 40 (534). – С. 8-9.

Революция: суд потомков / **Дубин Б., Левада Ю.** // Моск. новости. – М., 1990, 4 ноября. – № 44 (538). – С. 8-9.

Чего ждем и чего боимся // Моск. новости. – М., 1990, 9 дек. – № 49 (543). – С. 8-9.

Реформа власти: Верховный Совет покидает авансцену [Высказывания] / **Рыжов Ю., Старовойтова Г., Карпинский Л., Левада Ю.** и др. // Моск. новости. – М., 1990, 16 дек. – № 50 (544). – С. 8.

Союзный договор: вряд ли съезду удастся наверстать то, что упущено [Высказывания] / **Старовойтова Г., Ципко А., Гельман А., Левада Ю.** и др. // Моск. новости. – М., 1990, 16 дек. – № 50 (544). – С. 9.

Was sagt des Volkes Stimme / **Jurij Levada** // Perestrojka. Zwischenbilanz / Hrsg. von K. Segbers. – Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 1990. – S. 124-142.

Такой длинный год: К итогам социол. опроса // Моск. новости. – М., 1991, 6 янв. – № 1 (546). – С. 6.

Разведка боем... Что впереди – колумбийский вариант? [Высказывания] / **Яковлев Е., Богомолов О., Гельман А., Левада Ю.** // Моск. новости. – М., 1991, 17 февр. – № 7 (552). – С. 9.

Что будет после референдума? / **Заславская Т., Левада Ю.** // Комс. Правда. – М., 1991, 6 марта. – № 52 (20052). – С. 1.

Так проходит слава мирская: О смысле громких слов. Размышления над данными опроса // Моск. новости. – М., 1991, 24 марта. – № 12 (557). – С. 7.

Кого Юпитер лишает разума // Моск. новости. – М., 1991, 14 апр. – № 15 (560). – С. 3.

Сахаров: человек и легенда: Каким видит его сегодня общество. мнение / **Левада Ю., Левинсон А.** // Моск. новости. – М., 1991, 19 мая. – № 20 (565). – С. 8-9.

Человек и легенда: Образ А.Д. Сахарова в обществ. мнении // Авт. колл. под рук. Левады Ю. – М.: Информ. агентство Дата, 1991. – 32 с.

Тузы и валеты // Моск. новости. – М., 1991, 2 июня. – № 22 (567). – С. 7.

Главное событие XX века / **Гудков Л., Левада Ю.** // Моск. новости. – М., 1991, 23 июня. – № 25 (570). – С. 9.

И все-таки они нас не поняли: Размышления о связи времен по данным опроса накануне того самого августа // Моск. новости. – М., 1991, 22 сент. – № 38 (582). – С. 5.

Мы прожили год потрясений. Но все еще впереди: Реквием по союзу, которого нет / **Голов А., Дубин Б., Левада Ю., Левинсон А.** // Моск. новости. – М., 1991, 29 дек. – № 52 (596). – С. 6-7.

Секрет нестабильности самой стабильной эпохи / **Левада Ю., Ноткина Т., Шейнис В.** // Погружение в трясину: (Анатомия застоя) / Сост. Ноткина Т.А.; Ред.: Завьялова А.Н., Сазанович Н.К. – М.: Прогресс, 1991. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм). – С. 15-30.

Уходящая натура?.. // Знамя. – М., 1992. – № 6. – С. 201-211.

Destin de l'«home sovietique» / **Jouri Levada** // Un Etat pour la Russie. – Bruxless, 1992. – P. 95-104.

Die Sowjetmenschen: 1989 – 1991. Soziogramm eines Zerfalls / **Juri Levada.** – В.: Argon, 1992. – 336 S.

Векторы перемен: социокульт. координаты изменений // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1993. – № 3. – С. 5-9.

Динамика политической ситуации / **Левада Ю.А., Седов Л.А.** // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1993. – № 5. – С. 20-21.

Динамика общественно-политической ситуации // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1993. – № 6. – С. 22-25.

Статьи по социологии / Сост. Гудков Л., Дубин Б., Левинсон А. – [М.: Фонд Макаруров], 1993. – 192 с. – Библиогр. осн. работ Ю.А. Левады: 1955 – 1993: с. 190-192.

Содерж.: Время парадоксов: Социологические размышления; Традиция; Урбанизация как социокультурный процесс (в соавт. с Долгим В.М. и Левинсоном А.Г.); К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации (в соавт. с Долгим В.М. и Левинсоном А.Г.); О построении модели репродуктивной системы: (проблемы категориального аппарата); Социальные рамки экономического действия; Проблемы экономической антропологии у К. Маркса; Культурный контекст экономического действия; Игровые структуры в системах социального действия; Фашизм; Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений; Интеллигенция; Динамика социального перелома: возможности анализа; Советский человек и западное общество: проблема альтернативы.

Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х / **Голов А.А., Гражданкин А.И., Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А.** и др.; Отв. ред. Левада Ю.А. – М.: Мир. океан, 1993. – 300 с.: диагр.

Проблема интеллигенции в современной России; Заключение ведущего // Куда идет Россия?.. Альтернативы обществ. развития: Междунар. симпозиум, 17-19 дек. 1993 г. / Под общ. ред. Заславской Т.Н., Арутюнян Л.А. – М.: Интерпракс, 1994. – С. 208-214, 285-286.

Новый русский национализм: амбиции, фобии, комплексы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 1. – С. 15-17.

Общественное мнение в год кризисного перелома: смена парадигмы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 3. – С. 5-10.

Социально-политическая ситуация в России: март–май 1994 г. / Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А., Седов Л.А. // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 4. – С. 7-15.

Факторы и ресурсы общественного мнения в условиях «постмобилизационного» общества // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 5. – С. 16-19.

Элита и «масса» в общественном мнении: проблема социальной элиты // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 6. – С. 7-11.

[Запись выступления] // Российская социологическая традиция шестидесятых годов и современность / Под ред. Ядова В., Гратхоффа Р. – М.: ИС РАН, 1994. – С. 30-34.

Vectors of change: The sociocultural coordinates of change / **Iurii A. Levada** // Sociological research: A j. of transl. – Armonk, NY, 1994. – Vol. 3, № 4. – P. 22-34.

«Человек советский» пять лет спустя: 1989 – 1994 (предварит. итоги сравнит. исследования) // Куда идет Россия?.. Альтернативы обществ. развития: II Междунар. симпозиум, 15-18 дек. 1994 г. / Под общ. ред. Заславской Т.И. – М.: Аспект Пресс, 1995. – С. 218-229.

«Человек советский» пять лет спустя: 1989 – 1994 (предварит. итоги сравнит. исследования) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 1. – С. 9-14.

Между авторитаризмом и анархией: росс. демократия в глазах обществ. мнения // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 2. – С. 7-12.

Три «поколения перестройки» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 3. – С. 3-7.

Факторы переменные и постоянные: свод. мониторинг 1994 – 1995 гг. // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 5. – С. 7-12.

Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблемы методологии анализа // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 6 (20). – С. 14-18.

Democratic disorder and Russian public opinion. Trends in VCIOM surveys, 1991-95 / **Juri Levada** // Studies in public policy. – Glasgow, 1995. – № 255. – P. 4-23.

Социально-пространственная структура российского общества: центр и регионы // Куда идет Россия?.. Соц. трансформация постсов. пространства: III Междунар. симпозиум, 12-14 янв. 1996 г. / Под общ. ред. Заславской Т.И. – М., 1996. (На обл.: Труды Интерцентра, III). – С. 276-285.

Стряхнув академическую пыль // Встреча с Декартом: Филос. чтения, посвящ. М.К. Мамардашвили, 1994 г. / Сост. ред.: Кругликов В.А., Сенокосов Ю.П. – М.: Ad Marginem, 1996. – С. 436-438.

«Научная жизнь – была семинарская жизнь» // Социол. журнал. – М., 1996. – № 3/4. – С. 236-245.

Российский избиратель между двумя крайностями // Известия. – М., 1996, 28 мая. – № 97 (24704). – С. 2.

Три четверти избирателей собираются голосовать // Известия. – М., 1996, 25 июня. – № 116 (24723). – С. 2.

Лидеры и аутсайдеры // Власть в России: Президент, парламент, правительство, регионы: Вестник РИА «Новости». – М., 1996, 23 мая. – С. 7-8.

Финалисты определены, марафон продолжается... Итоги первого и прогнозы второго тура глазами социологов // Власть в России: Президент, парламент, правительство, регионы: Вестник РИА «Новости». – М., 1996, 20 июня. – С. 1-3.

Выборы состоялись. Что дальше? // Власть в России: Президент, парламент, правительство, регионы: Вестник РИА «Новости». – М., 1996, июнь. – С. 1-3.

Попробуем подсчитать шансы кандидатов // Новое время. – М., 1996. – № 8. – С. 8-10.

Попробуем подсчитать шансы и взвесить условия // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 6-10.

Структура российского электорального пространства // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 19-28.

Шансы выравниваются: что это значит? (До выборов осталось 10 недель) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 28-32.

До выборов осталось 8 недель, между тем на избирательном фронте – без перемен // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 32-35.

Решит второй тур (полтора месяца до выборов) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 35-38.

Коалиций пока нет, консолидация продолжается (За месяц до выборов) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 38-41.

Положение сторон определилось (До выборов – 20 дней) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 41-44.

Перед финишем: опросы и прогнозы (До выборов – 5 дней) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 53-57.

После первого тура (До выбора – десять дней) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 75-78.

«Человек политический»: сцена и роли переходного периода // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 84-93.

Кто же кого гипнотизирует? Реплика г-ну Выжutowичу // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Гудков Л.Д. – М., 1996. – С. 94-95.

Пирамида общественного мнения в электоральном «зеркале» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 1 (21). – С. 15-20.

Социально-пространственная структура российского общества: центр и регионы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 2 (22). – С. 13-17.

Структура российского электорального пространства // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 3 (23). – С. 7-11.

«Человек политический»: сцена и роли переходного периода // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 4 (24). – С. 7-11.

Факторы и фантомы общественного доверия (постэлекторальные размышления) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 5 (25). – С. 7-12.

Комплексы общественного мнения (статья первая) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 6 (26). – С. 7-12.

«Homo Sovieticus» five years later: 1989 – 1994 (Preliminary results of a comparative study) / **Iurii Levada** // Sociological research: A j. of transl. – Armonk, NY, 1996. – Vol. 35, № 1. – P. 6-19.

Civic culture / **Y. Levada** // Russian culture at the crossroads: Paradoxes of postcommunist consciousness / Ed. by Shalin D.N. – Boulder: Westview Press, 1996. – P. 299-312.

Комплексы общественного мнения (статья первая) // Социология. – М., 1997. – № 1. – С. 13-22.

Комплексы общественного мнения (статья вторая) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 1 (27). – С. 7-12.

Социальные типы переходного периода: попытка характеристики // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 2 (28). – С. 9-15.

Массовый протест: потенциал и пределы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 3 (29). – С. 7-12.

Человек в поисках идентичности: проблема соц. критериев // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 4 (30). – С. 7-12.

Человек, толпа и масса в общественном мнении // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 5 (31). – С. 7-12.

Наши десять лет: итоги и проблемы. Околоюбилейные размышления // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 6 (32). – С. 7-14.

Десять лет работы Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения // Социол. журнал. – М., – № 4. – С. 221-227.

Юрий Александрович Левада, директор ВЦИОМ [Интервью] // Мы и наш ВЦИОМ / Рук. Проекта Никитина В.П.; Сост. Зурабишвили Т. и др. – М.: [ВЦИОМ], 1997. – Вып. I. – (На обл.: ВЦИОМ 10 лет: 1987 – 1997). – С. 19-22.

«Военную интервенцию как способ присоединения Украины население России не поддержит» / Интервью Пустовойту В. // День: Ежедн. всеукраин. газета. – Киев, 1998, 5 янв. – № 1 (287). – С. 1, 6.

«Средний человек»: фикция или реальность? // Куда идет Россия?.. Трансформация соц. сферы и соц. политика. 1998. Пятый междунар. симпозиум, 16-17 янв. 1998 г. / Под общ. ред. Заславской Т.И. – М.: Дело, 1998. – С. 165-178.

Комплексы общественного мнения (статья вторая) // Социология. – М., 1998. – № 1. – С. 11-21.

Людина, натовп та маса в громадський думці // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ, 1998. – № 1/2. – С. 80-92. – Рез. англ.

Рубежи и рамки семидесятых. Размышления соучастника // Неприкосновенный запас. – М., 1998. – № 2. – С. 72-78.

Возвращаясь к проблеме социальной элиты // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 1 (33). – С. 12-17.

«Средний человек»: фикция или реальность? // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 2 (34). – С. 7-12.

Индикаторы и парадигмы культуры в общественном мнении // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 3 (35). – С. 7-12.

Активы и ресурсы общественного мнения // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 4 (36). – С. 7-12.

Мониторинг общественного мнения в регионе: [Вологод. научно-координац. центр ЦЭМИ РАН] // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 4 (36). – С. 19.

Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 5 (37). – С. 9-15.

Индексы социальных настроений в «норме» и в кризисе // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 6 (38). – С. 7-13.

Феномен власти в общественном мнении. Парадоксы и стереотипы восприятия // Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 1998. – № 10. – С. 13-34.

Почему народ из двух зол выбирает... оба? / Интервью Желноровой Н. // Аргументы и факты. – М., 1998. – № 40 (973). – С. 5.

1998: Год Большого Обвала // Моск. Новости. – М., 27 дек. 1998 – 3 янв. 1999. – № 51 (968). – С. 8-9.

1989 – 1998: десятилетие вынужденных поворотов // Куда идет Россия?.. Кризис институц. систем: век, десятилетие, год. 1999. Междунар. симпозиум, 15-16 янв. 1999 г. / Под общ. ред. Заславской Т.И. – М.: Логос, 1999. – С. 113-127.

1989 – 1998: десятилетие вынужденных поворотов // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 1 (39). – С. 7-12.

Пятилетние группы – пятилетние сдвиги (опыт ретроспект. лонгитюда) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 2 (40). – С. 19-24.

«Человек советский» десять лет спустя: 1989 – 1999 (предварит. итоги сравнит. исследования) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 3 (41). – С. 7-15.

Политическое пространство России за полгода до выборов: 1995 и 1999 гг. // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 4 (42). – С. 7-13.

«Человек приспособленный» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 5 (43). – С. 7-17.

Человек недовольный: протест и терпение // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 6 (44). – С. 7-13.

Профессор Левада: ВЦИОМ делает бизнес на социологии / Интервью Локотковой Ж. // Капитал. – М., 1999, 21-27 апр. – № 16 (215). – С. 5.

Десять лет перемен в сознании человека // ОНС: Обществ. науки и современность. – М., 1999. – № 5. – С. 28-44.

Время вынужденных поворотов / Беседа с Прусс И. // Знание – сила. – М., 1999. – № 11-12. – С. 28-33.

Проблема рациональности у М.К. Мамардашвили // Чаадаев и Мамардашвили: переключка голосов, проблем и перспектив. – Пермь, 1999. – С. 27-29.

«Научная жизнь была семинарская жизнь» // Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. Батыгин Г.С.; Ред.-сост. Ярмолюк С.Ф. – СПб.: Рус. Христ. гумм. ин-т, 1999. – С. 82-94.

Общественное мнение и общество на перепутьях 1999 года // Куда идет Россия?.. Власть, общество, личность. 2000. Междунар. симпозиум, 17-18 янв. 2000 г. / Под общ. ред. Заславской Т.И. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2000. – С. 147-162.

Диагноз: агрессивная мобилизация с астеническим синдромом // Знание – сила. – М., 2000. – № 2. – С. 22-24.

Человек лукавый: двоемыслие по-русски // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 1 (45). – С. 19-27.

Проблема эмоционального баланса общества // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 2 (46). – С. 7-16.

Общественное мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки. К социологии политич. перехода // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 3 (47). – С. 7-18.

«Человек ограниченный» уровни и рамки притязаний // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 4 (48). – С. 7-13.

Человек в корруптивном пространстве. Размышления на материале и на полях исследования // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 5 (49). – С. 7-14.

Общественное мнение у горизонта столетий // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 6 (50). – С. 8-14.

Homo Post-Soveticus // ОНС: Обществ. Науки и современность.

2000 год: разочарования и надежды // Моск. Новости. – М., 26 дек. 2000 – 2 янв. 2001. – № 51 (1069). – С. 2-3.

От мнений к пониманию: Социол. очерки, 1993–2000. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2000. – 574 с.: табл. – (Б-ка МШПИ; 22).

Содерж.: Векторы перемен: социокультурные координаты изменений; Общественное мнение в год кризисного перелома; Факторы и ресурсы общественного мнения в условиях «постмобилизационного общества»; Факторы переменные и постоянные: сводный мониторинг 1994-1995; Пирамида общественного мнения в электоральном «зеркале»; Социально-пространственная структура: центр и регионы; Российское электоральное пространство; «Человек политический»: сцена и роли переходного периода; Факторы и фантомы общественного доверия; Социальные типы переходного периода: попытка характеристики; Массовый протест: потенциал и пределы; 1988-1998: десятилетие вынужденных поворотов; Общественное мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки (к социологии политического перехода); Элита и «масса» в общественном мнении: проблема социальной элиты; Комплексы общественного мнения; Человек, толпа, масса; Еще раз к проблеме социальной элиты; «Средний человек»: фикция или реальность; Индикаторы и парадигмы культуры в общественном мнении; Феномен власти: парадоксы и стереотипы восприятия; Показатели социальных на-

строений в «норме» и в кризисе; Проблема эмоционального баланса общества; Человек советский пять лет спустя: 1989-1994; Возвращаясь к феномену «Человека советского»: проблемы методологии анализа; Человек в поисках идентичности: проблема социальных критериев; Человек советский десять лет спустя: 1989-1999; Человек приспособленный; Человек недовольный: протест и терпение; Человек лукавый: двоемыслие по-русски; Человек ограниченный: уровни и рамки притязаний; Наши десять лет: итоги и проблемы (околоюбилейные размышления).

«В мире аудиовизуальной коммуникации нужен новый тип газеты» [Интервью] // Пресса в обществе (1959–2000). Оценки журналистов и социологов. Документы / Ин-т социологии РАН; Авт. и исполнители проекта: Волков А.И., Пугачева М.Г., Ярмолюк С.Ф. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2000. – (Б-ка МШПИ; 23). – С. 354-371.

Homo sovieticus ten years on: Some results of the comparative study / **Yuri Levada** // Russia on Russia. – М., 2000. – June. – Issue 2. – P. 13-28.

Patience and protest / **Yuri Levada** // Russia on Russia. – М., 2000. – June. – Issue 2. – P. 29-38.

Элита и «массы» в процессах трансформации // Кто и куда стремится вести Россию?.. Актеры макро-, мезо-, и микроуровней совр. трансформационного процесса. 2001. Междунар. симпозиум, 19-20 янв. 2001 г. / Под общ. ред. Заславской Т.И. – М.: Моск. высш. школа соц. и экон. наук, 2001. – С. 279-283.

Общественное мнение у горизонта столетий // Неприкосновенный запас. – М., 2001. – № 1. – С. 20-26.

Опасения и надежды // Общая тетрадь: Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 2001. – № 1 (16). – С. 32-39.

«Центр – периферия» в социально-пространственной структуре // Общая тетрадь: Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 2001. – № 1 (16). – С. 83-84.

Координаты человека. К итогам изучения «человека советского» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 1 (51). – С. 7-15.

«Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 2 (52). – С. 7-16.

Механизмы и функции общественного доверия // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 3 (53). – С. 7-12.

Перспективы человека: предпосылки понимания // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 4 (54). – С. 7-13.

Поколения XX века: возможности исследования // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 5 (55). – С. 7-28.

Люди и символы: Символич. структуры в обществ. мнении. Заметки для размышления // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 6 (56). – С. 7-13.

Август-91: несостоявшийся праздник? Знание – сила. – М., 2001. – № 8. – С. 17-20.

Работы лет на двести // Досье на цензуру. – М., 2001. – № 16. – С. 38-41.

Юрий Буртин: Человек и время // Новое лит. обозрение. – М., 2001. – № 48. – С. 90-92.

Corruption in public opinion / **Yuri Levada** // Russia on Russia. – М., 2001. – March. – Issue 4. – P. 49-58.

The year of "symbolic order" / **Yuri Levada** // Russia on Russia. – М., 2001. – June. – Issue 5. – P. 1-9.

Варианты адаптивного поведения // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 1 (57). – С. 7-13.

Заметки о «проблеме поколений» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 2 (58). – С. 9-11.

«Истина» и «правда» в общественном мнении: проблема интерпретации понятий // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 3 (59). – С. 9-13.

Свидетели времени: Куда идет «Куда идет Россия?..» (размышления над серией книг) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 4 (60). – С. 14-19.

В какие игры играют толпы. Социол. заметки на актуал. тему // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 4 (60). – С. 59-61.

Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября 2001 г. в обществ. мнении России и мира // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 5 (61). – С. 7-18.

«Человек ностальгический»: реалии и проблемы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 6 (62). – С. 7-13.

Public opinion at the turn of the century / **Iurii Levada** // Russian politics & law: A j. of transl. – Armonk, NY, 2002. – Vol. 40, № 1. – P. 53-72.

«Rupture de generations» en Russie / **Jouri Levada** // The Toqueville review = La revue Tocqueville. – 2002. – Vol. 23, № 2. – P. 15-35.

L'opinion publique russe après le 11 septembre 2001 / **Jouri Levada** // Le monde de l'après – 11 septembre. – P., 2002. – (Esprit. № 287). – P. 32-39.

Мы не на поезде едем, а ковыляем по пустыне / Интервью Калишевскому М. // Иностранец. – М., 2003, 21 янв. – № 1 (454). – С. 10-11.

Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе росс. трансформаций // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации. 2003. Междунар. симпозиум, 16-18 янв. 2003 г. / Под общ. ред. Заславской Т.И. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2003. (На обл.: 10-й междунар. симпозиум «Куда идет Россия?..»). – С. 162-170.

Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе росс. трансформаций // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2003. – № 1 (63). – С. 8-12.

Фактор надежды // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2003. – № 2 (64). – С. 7-15.

Уроки «атипичной» ситуации: попытка социол. анализа // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2003. – № 3 (65). – С. 7-17.

Время перемен: предмет и позиция исследователя. Ретроспект. размышления // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2003. – № 4 (66). – С. 7-13.

«Человек советский»: четвертая волна. Время перемен глазами обществ. мнения // Вестник обществ. мнения. – М., 2003. – № 1 (67). – С. 8-16.

«Человек советский»: четвертая волна. Человек «особенный» // Вестник обществ. мнения. – М., 2003. – № 2 (68). – С. 7-14.

Современность Оруэлла: аналогии и анализ // Вестник обществ. мнения. – М., 2003. – № 2 (68). – С. 70-73.

Страна меняется быстрее, чем народ / Интервью Еремину В. // Росс. Федерация сегодня. – М., 2003. – № 2. – С. 42-43.

Стабильность в нестабильности // ОНС: Обществ. науки и современность. – М., 2003. – № 5. – С. 5-11.

Заказ на приватизацию / Интервью Завадскому М. // Еже-
недельный журнал. – М., 2003, 18-24 авг. – № 31-32 (82-83). –
С. 16-17.

У власти уже сегодня есть признаки деградации / Интер-
вью Быкову Д. // Собеседник. – М., 2003, 20-26 авг. – № 31. –
С. 4-5.

Запал кончился // Новые Известия. – М., 2003, 6 ноября. –
№ 93 (1365). – С. 1.

Комментарий к статье М. Мертеса [Новое поколение –
новое представление о ценностях?] // Общая тетрадь: Вест-
ник Моск. школы полит. исследований. – М., 2004. – № 1
(28). – С. 64-65.

Свобода от выбора? Постэлекторальные размышления //
Общая тетрадь: Вестник Моск. школы полит. исследований.
– М., 2004. – № 2 (29). – С. 19-32.

Исторические рамки «будущего» в общественном мнении
// Пути России: существующие ограничения и возможные
варианты. 2004. Междунар. симпозиум, 15-17 янв. 2004 г. /
Под общ. ред. Ворожейкиной Т.Е. – М.: Моск. высшая школа
соц. и экон. наук, 2004. – С. 147-160.

Исторические рамки «будущего» в общественном мнении
// Вестник обществ. мнения. – М., 2004. – № 1 (69). –
С. 16-25.

Свобода от выбора? Постэлекторальные размышления //
Вестник обществ. мнения. – М., 2004. – № 2 (70). – С. 8-17.

«Человек советский»: четвертая волна. Рамки самоопре-
деления // Вестник обществ. мнения. – М., 2004. – № 3 (71). –
С. 8-18.

«Человек советский»: четвертая волна. Функции и дина-
мика обществ. настроений // Вестник обществ. мнения. – М.,
2004. – № 4 (72). – С. 8-18.

«Человек советский»: 1989 – 2003 гг. Размышления о
«большинстве» и «меньшинстве» // Вестник обществ. мне-
ния. – М., 2004. – № 5 (73). – С. 9-18.

Мы похожи на толпу / Интервью Корнейчуку В. // Родная газета. – М., 2004, 11 июня. – № 22 (57). – С. 14.

«Кабинет Фрадкова растерял доверие за три месяца» / Интервью Колесниченко А. // Новые Известия. – М., 2004, 19 июля. – № 126 (1525). – С. 1-2.

«Наш народ выйти на улицу не способен» / Интервью Анину А. // Россия. – М., 2004, 7-13 окт. – № 38 (44 / 890). – С. 5.

«Люди так и не научились ценить свободу» / Интервью Колесниченко А. // Новые Известия. – М., 2004, 3 ноября. – № 203 (1602). – С. 1-2.

Твердая рука и дрожь в коленях: «Запугивание населения – признак растерянности власти» / Интервью Липскому А. // Новая газета. – М., 2004, 5 ноября. – № 84 (1014). – С. 14.

Деньги, власть и страх // Аргументы и факты. – М., 2004, дек. – № 51 (1260). – С. 10.

The problem of trust in Russian public opinion / **Yuri Levada** // Proceedings of the British Academy. – Oxford, 2004. – Vol. 123. – P. 157-171.

What the polls tell us / **Yuri A. Levada** // J. of democracy. – Wash., 2004. – Vol. 15, № 3. – P. 43-51.

Преодоление или насаждение насилия в обществе? Вместо предисловия // Индекс произвола правоохранительных органов: Очерки социологов и комментарии правозащитников / Отв. ред. Новикова А. – М.: Обществ. вердикт, 2005. – С. 5-8.

Общественное мнение о милицейском произволе // Нарушения прав человека российскими правоохранительными органами: причины и масштабы явления, практика и эффективные методы защиты прав пострадавших. Материалы конференции, 27-28 янв. 2005 г. / Отв. ред. Сипров В.В. – М.: Обществ. вердикт, 2005. – С. 6-9.

«У власти потеряна связь с реальностью» / Интервью Хамраеву В. // Коммерсантъ – Власть. – М., 2005, 31 янв. – № 4. – С. 32-33.

На Кремль надеются все меньше / Интервью Латухиной К. // Независ. газета. – М., 2005, 7 февр. – № 23 (3419). – С. 2.

Человек обыкновенный в двух состояниях // Пути России: двадцать лет перемен. 2005. Междунар. симпозиум, 20-22 янв. 2005 г. / Под общ. ред. Ворожейкиной Т.Е. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2005. – С. 220-236.

Человек обыкновенный в двух состояниях // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 1 (75). – С. 8-18.

Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни. Неюбилейные размышления // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 2 (76). – С. 8-14.

Восстание слабейших: о значении волны социального протеста 2005 г. // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 3 (77). – С. 8-15.

Парадоксы и смыслы «рейтингов». Попытка понимания // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 4 (78). – С. 8-18.

Сегодняшний выбор: уровни и рамки // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 5 (79). – С. 8-16.

После Империи // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 6 (80). – С. 8-10.

Человек остался советский. Душа – та же / Интервью Нарышкиной А. // Профиль. – М., 2005, 25 апр. – № 15-16. – С. 136-137.

Кто так считает / Интервью Канноне С. // Прямые инвестиции. – М., 2005. – № 6 (38). – С. 100-102.

Неюбилейные размышления о перестройке // ОНС: Общество науки и современность. – М., 2005. – № 6. – С. 16-22.

«Россияне готовы терпеть очень многое» / Интервью Морозовой Т. // Имеешь право. – М., 2005, 26.09-02.10. – С. 12-13.

Петр умер вовремя? // Большая политика. – М., 2005, дек. – № 2. – С. 13-15.

Весна 2001-го: дела и символы // Вниз по вертикали: Первая четырехлетка Путина глазами либералов: Сб.ст. / Ред. сост.: Курилкин А.Р., Трапкова А.В. – М.: КоЛибри, 2005. – С. 33-49.

Выбор исчезает, когда кончается жизнь // Ерошок З. Школа. О смыслах и чувствах. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2005. – С. 111-113.

Поколения XX века: возможности исследования // Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Моск. высш. Школа соц. и экон. наук; Под ред. Левады Ю., Шанина Т. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – (Б-ка журн. «Неприкоснов. запас»). – С. 39-60.

Заметки о проблеме поколений // Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Моск. высш. школа соц. и экон. наук; под ред. Левады Ю., Шанина Т. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – (Б-ка журн. «Неприкоснов. запас»). – С. 235-244.

«Człowiek radziecki»: granice samoidentyfikacji / **Jurij Lewada** // Rosja w globalnej polityce. – М.: РИА НОВОСТИ; Warszawa, 2005. – Maj. – P. 51-64.

D'Eltsine a Poutine: Les elections presidentielles en Russie de 1991 – 2004 / **Youri Levada**; Trad. M. Vichnevskaja // La Russie de Poutine. – P.: Seuil, 2005. – (Pouvoirs. № 112). – P. 141-152.

Ищем человека: Социол. очерки, 2000 – 2005. – М.: Новое изд-во, 2006. – 383 с.: табл. (Новая история).

Содерж.: Три «поколения перестройки»; Поколения XX века: возможности исследования; Заметки о «проблеме поколений»; Время перемен: предмет и позиция исследователя; Исторические рамки «будущего» в общественном мнении; Свобода от выбора? Постэлекторальные сопоставления; Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября в обществен-

ном мнении России и мира; Уроки «атипичной» ситуации: попытка социологического анализа; Восстание слабых: о значении волны социального протеста 2005 года; Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни: неюбилейные заметки; Парадоксы и смыслы «рейтингов»: попытка понимания; Сегодняшний выбор: уровни и рамки; Механизмы и функции общественного доверия; Люди и символы: символические структуры в общественном мнении; Варианты адаптивного поведения; «Истина» и «правда» в общественном мнении: проблема интерпретации понятий; Фактор надежды; Человек в корруптивном пространстве; Координаты человека: к итогам изучения «человека советского»; «Человек советский»: реконструкция архетипа; Перспективы человека: предпосылки понимания; «Человек ностальгический»: реалии и проблемы; «Человек советский» в эпоху перемен; «Человек советский» как человек особенный; «Человек советский» и его рамки самоопределения; Функции и динамика общественных настроений; О «большинстве» и «меньшинстве»; «Человек обыкновенный» в двух состояниях.

Россия без страха и упрёка / Интервью Хибаковой О. // Эксперт – Сибирь. – Новосибирск, 2006, 30 янв. – 5 февр. – № 4 (101). – С. 34-37.

Проблема сырьевого уровня научного знания // Пути России: Проблемы соц. познания. 2006. Междунар. симпозиум, 3-4 февр. 2006 г. / Под общ. ред. Рогозина Д.М. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2006. – С. 19-20.

Власть, элита и масса: параметры взаимоотношений в росс. кризисах // Власть и властные отношения в современной России: Материалы IX научно-практич. конференции, посвящ. 15-летию Гуманит. ун-та (г. Екатеринбург), 30-31 марта 2006 г. – Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 2006. – С. 14-24.

Власть, элита и масса: параметры взаимоотношений в
росс. кризисах // Вестник обществ. мнения. – М., 2006. – № 1
(81). – С. 8-13.

Общественное мнение в политическом Зазеркалье //
Вестник обществ. мнения. – М., 2006. – № 2 (82). – С. 8-18.

Альтернативы: обретенные и утраченные // Вестник об-
ществ. мнения. – М., 2006. – № 3 (83). – С. 8-13.

Время мнимого выбора // Вестник обществ. мнения. – М.,
2006. – № 4 (84). – С. 8-14.

Человек недовольный? // Вестник обществ. мнения. – М.,
2006. – № 5 (85). – С. 12-17.

Время мнимого выбора // Социология: теория, методы,
маркетинг. – Киев, 2006. – № 4. – С. 14-23.

Утраченные альтернативы // Моск. новости. – М., 2006,
5-11 мая. – № 16 (1333). – С. 10.

Хождение вокруг себя / Интервью Медовому И. // Трибу-
на. – 2006, 18 авг. – № 32 (10126). – С. 13.

Не скоро минется, кто с кем подерется... / Интервью
Крушельницкому Е. // Моск. среда. – М., 2006, 18-24 окт. –
№ 38 (193). – С. 16.

«Политковскую до убийства знала почти половина росси-
ян» / Интервью Колесниченко А. // Новые Известия. – М.,
2006, 31 окт. – № 196 (2074). – С. 1-2.

Когда были события, мы раз за разом обсуждали Польшу:
Последнее интервью Юрия Левады / Косинова Т. // Новая
Польша. – Варшава, 2007. – № 1 (82). – С. 4-9.

О гражданской нации // Общая тетрадь: Вестник Моск.
школы полит. исследований. – М., 2007. – № 3 (42). –
С. 112-121.

Элитарные структуры в советской и постсоветской ситуа-
ции // ОНС: Обществ. науки и современность. – М., 2007. –
№ 6. – С. 5-15.

Элитарные структуры в советской и постсоветской ситуации // Вторая навигация: Альманах. – Запорожье: Дикое поле, 2007. – Вып. 7. – С. 96-114.

К 20-летию исследовательского коллектива «Левада-Центра» / Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. // Вестник обществ. мнения. – М., 2007. – № 6 (92). – С. 55-58.

Проблема «элиты» в современной России: Размышления над результатами социол. исследования / Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А. – М.: Фонд «Либерал. миссия», 2007. – 371 с. – Библиогр.: с. 292-295.

«Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе» / Интервью Шалина Д.Н. с Левадой Ю.А. и Петренко Е.С. // Социол. журнал. – М., 2008. – № 1. – С. 155-174.

Стенограмма обсуждения плана сборника статей «Социальные исследования» / Константинов Ф.В. (предс.), Левада Ю.А., Осипов Г.В. и др. // Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социология и власть (как это было на самом деле). – М.: Экономика, 2008. – С. 553-555.

Альтернативы: обретенные и утраченные // Общественный разлом и рождение новой социологии: Двадцать лет мониторинга / Ред.-сост.: Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. – М.: Новое изд-во, 2008. – (Новая история). – С. 57-65.

Новый русский национализм: амбиции, фобии, комплексы // Общественный разлом и рождение новой социологии: Двадцать лет мониторинга / Ред.-сост.: Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. – М.: Новое изд-во, 2008. – (Новая история). – С. 321-325.

Лекции по социологии / Левада Ю.А. Лекции по социологии; Семенов Ю.Н. Киноискусство и массовая аудитория; Отв. ред. Голубицкий Ю.А. – М.: Вече, 2008. – (Вехи отеч. социологии). – С. 11-216.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Архангельский Александр Николаевич – кандидат философских наук, профессор ГУ Высшей школы экономики, ведущий программы «Тем временем» на телеканале «Культура»

Белановский Сергей Александрович – кандидат экономических наук, директор по исследованиям Центра политического консультирования «НикколоМ» (Москва)

Борусяк Любовь Фридриховна – кандидат экономических наук, доцент ГУ Высшей школы экономики

Генисаретский Олег Игоревич – доктор искусствоведения, зам. директора Института философии РАН

Головачев Виталий Борисович – журналист

Головаха Евгений Иванович – доктор философских наук, профессор, зав. отделом истории, теории и методологии социологии НАН Украины

Гудков Лев Дмитриевич – доктор философских наук, директор Левада-Центра

Докторов Борис Зусманович – доктор философских наук, профессор, независимый исследователь

Долгий-Раппопорт Владимир Микулович – независимый исследователь

Дубин Борис Владимирович – зав. отделом социально-политических исследований Левада-Центра

Елисеева Ирина Ильинична – доктор экономических наук, профессор, чл.-корр. РАН, директор Социологического института РАН, Санкт-Петербург

Зоркая Наталья Андреевна – ведущий н.с. отдела социально-политических исследований Левада-Центра

Колбановский Варлен Викторович – кандидат философских наук, ведущий н.с. Института социологии РАН

- Колесников Андрей Владимирович** – журналист, зам. главного редактора газеты «Известия»
- Левада Тамара Васильевна** – жена Ю.А. Левады
- Левинсон Алексей Георгиевич** – кандидат искусствоведения, зав. отд. социокультурных исследований Левада-Центра
- Любимова Татьяна Борисовна** – доктор философских наук, независимый исследователь
- Мотрошилова Нелли Васильевна** – доктор философских наук, профессор, зав. отделом истории философии Института философии РАН
- Паниотто Владимир Ильич** – доктор философских наук, профессор Киево-Могилянской академии, руководитель Киевского Международного Института Социологии (Украина)
- Петренко Елена Серафимовна** – кандидат философских наук, директор по исследованиям ФОМ
- Тупикин Владлен Александрович** – журналист, редактор газеты «Воля»
- Шайдарова Татьяна** – Генеральный директор Агентства социальной информации, Санкт-Петербург
- Шанин Теодор** – профессор, директор Московской Высшей школы социальных и экономических наук, президент Интерцентра
- Юдин Борис Григорьевич** – доктор философских наук, профессор, чл.-корр. РАН, зав. отделом комплексных проблем изучения человека Института философии РАН

Научно-публицистическое издание

Памяти Юрия Александровича Левады

Составитель – Тамара Васильевна Левада.

Технический редактор – Л.В. Шаталова.

В книге использованы фотографии
из личного архива Ю.А. Левады.

Подписано в печать 20.12.2010.
Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 29,5
Тираж 200 экз. Заказ № 1132

Издатель Карпов Е.В.
121357, Москва, ул. Верейская, д. 29

Отпечатано в типографии
ООО «Бизнес континент»
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 4